

индексы: 70331, 84471

**ВЕСТНИК**

ISSN 0130-1616

6/2010  
ИЮНЬ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

В Ы Х О Д И Т   с   я н в а р я   1 9 3 1   г о д а

**с о д е р ж а н и е**

**06/2010 июнь**

- 3 Игорь Шкляревский. *Легкой рукой. Стихи*
- 6 Тимур Кибиров. *Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви*
- 90 Аркадий Драгомощенко. *кто действительно разбирает буквы. Стихи*
- 95 Вадим Месяц. *Первочеловек. Рассказ*
- 99 Александр Левин. *на Орловщине, то ли Смоленщине... Стихи*
- 103 Андрей Васильев. *Ванька Рыков. Рассказ*
- 108 Дмитрий Веденяпин. *Описанья бессмысленны. Стихи*
- 109 Виктор Коваль. *О вещи бесхозной. Стихи*
- n o n   f i c t i o n**
- 113 Александр Нилин. *Линия Модильяни. Мой ордынский роман*
- с в и д е т е л ь с т в а**
- 155 Константин Ваншенкин. *Испытания Теркина*
- а р х и в**
- 159 *Письма литераторов Д. Самойлову. Подготовка к печати, публикация, примечания и вступительная заметка Г. Медведевой*
- п у б л и ц и с т и к а**
- 171 Георгий Соснов. *Кризис и так далее*

## **s t u d i o**

- 178 Татьяна Марьина. Университеты русской Швейцарии

## **к о н ф е р е н ц - з а л**

- 191 Настоящий Чехов. Кама Гинкас, Максим Осипов, Елена Степанян

## **к р и т и к а**

- 198 Дарья Маркова. Синтез ядра

## **н а б л ю д а т е л ь**

### *р е ц е н з и и*

- 209 Анастасия Бабичева. — Александр Миронов. Без огня  
212 Леонид Фишман. — Шамиль Идиатуллин. СССР™  
215 Наталья Явлюхина. — Мария Ватутина. На той территории  
216 Виктор Кузнецов. — Леонид Костюков. Великая страна. Мэгги  
218 Александр Уланов. — Борис Останин. На бреющем полете  
220 Мария Игнатьева. — Лариса Щиголь. Вариант сюжета  
223 Даниил Чкония. — Михаил Гиголашвили. Чергово колесо  
226 С.Р. Туманова. — «И только правда ко двору». Материалы Четвертых Твардовских чтений  
229 С.И. Кормилов. — И. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова. И это было так. Анна Ахматова и Исая Берлин

### *н е з н а к о м ы й ж у р н а л*

- 230 Галина Ермошина. — Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. (Пенза)

### *н и д н я б е з к н и г и*

- 232 Анна Кузнецова

Игорь Шкляревский  
**Лёгкой рукой**

\* \* \*

Чуть морозящий  
                        грибной, родной  
светится дождик,  
                        и голос брата  
возле заката зовёт домой...

\* \* \*

Без телевизора, без телефона  
стали заметнее  
                        ива, ворона,  
лёгкая рябь на реке.  
Стали прозрачней синие окна,  
в брёвнах потрескивают  
                        волокна  
и навевают любимую грусть  
новости лета —  
                        рыжик и груздь!

\* \* \*

Вл. Некляеву

Ну что нам стоит до парома  
дойти за полтора часа?

Совсем недалеко от дома  
стоят далёкие леса.

И что нам стоит до затона  
дойти, валяя дурака?

Совсем недалеко от дома  
течёт далёкая река!

**Об авторе** | Игорь Иванович Шкляревский родился в 1938 году в поселке Бельниччи Могилевской области в семье школьных учителей. Учился в Литинституте (1965). Автор многих стихотворных книг. Переводчик «Слова о полку Игореве», составитель антологий, общественный деятель. Лауреат Госпремии (1978), Болдинской (1997), Царскосельской (1998) и Пушкинской (1999) премий РФ. Живет в Москве. Предыдущие публикации в «Знамени» № 7, 2002; № 2, 2008.



\* \* \*

А ночью он любил играть!  
И до костей его пронзало  
удачи сладостное жало,  
вдруг выпадало 35.

Крутилось колесо рулетки,  
сгорали раковые клетки  
и возникал из бездны звук.

Как от заоблачного звона  
закладывало уши вдруг...

Молчи, ползучая мамона.  
Крутись, непостижимый круг!

### ***Когда я поклонился клёну***

Вас позабавил мой поклон,  
и объяснять мне неохота,  
что золотой осенний клён —  
изобретатель вертолётá!

\* \* \*

Грибная осень отошла,  
а у меня в глазах стоят  
боровики и мухоморы,  
нарядные, как мушкетёры,  
виконты, графы, кардиналы,  
я до утра читал Дюма,  
непозволительная роскошь  
для процветающих людей —  
не спать с улыбкою счастливой  
и слушать шорохи дождей,  
на ощупь выбирая сливы...

\* \* \*

Я не знаю какое сегодня число,  
но с утра журавлей  
треугольная стая  
рыболовам курлычет,  
что лето прошло,  
перелески пустые листья...

Тимур Кибиров

## Лада, или Радость

Хроника верной и счастливой любви

### 1. ИНТРОДУКЦИЯ

Слыхали ль вы за роцей глас ночной  
Певца любви, певца своей печали?

Александр Сергеевич Пушкин

Предлагаемое вашему вниманию литературно-художественное произведение является первым прозаическим опытом нашего автора. И хотя новичком на поприще отечественной словесности Т.Ю. Кибирова никак не назовешь (недавно, между прочим, было отмечено двадцатилетие плодотворной творческой деятельности — и это считая с первой публикации, а с первого написанного стихика так вообще сорокалетие с хвостиком!), и хотя сочинитель этот совсем не робкого (в литературном, конечно, смысле) десятка и, подобно каверинским капитанам и теннисоновскому Улиссу, давно уже начертал на своем щите «To strive, to seek, to find, and not to yield!»\*, тем не менее, невзирая на все это, я ужасно как трушу и смущаюсь и поэтому начинаю все-таки с естественного и привычного лирического песнопения:

Было счастье короче, чем взмах ресницы...  
Или снилось мне *то*? Или *это* снится?  
Я тебя любила, а ты забыла!  
Лизавета, где ты?!

Я взываю во тьму, но ответа нету!  
Осыпается наше с тобою лето.  
Отошла в поля ты в лучах заката.  
Кто же нынче, Лиза,

Твои глазки, коленки, ладошки лижет?  
Ты все дальше, Лиза, а смерть все ближе!  
Только мнится — разлука с тобой страшнее  
Залетейской стужи!

\* «Дерзать, искать, найти и не сдаваться!»  
(Пер. с англ. Г. Кружкова).

**Об авторе** | Тимур Кибиров (р. 1955) — поэт, автор более двадцати поэтических книг, лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» (2008). Постоянный автор «Знамени». Живет в Москве.

Кто же, Лиза, теперь тебе верно служит?  
Дай те Бог, чтоб служил он меня не хуже!  
Здесь нам пел жаворонок, а днесь ворона  
Мне пророчит гибель!

Были мы богиням подобны, ибо  
Мы с тобою бессмертными стать могли бы,  
Ведь любовь же, Лизанька, крепче смерти!  
А ведь мы любили!

Но иное судьбы — увы — судили!  
Расстоянья меж нами, версты, мили!  
Так прощай, Лизочек, прости, дружочек,  
Поминай, как звали

Ту, кого целовала ты, миловала  
И пускала тайно под одеяло,  
Для кого запах кожи твоей дороже  
Благовоний рая!

Вспомяни же, с другом другим играя,  
Наши игры на солнышке у сарая,  
В надувном бассейне золотые брызги  
И блаженства визги!

Вот так, наверное, приблизительно так звучал бы горестный плач безутешной Лады в переводе на человеческий, русский язык.

Но переводить было некому, а Александра Егоровна никаких иных языков не знала (разве что совсем чуть-чуть церковно-славянский), поэтому она слышала только неумолчный и безобразный вой и бессмысленный скулеж. О пронзительности же Ладиных причитаний мы можем судить по тому печальному обстоятельству, что из-за них сильно глуховатая баба Шура уже который час не могла уснуть.

«Господи, да что ж это такое? что ж она не утомится-то никак?! Это ж с ума же можно сойти! Да замолчи же ты уже наконец, паразитка!!» — шептала в темноте несчастная старуха, кляня свое неразумие и не совсем уместно поминная порося из народной мудрости.

Старенькие, еще мамыны настольные часы проббили полтретьего. На мертвенно-бледных занавесках колыхались смутные тени ветвей. Под завывания Лады все в доме казалось непривычным, чуждым и даже каким-то страшноватым. Да еще бессердечный Барсик, вместо того чтобы, как заведено годами, мурчать на хозяйкином пододеяльнике, забрался то ли от страха, то ли от раздраженной спеси на шифоньер и замер там таинственно и мрачно, мерцая своим единственным глазом, — ни дать, ни взять ворон на бюсте Паллады.

«Так тебе и надо, дура старая, вот тебе твоя обновка, вот тебе туфли-лодочки! И уютю в придачу!»

Спать и даже просто спокойно лежать Александре Егоровне было невмочь, подушка уже давно была горяча с обеих сторон, а перина еще жарче и неудобнее. Сердце-вещун ныло и нашептывало всякие неприятные глупости и несуразности, с которыми усталая голова не могла уже совладать. «Да что ж такое за наказание?! Да не бешеная ли она часом?! Царица Небесная, спаси и сохрани!!»

И тут, словно во исполнение молитвы, истошные Ладины крики внезапно смолкли, и сентябрьская ночь исполнилась блаженной тишиной. «Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи! Наконец-то! Ну наконец-то», — поторопилась обрадоваться бедная бабушка.

Ох, не тут-то было! Лада и не думала униматься, она просто переводила свой скорбный дух. Мгновенное затишье миновало, и отвратительные звуки с новой, невиданной силой взвились к равнодушному небу и обрушились на обитателей избушки. И на сей раз надменный Барсик не выдержал и вступил вторым голосом, к которому через несколько секунд присоединился третий — дребезжащий от непривычки орать голосок самой Егоровны: «Да замолчите же вы! Заткнись, заткнись, зараза!!».

Никто не затыкался. Трудно было поверить, что эти звуки исходили из глоток обыкновенных земных существ, а не проклятых душ, оплакивающих свою незавидную загробную участь! С нами крестная сила! Тут уж впору было страшиться не мифического бешенства, разносимого, по уверениям центрального ТВ, ежиками, а вполне реального и ужасного беснования и осатанения!

Что-то надо было наконец делать. Так ведь и рехнуться недолго на старости лет. Егоровна, скрепя робкое сердечко, встала, надела очки и, нащупав босой ногой старые калоши в дверях, — холодно-то как, бр-р-р-р! — вышла из мрака сеней в призрачный сизый предутренний свет.

В сырлом ночном тумане смутно белела маленькая фигурка, которая при появлении в свою очередь белеющей в ночной рубаше старухи заголосила пуще прежнего, переходя на уж совсем какой-то душераздирающий писк и хрип.

«Спустить ее, что ли? У Харчевниковых-то набаловалась, так теперь, видать, неумогу... Да ведь потопчет же все в огороде, поганка... Искусает еще... Ишь как рвется... А ну подохнет?..» Старушка неуверенно и как-то бочком подходила все ближе и ближе к беснующейся Ладе. «Ну что, ну что, ну будет тебе уж... Ну давай пушу, что ли... только ты не очень...»

О нет! Никого не покусала и ничего не подавила освобожденная Лада, ни одна грядка, ни один цветочек не был смят ее легкой стопой!! До грядок ли ей было, до чужих ли старух!

Как вихрь, как молния, как маленькая, но беззаконная комета, вырвалась Лада из рук оторопевшей бабы Шуры, пронеслась к запертой калитке, подпрыгнула, сорвалась, опять подпрыгнула, зацепилась, повисла, завизжала от боли и отчаянья, напряглась всем своим ничтожным белым телом, несуразно засучила и заскребла ногами и перевалилась-таки через штакетник, и почесала, и почесала, растворяясь в белизне проселка, — туда, туда, в сторону шоссе, по которому в прошлой жизни, отражая стеклами и новенькой полировкой вчерашний закат, увезла ее бедную Лизу родительская «тойота». Туда, туда, в туманную даль умчалась новейшая Миньона, не обернувшись на голос постылой старухи, не снизойдя к ее мольбам и пеням.

А Александра Егоровна осталась одна посреди деревни и, видимо, в целом мире, такая вдруг наступила странная тишь и мгла. И ладно бы просто одна (тем более что обрадованный исчезновением Лады беззвучный Барсик уже терся вокруг старушкиных ног), но этот целый мир был ни капельки не знакомым, абсолютно неведомым, таинственно безмолвным и, кажется, бесчеловечным. Что это там такое темнеет — совсем не похожее на тупицинский дом? что же это там высится такое непонятное за мостками? что это так зловеще стелется и шевелится? что мерцает там, за туманами? и что это за такие невиданные колдовские туманы? Что это все значит? Откуда и зачем это? Что я-то тут делаю, и как же мне быть-то среди всего этого огромного, чужого и непонятного?

Да Господь с тобой, тетя Шура! Это же твоя родная деревня! Вон тупицинский дом, вон старый тополь, вон за Медведкой поднимается лес, где любая стеж-

ка-дорожка хоть и позаросла, но ведь знакома, хожена-перехожена, ну что ты? Это все с непривычки, просто ты уже лет шестьдесят не была на улице в это время суток, буквально с безвозвратных дней такой же туманной юности, с незапамятных времен гуляний-милований с Ванюшей-моряком, да и тогда все, конечно же, другое было, брехали собаки, петухи пели, пахло скотиной, деревня во сне бормотала, ворочалась, дышала и жила, а теперь до весны никого уже здесь не будет — только ты да Барсик, да на другом конце Ритка Сапрыкина.

Ой, нет, не только! Про Жорика-то мы забыли! А он, безобразник, тут как тут, подкрался сзади на цыпочках да в самое старушкино ухо ка-а-к гаркнет: «Стоять!! Вихрь-антитеррор!! Руки на капот!!» — тут из Егоровны и дух вон.

Ну не совсем, конечно, так, на несколько загробных мгновений.

Многолетний перегар Жорика, на руки которого и повалилась бесчувственная Егоровна, подействовал что твой нашатырь и вернул нашу любимую героиню на этот свет.

Где ее приветствовал бессмысленный и бесстыжий хохот: «Ну чо, старая?!

Кому не спится в ночь глухую? —  
Собаке, сторожу и х..!»

## 2. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

*Какое лето, что за лето!  
Да это просто колдовство —  
И как, спрошу, далось нам это  
Так ни с того и ни с сего?  
Федор Иванович Тютчев*

Читатель вправе поинтересоваться:

— А с каких это щей, Тимур Юрьич, заглавная героиня носит такое дикое, отчасти славянофильское имя? И не означает ли это, что вы, уже давно и справедливо заподозренный в религиозном фундаментализме, решились к голимому православию присовокупить до кучи и самодержавие с народностью, и не явится ли ваш, с позволения сказать, роман «смесью Каткова и кутьи», от какой неаппетитной смеси тошнит уже русскую словесность — «да вот беда, что дело не дойдет до рвоты»? А?

— Нет, милый читатель! Не тревожься и не надейся, ничего такого Лада не означает. Более того, ее кличка никак не связана и с Ладой Владиславовной Афонинной, моей давнишней работодательницей и подружкой. Равно как и с популярной некогда песней (музыка Шаинского, слова Пляцковского) или с малопопулярным автомобилем.

Дело все в том, что поименовавшая мою героиню Лизка Харчевникова была девочкой необычайно странной, прямо не от мира сего, так что мамаша в сердцах часто даже обзывала ее имбецилкой, а любящий, но глупый отец мечтательно подозревал, что у него растет ребенок-индиго. А все потому, что их худенькая, белобрысенькая и — увы — очень некрасивенькая пятиклассница ни с того ни с сего пристрастилась к чтению, так что даже предпочитала это необычайное и старинное занятие всем иным забавам и утехам. Правда, читала она, бедняжка, в основном всякую попсовую дребедень, которую нежный родитель, невзирая на запреты и угрозы крикливой супруги, покупал для нее на книжных лотках, в киосках и у сладкоречивых книгонош в электричках.

Всю четвертую четверть прошедшего учебного года и начало летних каникул Лизочка была погружена в мистические миры Буй-Тура Воеводина, пожалуй, самого хваткого и беззастенчивого из перелагателей Толкиена и Роберта Желязны на язык «Дома-2» и «Антикиллера-3». (Говорят, кстати, что под грозным псевдонимом скрывается выпускница Литинститута, популярный диджей радио «Отрыв» и колумнистка нескольких периодических изданий Ада Минглет).

Особенно Лизе понравилась седьмая часть Буй-Туровой эпопеи — «Воительницы Лукоморья». Одна из этих, облаченных, судя по обложке, в бронированные бикини славяно-росских валькирий обладала удивительной способностью обращаться из натуральной блондинки то в белоснежную степную кобылицу, то в белокрылого сокола или среброкрылого лебедя, а то и в белокурую (sic!) волчицу! Что не раз помогало ей наводить ужас на орды зверообразных ворогов земли святорусской. Поэтому, когда юная читательница, зачарованная веселостью и ласковостью не менее белокурого собачьего подростка, выклянчивавшего горелую говядину у придорожной шашлычной, упросила папу, а тот ценой невероятных унижений и несбыточных обещаний умолил главу харчевниковской семьи приютить бездомную собачку, вопрос о кличке решился мгновенно.

Так Лада оказалась на даче у капитана транспортной милиции Алексея Харчевникова. А если говорить честно — какая уж там, прости Господи, дача! Обыкновенный среднерусский пятистенки, сложенный еще Лешкиным прадедом и обезображенный стеклопакетами, ламинатом, телевизионной тарелкой и жирной душой-женой, в отличие от Лады совсем уж не натуральной блондинкой.

И было лето, ослепительное щенячье лето, и вспыхнувшая с первого взгляда любовь Лады и Лизы разгоралась с каждым днем ярче и жарче.

Конечно, Ладе случалось в эти два блаженных месяца знать и печали, особенно в первые дни, когда она никак не могла уяснить, что не все в ее новом доме готовы разделить ее веселонравье и душевную открытость, и бывала нещадно и обидно бита Лизиной мамой, которую бы по-хорошему саму следовало выпороть как сидорову козу за постоянную раздраженность и злобную глупость.

Но вскоре сообразительная Лада научилась тому, что Лиза — увы — умела с младенчества — не попадаться на глаза и под горячую руку этой разжиревшей на немереных ментовских бабках халде. Это было в общем-то несложно, поскольку капитанская жена целыми днями валялась или на кровати перед телевизором, или на надувном матрасе с «ТВ парком», загорая — иногда (к восторгу подглядывающего из-за призаборных кустов Жорика и к нашему омерзению) топ-лесс. Но о Жоре чуть позднее.

Даже категорический запрет брать «эту шавку» в постель подружки довольно часто умудрялись нарушать, стоило только Зойке (так и слышу ее визжащий голос: «Кому Зойка, а кому Зоя Геннадиевна!»). Да ради Бога! Хоть мадам Харчевникова!) недостаточно плотно припереть дверь на веранду, где шавке положено было ночевать, как Лада, искусно орудуя своим замшевым носом и передними лапками, растворяла эту исцарапанную ею дверь и, цокая коготками в ночной тиши, пробегала к Лизиному дивану, и там, в лунном и соловьином сиянии, льющемся из окна, начиналась тихая возня, лизание, девчачьи прысканья в подушку, горячий шепот и уморительные стоны райского наслаждения, когда Лиза чесала пальчиком глубоко внутри нежного Ладиного уха. Главное было, чтобы Зойка не проснулась утром раньше преступной парочки и не застала бы Ладу лежащей в Лизиных ногах, — так Лиза и не смогла приучить ее спать рядышком, головой на подушке, настоящие собаки этого почему-то не любят, поваляться поваляются, а потом уходят на другой конец кровати и, покрутившись, со вздохами укладываются там. Хотя вообще это, конечно, форменное безобразия, и в немецкой книжке о воспитании собак была, я помню, специальная гла-

ва о таком баловстве — «Фриц на кушетке». Но *мой* покойный немец с моей подначки и попустительства почивал исключительно на кушетках и кроватях, и нынешней моей дворняжке это тем более позволено — так что лично я Лизу понимаю и нисколько не осуждаю.

Помимо всех прочих нечаянных радостей, которыми Лада наполнила Лизину жизнь, благодаря ей в первый и последний раз Лиза стала пользоваться и даже злоупотреблять успехом, впрочем, не очень долгим. Сначала малышня, а потом и стайка кичливых отроковиц, никогда доселе не обращавшая на невзрачную и тихую Лизу никакого внимания, стали домогаться Лизиной дружбы и позволения поиграть с веселой собачкой, погладить ее по белой (точнее, светло-светло-палевой) шерстке, угостить ее чипсами или шоколадкой, не говоря уже о том, чтобы бросить ей палку на середину пруда и потом, когда она приплывет обратно и, отряхиваясь, забрызжет всю визжащую компанию, пытаться вырвать эту полуизгрызенную палку из пасти расшалившейся, непослушной и мокрой Лады.

Бедненькая Лиза даже немного заважничала: «Господи, ну сколько можно повторять! Ну я ведь говорила, что ей чупа-чупс категорически нельзя. Ну все, хватит, собака устала. Лада, Лада! Ко мне!». Довольно скоро, однако, Лада потеряла для ветреной младости прелесть новизны, и компания будущих блондинок опять стала недоступной и презрительной. Да и Бог с ними, с этими дурочками, пусть себе упиваются своими бабл-гамами, ай-подами и биланами, Ладе и Лизе и без них было хорошо и весело на Дальнем пруду.

Этот водоем на месте старого песчаного карьера был не так уж далек от деревни — метров триста-четырееста, Дальним же его прозвали для отличия от другого пруда, который располагался в самой деревне и на сегодняшний день совсем захирел и превратился в заросшую лужу, почти пересыхающую к началу августа.

Дальний пруд, конечно, тоже был сильно испакощен и мало походил на то прохладное, кристальное чудо, которое хранилось в памяти Александры Егоровны. Сквозь мутную, взбаламученную кишачей человеческой плотью воду уже нельзя было рассмотреть, как тогда, девственное песчаное дно, берега поросли всякой мусорной ерундой, исполинский сосновый бор на противоположном берегу был давно истреблен дачным кооперативом вознесенского химического завода, и не стало тех вкуснейших маленьких карасиков и золотистых линей, которых маленькая Саша ловила с братом на незапамятных рассветах, когда огромное солнце всходило за их спинами, постепенно разгоняя седой туман и превращая оловянную гладь в червонное золото, и там, на этом предутреннем пруду, однажды так же медленно и величаво, как солнце, вышел из лесу огромный сказочный зверь с разлапистыми великаньими рогами, и отразился в воде, и долго стоял недвижимо, сумрачно глядя на онемевших от восторга и ужаса детей.

Всего этого волшебства уже не было и в помине, но и того, что еще оставалось, хватало с лихвой для тех, кто понимает, а наши подружки были как раз из этого счастливого числа.

Лада оказалась собакой на удивление водоплавающей, просто какая-то выдра, Лиза тоже в этом отношении не знала никакой меры, благо взрослых с ними почти никогда не было — так что и собака и девочка высохали только под вечер, а с утра, счастливо ускользнув от Зойки, опять мчались на пруд.

Да что говорить, вы ведь и сами все прекрасно понимаете и помните!

Но недолго — всего полторы недели — наслаждались наши аграфены-купальницы плаванием по-собачьи и нырянием солдатиком со скользких подгнивших мостков. В один прекрасный день (а дни этим летом практически все были прекрасны, как на картинке из рекламы «Домика в деревне») Лизка, выходя из воды, здорово распорла пятку об осколок пивной бутылки. Рана быстро (как на

собаке) зажила, но успела страшно перепугать папеньку и разозлить маменьку. Купания в «этой помойке» и «гадюшнике» и с «этими подонками» были категорически запрещены.

Два дня подружки промаялись, исходя завистью к усталым, но довольным и мокрым счастливым, возвращающимся с пруда в длинных косых лучах июльского вечера. Но на третий день потный Харчевников привез из города разноцветный китайский надувной бассейн — Лизе почти по пояс, а Ладе вообще с головкой! И хотя веселия глас смолкнул буквально через пять минут после начала водных процедур и сменился перепуганным безмолвием, поскольку собачка в восторге упоенья то ли прокусила, то ли процарапала пластиковую стенку у самого основания и маленький, но стремительный ручеек все ближе и ближе подбирался к принимавшей солнечные ванны Зойке, все обошлось благополучно — разомлевшая стерва дрыхла и ничего так и не заметила, а рукастый капитан тут же аккуратно и надежно заклеил пробоины латками из старой велосипедной камеры.

Вот в этом сверкающем вместилище роскоши, прохлад и нег Лада с Лизой и проводили большую часть знойного светового дня, а меньшую, но не менее упоительную — в тайном убежище между сараем и забором, в узкой щели, которую папка покрыл ветхой парниковой пленкой. Там было, конечно же, одуряюще жарко, но зато укромно и уютно, а во время слепых дождей и грибных ливней лучшего места и придумать было невозможно.

Здесь, на старом покрывале, Лиза, вгрызаясь своими смешными заячьими резцами в яблоки, становящиеся с каждым днем все слаще, изумленно читала «Нарнию», изданную благодаря голливудскому фильму в той же массовой серии, что и Буй-Тур, а Лада спала буквально без задних ног, и, судя по движениям этих ног, во сне за кем-то гонялась и баловалась.

Здесь, кстати, произошло и знакомство Лады с соседским Барсиком. Этот пожилой, утративший в битвах и волокитстве правый глаз кот сохранил тем не менее юношеское любопытство и прокудливость. Движимый этими неистребимыми кошачьими свойствами, он и сиганул с крытой толем крыши сарая на полиэтилен, укрывающий Лизину обитель, и свалился, буквально как гром на голову, распавшейся Ладушке. Последовавшая стремительная погоня закончилась серией молниеносных и точных ударов, окровавивших баззащитный собачкин нос. Почти две недели после этого белая мордочка была разукрашена, как лица американских командос, бриллиантовой зеленью, именуемой в просторечии зеленкой. Но это не прибавило осмотрительности четвероногой балбеске, и вскоре Ладка была снова уязвлена в то же чувствительное место — на сей раз ужасным шершнем, таких невероятных размеров, каких вам, читатель, и в страшном сне не снилось!

В общем, на вопрос, мучивший меня в старших классах, —

Что счастье? Вечерние прохлады  
В темнеющем саду в лесной глуши?  
Иль мрачные, порочные услады  
Вина страстей, погибели души? —

я со всей определенностью отвечаю — ни то, ни другое! Настоящее, всамделишное счастье — это вот эти вот щенячьи восторги и девчачьи визги, эти солнечные плески и блески, эти розовые лепестки шиповника (также именуемого, кстати, собачьей розой), нанесенные теплым Зефиром в бассейн, на одном из которых плыл, как на лодочке, черненький суетливый муравьишка, и вон та синяя-синяя, большая-пребольшая туча, медленно взбухающая над лесом, чтобы к по-

лудню, на радость огородникам и садоводам, обрушиться громокипящей живительной влагой и уйти дальше, в сторону Коммуны, и там возводить с двух разных концов земли прозрачную и многоцветную триумфальную арку, — все это Елизавета Алексеевна Харчевникова будет вспоминать всю свою не слишком задавшуюся жизнь и улыбаться.

Но, как поется в старой казачьей песне: «Все имеет свой конец, свое начало», особенно летние каникулы. Все длиннее становились ночи, все прохладнее и мимолетнее дни, все ярче рябина и малиновее слива, все заметнее делались предательские прядки в кронах зеленокудрого леса, и все гуще и дольше стлались утренние туманы над Медведкой.

И так же неумолимо сгущались и метафорические тучи над белокрысыми и беспечными головами Лады и Лизы.

### **3. КОЛДУНЫ**

*Там небеса и воды ясны!  
Там песни птичек сладкогласны!  
О родина! Все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но все с тобой  
Душой.*

Василий Андреевич Жуковский

Деревня, в которой произошли и еще произойдут описываемые мной события, по-настоящему должна бы называться Малыми Колдунами, но, поскольку Большие Колдуны, расположенные верстах в семи вниз по течению Медведки, еще в двадцатые годы, благодаря хулиганскому обыкновению коммунистов похабить карту России именами убийц, стали называться Коммуной имени Розалии Землячки, уменьшительный эпитет потерял всякий смысл и постепенно забылся.

Кстати, и название райцентра — Вознесенск, звучащее для неосведомленного чуженина столь благолепно, на самом деле было дано в честь героя Гражданской войны Артема Вознесенского, небольшой, но конный памятник которому у здания городской администрации доселе встает на дыбы и указывает буденовской шашкой вдаль. В свое время группа творческой и технической интеллигенции (впоследствии оказавшейся компрадорской), перевозбужденная коротичевским «Огоньком», пыталась даже организовать движение за возвращение городу исторического названия — Скотопригоньевск, но поддержки у горожан, разумеется, не нашла.

Происхождение странного сказочного топонима мне, к сожалению, неизвестно. Во младенчестве Александра Егоровна была твердо убеждена, что своим чудным названием родная деревня была обязана деду Матвею Голощопову, сумрачному вдовому кузнецу, явному и злому волшебнику. Но большинство ее сверстников судили иначе, в кузнеце не усматривали ничего такого колдовского, а вот Евдокию Богучарову — злобную и горбатую Сашину тетку — почитали не без основания ведьмой.

Взрослые же обитатели деревни или равнодушно пожимали плечами: «А шут его знает, Колдуны и Колдуны», или начинали, во хмелю, заведомо привирать — иногда довольно искусно. Никаких настоящих дедовских преданий на эту тему, к несчастью, не сохранилось.

Вообще нельзя сказать, чтобы жителям деревни так уж нравилось ее название, подозреваю даже, что они втайне завидовали обитателям Коммуны — тем

более, что те, абсолютно не помнящие родства, глупо, но обидно дразнились: «Колдуны-колдуны, потеряли штаны», из-за чего нередко случались междоусобные бои на кулачках или даже на кольях, орошающие берега тихоструйной Медведки братской кровью из разбитых сопелок.

Могу, конечно, для очистки совести, отослать читателя к брошюре «Земля вознесенская» изданной в рамках федеральной программы «Возрождение малой Родины». Ее автор, Миколайчук Ю.Ф., уверенно, но бездоказательно приписывает предкам Гогушиных, Богучаровых и Тупициных какую-то особую предрасположенность к волхвованью и чародейству. Возможно, убежденность страстного краеведа в том, что и пушкинский вдохновенный кудесник, и три волхва, предрекшие смерть Иоанна Грозного в последней части драматической трилогии А.К. Толстого, были земляками Александры Егоровны, и основывается на каких-то фактах и документах, но поскольку читателю об этом ничего не сообщается, мы вправе не принимать на веру подобные смелые утверждения. Маловероятным нам кажется и то, что блоковское четверостишие

Русь, опоясана реками  
И дебрями окружена,  
С болотами и журавлями,  
И с мутным взором колдуна,

навечно якобы рассказами однокашника Блока по университету, некоего Бориса Иванчевского, «не раз гостившего в усадьбе Ильино, неподалеку от Колдунов». Очень даже подалеку, кстати, — километрах в пятнадцати как минимум. А уж предположение автора, что детская магическая формула «Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь» родилась именно в нашей деревне — это уж вообще какое-то издевательство над здравым смыслом и федеральной программой. Правда, Миколайчук приводит в главе о Колдунах ценнейший фольклорный материал, собранный им лично, но — увы — все без исключения частушки напечатаны с цензурными изъятиями, так что можно только догадываться, о каком конкретно воздействии и на какую именно часть тела просит лирический герой вот этого задорного четверостишия —

Дуня, Дуня, ты колдунья,  
Дуня, Дуня, поколдуй  
.....  
.....

Зато вот песня на слова самого Миколайчука приводится полностью. А первый куплет даже два раза, поскольку именно его автор взял эпиграфом к своему труду —

Мой край вознесенский,  
Леса и поля,  
Родные просторы,  
Родная земля!  
Взгляни, чужеземец,  
Взгляни и признай,  
Не видел ты краше,  
Чем русский наш край!

Эту самую песню, между прочим, пела на конкурсе районной художественной самодеятельности тогда еще совсем молодая Маргарита Сергеевна Сапры-

кина, в сарафане и кокошнике, пела замечательно, с душой, но победить, к сожалению, так и не смогла, заняла только третье место, на что ужасно обиделась и рассердилась и демонстративно отказалась участвовать в заключительном концерте, сидела в зале, насмешливо фыркала и отпускала ядовитые реплики, так что дружинникам даже пришлось ее приструнить.

Здравомыслящий чужеземец вряд ли, конечно, согласится, что ничего краше Вознесенского района не может быть, но, если только он не ослеплен русофобией, наверняка охотно признает, что местность, где расположена наша деревня, действительно очень красива. Дурак Миколайчук, чем печатать бесчисленные портреты А.М. Вознесенского и других орденоносных земляков, поместил бы лучше фотографии тех самых лесов, и полей, и родных просторов. Или хотя бы репродукцию полотна «Крестьянская свадьба в Ильине» кисти уроженца Скотопригоньевска художника Алексея Ефимцева, не то чтоб это был уж такой шедевр, но все-таки.

А на странице 43 воспроизведена, между прочим, карта Скотопригоньевского уезда, рисованная в 17.. году управляющим имением князя Бунчук-Бранчковского ученым немцем Карлом Шварцкопфом и хранящаяся нынче в краеведческом музее, и там на месте нынешней Коммуны написано Koltuny, так что, может быть, первоначально никакой сказочности в названии нашей деревни и не было, и она вполне могла встать в один ряд с селом Горюхином и Неурожайкой тож.

Малые Колдуны и впрямь были невелики — где-то полтора десятка домов, вытянувшихся между проселочной дорогой и речкой Медведкой (тоже странное название). За проселком простирались почти до горизонта поля — некогда колхозные, а ныне непонятно чьи, заброшенные и зарастающие уже и кустарником. А сразу за узкой, как ручей, но в некоторых местах довольно глубокой речкой взбирался на пологие холмы лес — смешавший, как Лада, многое множество пород, но тем не менее (опять-таки как наша дворянка) красивый и здоровый. Некоторые части его были, впрочем, и вполне чистопородными — темный мрачноватый ельник на самом верху и пресветлый и радостный, как сто один далматинец, березняк у кладбища, а уже на выходе — мое любимое, мое родное, мое дружное и многочисленное семейство сосен и сосеночек, поэтически прозываемое Девичьим борком.

Правда, последние четыре десятилетия помимо этого названия укоренилось и другое, довольно противное, Сраный лес — из-за того что поселяне, возвращающиеся на электричке из Москвы или Вознесенска, только здесь впервые за полтора часа пешего хода с тяжелой поклажей (это после долгой и мучительной езды в набитом вагоне) оказывались наконец в местах, пригодных для отправления естественных больших нужд.

Но к ляду весь этот неуместный натурализм, лучше скажем о своем излюбленном дереве словами китайского мудреца Вэнь Чжэньхэня (1585—1645), который в книге «Чан у чжи» («О вещах, радующих взор») пишет — «Древние называли сосну в паре с кипарисом, однако же первой среди деревьев благородных и ценных следует поставить сосну... Кора ее — как чешуя дракона, а в ее кроне поет ветер, словно волны накатываются на берег. К чему тогда уходить на горные вершины или берег седого моря?». Действительно — к чему?

А в самой деревне странника поражал своими невероятными размерами старый тополь у колодца, как мне доводилось уже писать — высотой почти до звезды. Когда-то их было два, таких вековых исполина, но в одного из братьев однажды ударила молния, и, несмотря на бушующий ливень, он сгорел почти до земли — но это было так давно, что Александра Егоровна и не знает, действительно ли она помнит эту ужасающую грозу или это потом, по рассказам старших, она себе навообразила пылающее в ночи прекрасное и страшное дерево.

Единственным каменным, в смысле кирпичным, строением в Колдунах был дом Егора Богучарова, где и родилась Александра Егоровна, потом там располагалось правление, потом клуб, а в брежневские годы — магазин. Завмагом там довольно долго проработала Маргарита Сергеевна, пока однажды ревизоры-инкогнито не поймали ее на каких-то жульничествах. Свергнутая королева Марго, как ее ласливо называли окрестные пьяницы и алкоголики, была даже заключена под стражу, но вскоре выпущена — то ли, как она утверждала, «за отсутствием состава преступления», то ли, как поговаривали, откупились, доподлинно никому не известно, но с тех пор Сапрыкину стали, естественно, называть в деревне Тюремщицей — правда, только за глаза, уж очень крут был Маргаритин нрав, лих язык, а рука тяжеленька и скоро на расправу.

После этих неприятностей труды и дни Маргариты Сергеевны посвящены были исключительно частному сектору — приусадебному участку, где успехов она добилась невероятных, прямо-таки мичуринских, мясо-молочному производству, ну и, конечно, самогоноварению — почти что в промышленных масштабах. Надо отдать ей должное, тут она ни капельки не жульничала — питье было крепчайшим и почище любой казенной водки, ничего не скажешь, что молодец, то молодец.

Да она и сама была еще вполне ничего себе, за собой следила, накручивалась на бигуди, даже и не скажешь, что бабе под шестьдесят, высокая, дородная, груди — во! ну и зад, и, как пишет Бунин, «все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово» тоже — ого-го! В общем, воплощала и олицетворяла собой Жориково бессмысленное восклицание — «едрён-батон!». Неудивительно, что дурачок Жора, когда впервые увидел этот торчащий над грядками величественный зад, не ведая, какой опасности подвергается, даже решил приударить и спел ей хулиганскую песню:

Какие у вас ляжки,  
Какие буфера!  
Давайте с вами ляжем  
Часа на полтора!

Ой, что было! Вспоминать страшно.

Жорик, впрочем, случая этого нисколько не смущается, когда ему напоминают о позорном бегстве через всю деревню под градом пинков и тумачков, он только ухмыляется и говорит, как Яшка-Цыган из «Неуловимых»: «Кобылка хотя необъезженная, да, видать, чистых кровей!». Он и посейчас продолжает иногда строить Маргарите куры, но из безопасного далека — то споет: «Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже!», то сладким, фальшивым голоском зазывает из-за забора: «Ритуси-и-к! Риточка Сергеевна-а-а!».

— Я те дам Ритусик, черт пьяный!

— Госпожа Сапрыкина-а-а!

— Да что ж ты пристал-то, ну что ж тебе надо, гад ты такой?!

— Скажи «Аврора-а-а»!

— Чего?!

— «Аврора»!

Изумленная Сапрыкина на пару секунд немеет.

— Рио-Рита, ну скажи, пожалуйста, «Аврора».

— Да на кой... ну, Аврора.

— Снимай трусы без разговора!!! — радостно выпаливает Жорик и уносит-ся прочь, визжа от восторга.

Сапрыкина давно уже была женщина (язык все-таки не поворачивается назвать ее старухой) одинокая. Разведенкой ее тоже называть не хочется — коннотации у этого слова больно непристойные и обидные, а Маргарита Сергеевна ни в чем таком замечена не была, она и мужика-то своего прогнала не столько за то, что пил и бездельничал на ее трудовые и нетрудовые доходы, сколько по подозрению в супружеской измене. Старшую, непокорную дочь она тоже разогнала и уже много лет не общается с ней, а вот младший, почтительный сынок, рыбачащий где-то в Приморском крае, — истинное материнское утешение: и денег шлет, и подарки дорогие делает, и приезжает — с Дальнего-то Востока! — чуть не каждый год! Жена только у него, конечно, дура и урод, глаза б не видели! ну так ей вполне хватило одного отпуска у свекрови. Больше она сюда ни ногой!

Ну вот, как я, кажется, уже говорил, с осени до поздней весны в Колдунах оставалось только эти три жителя — Егоровна, Тюремщица и, последние две зимы, Жора. Да и летом из коренных-то деревенских много ли приезжало? Раз-два да обчелся. Ну Тупицины, ну Быки, ну Харчевниковы... Ну Аркадий Петрович — хоть и не наш родом, но уж так давно живет... А кто еще? Всё. Ну да, всё. Кто помер, кто переехал в город или еще куда, кто продал родную избу городским дачникам, в общем, не деревня, а коттеджный какой-то поселок. Не элитный, конечно.

Да вот еще, совсем забыл, воду из колодца использовали только для полива и стирки, на вкус она давно стала какой-то противной, да и санэпидемстанция еще в 87-м предупредила — плохая вода. За чистой и вкусной водой надо было идти в лесной родник — довольно далеко, с ведрами-то умаешься. Приходилось Егоровне нанимать бесстыжего Жору — то за бутылочку, то за считанные пенсионные рублики. А куда денешься? У него же, нахала, что ни попросишь, один ответ — «Литр! Литр и ни грамма меньше! Клянусь честью, мадмазель!». Где только набрался обезьянства этого, шалапут.

Литр не литр, а грамм сто пятьдесят («сто пэздесят», как говорил Жора) вынь да положь! Слава Богу, Егоровне двухведерного пластмассового бидона хватало надолго, ну а колодезную воду она пока еще и сама могла наносить, потихонечку, по полведра.

#### **4. ПРЕДАТЕЛЬСТВО**

*Я все имел, лишился вдруг всего;  
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!*

Евгений Абрамович Баратынский

Было бы бессовестно и жестоко обвинять в этом вероломном предательстве Лизу — уж она-то, будь хоть немного ее воля, ни за что не бросила бы свою ненаглядную Ладушку. Но что же могла поделать маленькая и зашуганная девочка — только плакать. (Я, правда, сейчас с невольным содроганием представил в этой ситуации и в этом возрасте свою Сашку и понял, что мало бы тогда никому не показалась, и каково бы ни было излюбленное ею животное, оно бы с неизбежностью воцарилось в коньковской однокомнатной квартире.)

Да и Зоя Геннадиевна хотя и является, конечно же, безмозглой и бессердечной тварью и настоящей, в отличие от Лады, сучкой, но в предательстве как раз совершенно неповинна — она ведь никогда и не обещала взять беспородную и надоедливую дворняжку на свою элитную городскую жилплощадь с евроремонтом и мебелью в стиле Луи Четырнадцатого, на свои блистающие паркеты, на

которых и сиволапый-то муж, объевшийся груш, и неказистая дочка всегда казались неуместными и ежесекундно раздражали своей вопиющей нестильностью и непрезентабельностью.

Так что трусом и предателем у нас оказывается не кто иной, как капитан милиции — здоровеннейший мужичина, кандидат, между прочим, в мастера спорта по самбо.

Ах, капитан, мой капитан, что же ты так, как последний салабон, позорно дрейфишь? Ну, взгляни же, взгляни на сморщенную в беззвучном плаче мордочку капитанской дочки, ну взгляни же на ничего не понимающую, но встревоженную Ладку, склоняющую недоуменную голову то на один бок, то на другой!

Ну же, ваши действия, гражданин начальник?!

Ну что б тебе, услышав визгливое: «Только через мой труп!!», не процедить сквозь зубы: «Ну что ж, через труп, так через труп!» и не выхватить вороненое табельное оружие, и не открыть огонь на поражение? Ну хотя бы сделать предупредительный выстрел в воздух? Что б тебе не гаркнуть в сердцах свою любимую фразу из сериала «Охота на оборотня», которой ты привык леденить кровь в жилах жалких правонарушителей и вверенного тебе личного состава: «Лимиты терпения исчерпаны!»? Ужели еще не исчерпала лимиты эта крашенная падла?!

Эх, Леха, Леха!

Говнюк ты, а не капитан!

Но каким бы малодушным дерьмом ни был папа Лизы, все-таки просто так бросить несчастного песика на глазах зареванной дочери даже он, конечно, был не способен. Оставался единственный выход — всучить злосчастную Ладку соседке, которой, как вы понимаете, и была Александра Егоровна. Просить о чем-нибудь таком Сапрыкину было бы сущим безумием, тем более что Зойка недавно из-за какой-то ерунды схлестнулась с Маргаритой Сергеевной, и дело дошло до матюков и чуть ли не до рукоприкладства, да и про себя Леха узнал много неожиданного и обидного, пока оттаскивал багровую супругу под насмешливые крики Тюремщицы...

— Здравствуй, баб Шура.

— Да уж видались сегодня.

— Баб Шур...

— Чего, Леш?

— Тут такое дело... Мы сегодня уезжаем... и это... Ну, в общем, мы собаку... ну в город взять не можем!

— А что это так? (Ох, ехидничала Александра Егоровна, все ведь она слышала, весь харчевниковский скандал, во всяком случае, все, что провизжала Зойка).

— Ну, нет условий.

— Угу. Без условий, и впрямь, куда ж...

— Так я вот что подумал... Может, ты ее это... до лета только... может, взяла бы?

— Да ты что, Леш? Нет, зачем же мне собака? Мне этого не надо, куда она мне?

— Да она послушная, хорошая. Ласковая такая... Корма я бы оставил почти целый вон мешок

— Да не хочу я. Ни к чему это... Собак только мне чужих не хватало еще!

— А я б заплатил, баб Шура, вот, — капитан торопливо стал тащить из заднего кармана чересчур тесных для его курдюка брюк толстый бумажник.

— Да не нужны мне твои деньги... Вот еще новости... Ой, а что это? Доллары?

— Да нет, баб Шур, нормальные рубли, какие доллары... вот видишь — пять тысяч.

— Ишь ты!

Егоровна с детским любопытством смотрела на невиданную красную бумажку в Лехиной ручище. Пять тысяч! Легко сказать! И зашептал ей на ушко бесенок-соблазнитель, и встали перед внутренним ее взором черные лакированные туфельки-лодочки, какие купил Сапрыкиной богатый дальневосточный сын, и защемила сердце тайная, несбыточная и грешная мечта. И то сказать — совсем ведь никакой приличной обуви у Егоровны не осталось, даже стыдно в таком рванье ходить, особенно летом, на людях. А с другой стороны — чего уж ей форсить-то. А вот уютюг новый неплохо было бы купить заместо перегоревшего, а то замучишься ведь на печке-то его разогревать...

— Ну так что, баб Шур? Я приведу собачку, а?

— Приведу... Ишь ты, быстрый какой... Только в дом не пущу, так и знай! Она там и Барсика еще задерет. Вон от Цыгана конура осталась, там пусть и зимует, ничего ей не сделается.

— Да конечно, конечно! Ничего страшного, она же вон меховая какая! И она не кусачая совсем, ласковая!

— Ни к чему мне ее ласки... Ласковая... До лета пусть живет. Гляди, Лешка, только до лета!

— До лета, до лета, баб Шура! А то жалко все-таки... Ох, спасибо тебе, выручила. Пряж тяжесть свалилась с плеч.

— Тяжесть-то твоя, она при тебе остается, — еще раз съехидничала Егоровна, но капитан сделал вид, что не расслышал и не понял.

## 5. СОПЕРНИК

*Я все перескажу: Буянов, мой сосед,  
Имение свое проживший в восемь лет  
С цыганками, с б...ми, в трактирах с плясунами,  
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,  
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком,  
Пришел, — и понесло повсюду кабаком.*

Василий Львович Пушкин

Спустя два дня после отчаянного бегства нашей заглавной героини Александра Егоровна и Маргарита Сергеевна сидели на полусломанной скамейке у гогушинского дома, греясь на сентябрьском солнышке и поджидая автолавку — без всякой надежды, но и без ропота, просто по заведенной традиции.

Летом эта блуждающая, как честертоновский кабак, торговая точка приезжала, как часы, — два раза в неделю, а иногда предприимчивый азербайджанец пригонял ее даже чаще, а вот осенью и зимой, хотя официально автолавка должна была появляться каждую среду, но на деле до середины мая товары народного потребления доставлялись в Колдуны от силы раз в месяц — и то только потому, что на этом же автобусике по договоренности с собесом приезжала рыжая девушка, привозящая старухам пенсию. И то сказать — никакого экономического смысла жечь бензин и гробить машину ради двух прижимистых старух и одного безденежного алкаша не было.

— А чо это Жоры давно не видно? — без особого интереса спросила баба Шура.

— А ты соскучилась? Да чтоб его вообще черти побрали, паскуду!

— Ну что уж ты... черти... Ругательница ты какая, Рита.

— А что ж его ангелы, что ли, унесут-то, паршивца такого? Да вон гляди, легок на помине красавец. Пса какого-то тащит.

Не какого-то и не пса, а мою злосчастную Ладу вел по деревне на обрывке бельевой веревки неунывающий и хмельной Жорик.

— Ой, да это ж Лада! Где ж ты ее нашел-то? — обрадовалась Александра Егоровна, которая ужасно переживала и расстраивалась все это время, что деньги-то взяла, а собаку и не уберегла.

— Где-где! В Улан-Уде! В питомнике, естественно!

— В каком питомнике?!

— Для служебных спецсобак, дярёвня! Бешеные бабки отвалил. Кличка — Рэкс! Собака-убийца! Перегрызает кадык на раз! Челюсти развивают давление в тыщу атмосфер. Как тиранозавр, блин. И что характерно — запрещенная на территории Российской Федерации порода — еврейская овчарка. Видал, какие глаза?

Глаза действительно были печальные. Лишившаяся от изумления дара речи, Егоровна наконец вымолвила:

— Да это ж Лада!

— Хренада!.. Хренадская волость в Испании есть...

— В какой Испании? Харчевниковская же собака.

— Вас ис дас «харчевниковская»? Не понимэ!

— Полно ваньку-то валять! Что тут не понимэ! Отдавай пса! — вступилась Сапрыкина.

— Нельзя, Ритусик! Это ж друг человека. Друг в беде не бросит, лишнего не просит... Мы в ответе за тех, кого приручили!

— Да когда ж ты ее приручил-то?

— Короче-мороче! Кабыздох мой!

В лекциях по русской литературе В.В. Набоков снисходительно пеняет И.С. Тургеневу за то, что создатель «Муму» чересчур уж часто в своих романах прерывает нить повествования, чтобы рассказать читателям о предыдущей жизни каждого нового персонажа. Резон в таких придирках, может быть, и есть, но уж мне-то как начинающему прозаику подобная повествовательная неуклюжесть, безусловно, простительна, не говоря уж о том, что, может, это вообще такая сознательная и тончайшая стилизация, попробуйте-ка доказать обратное!

По определению Егоровны, Жорик был «озорь, ох и озорь же!», Маргарита же Сергеевна квалифицировала его жестче и, пожалуй, точнее — хулиган и дармоед. Сам я в раннем детстве его очень страшился и втайне им восхищался, в отрочестве и юности — боялся и ненавидел до дрожи и только в армии, приглядевшись, не то чтобы совсем перестал опасаться или полюбил, но как-то заинтересовался и даже залюбовался им, во всяком случае, на втором году службы, когда он меня уже не мог мучить и унижать.

Ну вот, например, история с работой В.И. Ленина «Что делать?». Эта брошюрка вместе с другими такими же ритуальными изданиями годами спокойно лежала в ленинской комнате, пока на нее не упал взгляд томящегося от преддembельской скуки Жорика. Вспомнив дошкольную шутку, этот ефрейтор тут же написал на обложке ответ на ленинский вопрос — «Снять штаны и бегать!».

Майор Пузырьков через несколько дней обнаружил эту кощунственную надпись и, будучи существом тупым и злобным (кстати, совсем не все политработники были таковы, встречались и вполне себе симпатичные дядьки), предпринял собственное расследование, дабы выявить и наказать святотатца. Для этого, собрав у всей роты тетради с конспектами предписанных ГлавПУРОм ленинских трудов (сейчас могу припомнить только «Все на борьбу с Деникиным!»), Пузырьков засел за графологическую экспертизу. Но выследить Жорика он, конечно, не

смог, более того, ему открылось такое ужасное и обидное издевательство над всей системой политического воспитания военнослужащих срочной службы, что дурацкая выходка Жоры отступила на задний план. Потому что конспекты черпаков и дедов (бойцов первого года службы Пузырьков не проверял — даже ему было понятно, что им пока не до шуток) все без исключения оказались писаны одной рукой — рукой несчастного салаги Цимбалука, который на допросе порол совершенную чушь, утверждая, что никто его не заставлял, а просто он сам так любит конспектировать, что вызвался помочь товарищам старослужащим. Деды и черпаки, среди которых был и я, дружно подтвердили эту версию, доведя Пузырькова до полного умоисступления.

Или вот еще картинка — из моего отрочества. Мы с папой гостим в станице Змейской у дяди Заурбека. Заходим в местный книжный магазин. Вслед за нами Жора — да еще какой великолепный — в темных пластмассовых очках, в завязанной выше пупа цветастой рубашке, в клешах ширины необычайной, в общем, сущий волк из «Ну погоди!». Достав и развернув тетрадный листок, он, сверяясь с написанным, обращается к продавщице:

— «Яма»?

— Что?

— Книга «Яма»?

— Нету.

— Книга «Дикамерон»?

— Нет.

— «Нана Золя»?

— Нет.

— Та-а-к. «Итальянская новелла эпохи Возрождения»?

— Нет.

— «Советы молодым супругам»? Тоже нет? Да что ж у вас есть?! Вот так магазинчик!!

В Колдунах Жора появился два года назад, в начале лета, сразу после смерти старика Девяткина, чью покосившуюся и страшно захламленную избушку никому не ведомые наследники продали каким-то, как утверждала Сапрыкина, «черным риелторам», которые и вселили в нее так и оставшегося безымянным дедушку-алкоголика и Жору, очевидно, купив у них за бесценок городское жилье. Дедок тихонько пропивал полученные денежки, никуда практически не выходя из девяткинской избушки, Жора же мгновенно со всеми перезнакомился, со многими выпил и подружился, и через три дня впервые был бит Быками — тремя братьями Голощаповыми, прозванными так за соответствующее телосложение, темперамент и мировоззрение. Сначала Жорик, про которого рядовой Масич еще на первом году службы справедливо заметил: «Без п...юлей, как без пряников», похаживал мимо Бычьего дома, распевая: «Тореадор, смелее в бой», но эта тонкая шутка была не понята, поэтому насмешник перешел к менее изысканным дразнилкам — от «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу» до простого, но громкого мычания, каковое и послужило причиной избиения. Вообще Жору, неутомимого искателя приключений на собственную задницу, били довольно часто, но моральная победа оставалась неизменно за ним, поскольку, поднявшись с земли и утирая кровавые сопли, он всегда умудрялся произнести нужные слова с нужной интонацией. Например, презрительное — «Ладно, живи! Сёдня День защиты насекомых!» или устрашающе-мужественное — «Врешь, падла! Жора на мокруху не пойдет!». Иногда он использовал не очень понятное, но эффективное, услышанное от облитого пивом в при вокзальной шашлычной интеллигента — «Думали оскорбить — удручили!». А Быкам он вообще сказал, как «Терминатор-1»: «Айл би бэк!». Но вот тут как раз вышла

накладочка, потому что младший Бык взревел: «Я те, б..., покажу «бебек!» — и снова отправил Жору в нокадаун.

А на пятые сутки своего проживания в выморочной лачуге пришлые алконавты перед рассветом устроили пожар, чуть было не спаливший всю деревню. Слава богу, именно в этот час в Колдуны въезжал на такси сапрыкинский сын. Мертвецки пьяных обитателей избушки удалось вовремя вытащить, но сам домик сгорел дотла, не дождавшись приехавшей через полтора часа пожарной команды из Вознесенска. Жору сильно побил старший Бык, самый неистовый, несмотря на пенсионный возраст, из братьев. Огреб же мой бессмысленный приятель не столько за сам поджог, сколько за циничный восторг, с которым он, глядя на пылающую кровлю, воскликнул: «Ну, блин! Огненная феерия!».

На следующий день погорельцы исчезли, старик навсегда, а Жора до поздней осени, когда тишину ранних ноябрьских сумерек неожиданно осквернило дребезжанье нестройщей гитары и глумливый голос проорал на всю безлюдную, темную деревню:

Когда меня мать рожала,  
Вся милиция дрожала!

Ну милиция-то вряд ли, а вот сердечко Александры Егоровны затрепетало, как осиновый лист, да и неукротимая Тюремщица вздрогнула и приготовилась к худшему. И совершенно, надо сказать, напрасно. Возвращение блудного Жорика ничем не грозило одиноким обитательницам Колдунов. Наоборот — с ним стало все-таки повеселее, каждый день что-нибудь отчебучит. Он ведь вообще-то сам по себе создание, ей-богу, безобидное и добродушное, если только по дурачности и повадливости не подчиняется чьей-нибудь действительно преступной и злой воле, или моде, или идеологии. К несчастью, такая воля и такая идеология, как правило, оказываются тут как тут.

Поселился Жорик в заброшенном магазине, вернее, в подсобке, приспособил какую-то дырявую железную бочку вместо печи и зажил себе звериным обычаем, как какой-то пещерный или снежный человек, несколько, впрочем, не унывая и припеваючи, то есть горланя с утра до ночи, как пожарники у Ильфа и Петрова, «нарочито противным голосом».

По-настоящему отравляло жизнь старух и было и впрямь несносно, особенно на первых порах, именно это непрерывное пение и бряцание на лишенной третьей струны, неведомо где надыбанной гитаре.

Александра Егоровна как-то, не выдержав, робко заметила:

— Что-то не в лад совсем.

— Не в лад! Поцелуй кобылу в зад! Чо б понимала! Колхоз «Красный лапоть»! Да я у Стаса Намина в первом составе играл! На басу... Я просто барэ теперь брать не могу. Видала? — И Жора сунул под нос Егоровне обрубок указательного пальца с вытатуированным перстнем. — Под Кандагаром отстрелили!

И тут же ударил по струнам и завыл:

Когда я в душманском зиндане сидел  
И помощи ждал от пустыни,  
Какой-то козел, салабон, самострел  
С подругой моей мял простыни!

И, не останавливаясь, перешел к другой песне о совсем другой войне:

Мы придем, увенчанные славой,  
С орденами на блатной груди!

И тогда на площади на главной  
Ты меня, дешевая, не жди!  
И тогда на площади на главной  
Ты...

Но и эту песню счел недостаточно пафосной и неожиданно грянул:

Офицеры!  
Россияне!  
Пусть свобода воссияет!!

Перепуганному Чебуреку, впрочем, свое увещье он объяснял впоследствии несколько иначе: «Гляди, Талибан, что твои якудзы со мной сделали!!».

Такое творческое и вдохновенное отношение к реальности делает невысказанно трудной задачу жизнеописания Жоры. Мотал ли он действительно срок и, если да, то сколько раз и по каким статьям? То получалось, что он из ревности убил одним выстрелом жену-фотомоделю и ее армянина-любовника, то, что он был знаменитым киллером по кличке Рикошет, которого разыскивает не только МУР, но и Интерпол, и даже ФБР, то вдруг сообщалось, что он вор в законе и наследник самого Япончика, а то, совсем уж неожиданно, выходило, что Жорик никакой не урка, а, напротив, бывший лучший опер убойного отдела, скрывающийся в Колдунах от мести кровавой цыганской наркомафии и оборотней в погонах. Или что он мастер спорта по кун-фу, не рассчитавший силу и уложивший на месте трех ментов, пристававших к слепой девушке-певице в ресторане «Садко». Во всяком случае, в Колдунах никаких особо криминальных наклонностей Жорик ни разу не проявил, замечен был только в мелких и глупых хищениях, что пристало, конечно, не кровавому Рикошету, а обыкновенному деревенскому «завору».

Да даже и с национальностью его не все было очевидно. Вроде как русский, но слишком уж вертлявый, маленький, чернявенький, глаза слишком навывкате, а шнобель такой огромный и такой горбатый, каких у нас по деревням не видано, не слыхано, да еще кучерявая прическа — как у историка Радзинского, хотя и не такого изысканного цвета. Сапрыкина, которую на мякине не проведешь, заподозрила неладное и решила, что парень, видно, не без прожиди, и даже несколько раз в сердцах обозвала его англосаксом. Она ведь была уверена, наслушавшись телевизионных обличений, что «англосаксы» — это такое культурное и научное название тех же жидомасонов. Но Егоровна с этой версией Жориного происхождения не согласилась: «Да где ж ты видала, чтоб яврей так пил да безобразил!».

О святая простота! Пьют, тетя Шура, пьют еще как, не хуже русских и осетин, и, между прочим, безобразничают некоторые несколько не меньше, уж вы мне поверьте!

Да и возраст нашего героя тоже был не совсем ясен — может, тридцать пять, а может, и весь полтинник, никак не разберешь по пропитой и морщинистой от вечного обезьянничанья роже.

В общем, если вам уж так хочется представить себе внешность моего беспутного героя, вообразите себе, пожалуйста, Петрушку Рататуя, ярмарочного Петра Петровича Уксусова, издаваемого над голым барином и немцем-перцем-колбасой и называющего дубинку русской скрипкой, вот на кого был похож наш хулиган, так что подозрения Маргариты Сергевны оказываются абсолютно беспочвенными — кукла эта вполне великорусская, хотя и очень похожая и на Пульчинеллу, и на Панча. А если приставить рожки и добавить еще немного красноты Жориковой физиономии, получится другой персонаж итальянского театра кукол — Diavolo, ну или, если угодно, классический козлоногий фавн.

Этический облик этого российского сатира полностью обрисовывался его излюбленной частушкой:

Не е.и мозга мозгу,  
Я работать не могу!

И вправду не мог, и не только потому, что лень-матушка родилась раньше, но и потому, что загребушие Жориковы руки росли, по утверждению Сапрыкиной, из жопы, а вот язык зато был не то чтобы хорошо подвешен, но совершенно без костей и без тормозов.

Следует, я думаю, отметить, что Жора являлся таким стихийным постмодернистом, то есть изъяснялся исключительно цитатами, правда, не книжными, а все больше киношными, телевизионными и фольклорными, и, как многие именитые постмодернисты, нисколько не был озабочен тем, что ни происхождение этих цитат, ни их смысл собеседнику были зачастую неведомы. Конечно, когда он, опрокинув стакашек, заявлял, что «водку ключница делала», это было всем понятно, но представьте недоумение Сапрыкиной, услышавшей от купившего у нее шкалик самогонки Жорика: «Распутин должен быть изображен два раза!» да еще с дурацким немецким акцентом! Иногда, впрочем, Жора цитировал и литературную классику, например, после того как компания положительно решала вопрос «Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?», он, завязывая шнуры, неизменно декламировал: «И он послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом!».

И, конечно же, как многие поколения русских забудыг и мелкой шпаны, неизменно уверял собутыльниц и случайных попутчиц, что это он раньше был «весь как запущенный сад, был на женщин и зелие падкий», а ныне как раз наоборот, запел про любовь и отрывается скандалить.

Ну и «Луку Мудищева», ясен пень, знал назубок, от начала до конца, как «Отче наш».

То, что Жора представлял собой советский, удешевленный и суррогатный, вариант Ноздрева—Хлестакова, — это само собой, тут не о чем и говорить, но мне иногда, в минуты сентиментальной расслабленности и маниловской мечтательности, представляется, что, воспитай его не пьющая-гуляющая мамаша на фабричной окраине, а какие-нибудь викторианские тетушки, мог бы из него вырасти такой же очаровательный оболтус, как Берти Вустер или, скажем, любитель искрометного вина и возвышенной поэзии мистер Свивеллер. Да хотя бы и Барт Симпсон.

Ну а так он, конечно, больше всего напоминал того страшенького парнишку из оденовского «Щита Ахиллеса»:

That girls are raped, that two boys knife a third  
Were axioms to him, who'd never heard  
Of any world where promises were kept,  
Or one could weep because another wept.\*

\* Перевода я не нашел, поэтому привожу свою, совсем уж вольную, вариацию:

То, что все бабы б...и, а лежачего долго бьют,  
Не требует доказательств для тех, кто родился тут,  
Кто и слыхом не слышал о царстве том, невозможном,  
Где плачущие блаженны, обетованье неложно.

**6. ВЫБОР ЛАДЫ**

*Пред испанкой благородной  
Двое рыцарей стоят.  
Оба смело и свободно  
В очи прямо ей глядят.  
Блещут оба красотю,  
Оба сердцем горячи,  
Оба мощною рукою  
Оперлися на мечи.*

*Жизни им она дороже  
И, как слава, им мила;  
Но один ей мил — кого же  
Дева сердцем избрала?*

Александр Сергеевич Пушкин

— Но-но-но! Руки прочь! Ща спущу Рэкса, обе без кадыков останетесь! Рэкс, фас! — куражился хмельной бесстыдник.

— Каких кадыков?! Какой на х.р Рэкс?! Это ж сука!!

— Сама ты... Во блин, и правда... Эх, Рэкс, Рэкс! Как же ты так, братуха? Вот беда-то... Ну ничего, ничего... Не ссы, Капустин... Еще лучше даже! Будем заводчиками.

— Отдавай собаку, сволочь!

— Рит, а может, и правда... — робко вступила баба Шура.

— Что еще правда?

— Может, не Лада? Какая-то она вроде не такая...

Ладу, действительно, нелегко было узнать в этом замызганном, жалком животном с прижатыми ушами и поджатым хвостом. Боялась она в данный момент, конечно, не Жорика, с которым, признав в нем брата по разуму, уже вполне поладила, и не Егоровну (уж ее-то ни одно живое существо бы не испугалось), а большую и крикливую Тюремщицу.

— Да ты в уме ль, старая? Вон же на ошейнике — «Лада»!

На ошейнике, действительно, еще сохранялась старательная фломастерная надпись с именем собаки и капитанским телефоном.

— Ничего не доказывает. На сарае х.. написано... И вообще, я, блин, добросовестный приобретатель!.. Без рук, Ритусик, только без рук!.. Пусть сама решает!

— Кто решает?!

— Сама... Рэкс!

— Господи, да что ж за дурак за такой!

— Я дурак, а ты рабочий, я нас..л, а ты ворочай!.. — машинально отреагировал Жора и получил наконец давно заслуженную звонкую затрещину. Лада, хранившая до этого момента настороженное молчание, зашлась в испуганном лае. Сапрыкина попятилась.

— Ага! Очко-то не железное? Молодец, Рэкс, молодец! Будете представлены к награде!

Тут Александра Егоровна решила-таки воззвать к разуму и совести:

— Жор, ну правда! Ну отдай собачку. Ну на кой она тебе? Я ведь Лешке пообещала, ну вот придет он, что я ему скажу?

— Что-о-о?! Менту лучшего друга сдать?! Менту?! Тебе б отдал, Егоровна, вот бля буду, но менту!.. Да я ее лучше своей рукой... Я тебя породил, я тебя и...

— Это я тебя убью сейчас, рожа твоя бесстыжая!!

Если б Сапрыкина была менее яростной, а Егоровна более циничной, им было бы совсем нетрудно сообразить, что от силы часа через полтора, когда наступит неизбежное похмелье, Жора сдаст кого угодно и кому угодно за сто миллилитров любой спиртосодержащей жидкости. Но Маргарита Сергевна слишком жаждала немедленной справедливости, Егоровна была чересчур удручена и доверчива, а Жора уж очень расшалился и стал нести уже какую-то запредельную ахинею о неотъемлемых правах собачьей личности.

Выбор оставался за Ладой.

И вот баба Шура и Жора, словно Пушкин с Дантесом, встали на равном расстоянии от Сапрыкиной (якобы равном — отмерял-то Жора), держащей на замусоленной веревке вновь притихшую злосчастную собачку.

— По счету три — зовите. Раз! Два! Три!

— Лада! — жалко пискнула Александра Егоровна.

А бессовестный Жора и не думал звать придуманного Рэкса. Присев на корточках, он зачмокал губами и засюсюкал: «Лада, Лада, Лада! На!». И подло протянул в сторону спущенной с веревки героини огрызок краковской колбасы, которая, кстати, и послужила поводом для знакомства Жоры и Лады у ильинского продмага.

И в очередной раз в истории нашего падшего мира наглый материализм и бессовестная ложь одержали победу! И в очередной раз — утешьтесь — победа эта была не окончательной и не вечной, хотя и очень обидной и болезненной.

Конечно, возмущенная Сапрыкина заставила Жору все переиграть еще раз, обязала его даже кричать «Рэкс», но выбор-то уже был сделан, и колбасой все еще пахло.

Егоровна как честный человек признала поражение и не пыталась уже урезонить торжествующего хулигана.

Тюремщица, обругав всех участников поединка, включая Ладу, последними словами, пригрозив различной тяжести карами, отправилась домой, утешаться сериалом «Пахан-3», баба Шура, чуть не плача, осталась одиноко сидеть на своей давно скособочившейся скамейке, Жора, торжествуя, вел Ладу к своему логову, шутовски печатал строевой шаг и орал дембельский марш «Прощание славянки»: «Лица дышат отвагой и гордостью, под ногами гудит полигон», а время между тем шло и шло, и момент похмельной истины неумолимо приближался.

## **7. НОВАЯ ЖИЗНЬ**

*Услышь, услышь меня, о Счастье!  
И солнце как сквозь бурь, ненастье,  
Так на меня и ты взгляни;  
Прошу, молю тебя умильно,  
Мою ты участь премени;  
Ведь всемогуще ты и сильно  
Творить добро из самых зол;  
От божеской твоей десницы  
Гудок гудит на тон скрыпицы  
И вьется локоном хохол.*

Гаврила Романович Державин

Некогда классик французской литературы Стендаль, выказывая острый галльский смысл, разработал теорию кристаллизации любви, то есть уподобил раз-

витие этого чувства следующему химическому процессу — «Если в соляные копи Зальцбурга бросить веточку и вытащить ее на следующий день, то она оказывается преобразенной. Скромная частица растительного мира покрывается ослепительными кристаллами, вязь которых придает ей дивную красоту». И хотя философ Ортега-и-Гассет пренебрежительно опровергает эту теорию и даже намекает на малую осведомленность автора «Пармской обители» в этом вопросе, сама метафора мне все-таки кажется точной и многое объясняющей.

Обида ли на жуликоватого односельчанина, жалость ли к убогой собачке, досада ли на собственную неспособность постоять за свои права явилась той скромной частицей, которой предстоит расцвести дивным сиянием, или же Егоровна просто, как Татьяна Ларина, да не покажется это уподобление смешным, «ждала кого-нибудь», чтобы наградить его нерастраченной и не востребованной многие годы нежностью, но процесс пошел. Хотя сама Гоголина еще об этом не догадывалась.

Сокрушенно посидев еще некоторое время на скамеечке, баба Шура вздохнула и, прихрамывая больше обычного и морщась от разболевшейся ноги, пошла домой.

«Вот же дурная какая, — думала она про Ладу, рассеянно глядя гудевшего, как трансформатор, Барсика. — Ну как же она там будет с этим охломоном? Он-то и сам незнамо на что живет... Надо еду-то ее отнести, что ли... — и тут баба Шура вспомнила про заветную красненькую бумажку, деньги-то теперь тоже, выходит, не ее, а Жориковы. — Ведь пропьет же в одночасье. И куда ему такие-то деньжища... — но тут же строго себя оборвала — а вот это уж не твое дело, чужие деньги жалеть... Да пусть хоть обопъется, прости Господи!».

Эх, знал бы Жора, что, потерпи он еще минут пятнадцать, и стал бы он обладателем пяти ментовских тысяч! А это ж как минимум двадцать пять литров — и это если магазинной и не самой дешевой водки, а уж сколько самогону — даже подумать страшно! Но, как писал в объяснительной записке мой однополчанин рядовой Дымьянчук: «Напала нетерпячка!». Трубы горели и звали в поход.

Вообразите же изумление Александры Егоровны, вышедшей уже на крыльцо с мешком собачьего корма, при виде входящих в калитку Жоры с Ладой!

— Егоровна! Купи собаку!

Вот мы б, небось, задохнулись бы от возмущения и негодования, а бабе Шуре стало смешно.

— А дорого ль берешь, купец именитый?

— Да что, сама видишь, пес породистый, не лает, не кусает, а в дом не пускает! Так что меньше литра — никак!

— Собачка знатная, конечно, да вот беда — нету литра-то.

— А сколько есть?

— Ну стопочку б, может, и налила б!

— Да что ж вы, кровопийцы, творите?! Кулачье недорезанное! На народном горе наживаетесь?!

— Ты сам горе народное, дурень.

— Назовите настоящую цену!

— Настоящая цена и тебе-то самому вместе с собакой — хрен с полтиной. Ну так уж и быть — стакан!

— И закусить. Огурчика там, капусточки...

— А что, колбаску-то всю собачка съела? Как ее кличка-то, я запомновала? Рэкс, кажись?

— Харэ, Егоровна! Промедление смерти подобно!

— Ладно уж. Жди здесь! — остановила Егоровна шустрого Жору, попытавшегося проникнуть в избу и разведать, где припрятана славная гоголинская самогонка.

Вот так Лада, словно арап Петра Великого (если, конечно, верить Булгарину), оказалась вновь у бабы Шуры.

— Ну что? Набегалась? Эх ты, колбасница! — укоризненно обратилась к ней новая хозяйка.

Лада неуверенно помахала хвостом.

— Грязная-то ты какая. Вот мне радость-то собак чужих купать... Ну что ты чешься? стыдно?.. Рэкс! — хмыкнула Егоровна, а Лада, почувствовав, что на нее не только не злятся, а, кажется, даже наоборот, затыкала и забегала вокруг старушки в ожидании ласки или игры, ну и, конечно, чего-нибудь вкусенького.

Но прежде всего собаку надо было все-таки отмыть. Егоровна достала цинковую ванночку, в которой в свое время купала маленького Ваню, сходила два раза за водой, добавила кипятку, чтобы не застудить Ладку, все это время бегавшую за ней и мешавшуюся под ногами.

— Ну давай, полезай в воду. Не бойся — тепленькая!

Ха! Не бойся! Это ты, Александра Егоровна, поостереглась бы лучше!

Вначале Лада еще все-таки робела и стояла более-менее смиренно, позволяя намылить себя хозяйственным мылом, но когда Егоровна, иронически, но все-таки ласково приговаривая «С гуся вода, с Ладки хвост», стала ее ополаскивать чистой водой из корца, собачка наша окончательно уверилась, что относятся к ней хорошо, и что время наконец порезвиться — возможностей для баловства было, конечно, меньше, чем в приснопамятном бассейне, но и эти ограниченные возможности Лада использовала на все сто процентов. Пытаясь остановить прыгавшую и вертящуюся в воде скользкую собаку, Егоровна, уже сама мокрая с головы до ног, оступилась и села в буквальном смысле в лужу, что только прибавило веселости и прыткости шальной собаке, которая носилась теперь кругами по всем сеням, наскакывая на ошеломленную старушку и вспрыгивая периодически в ванночку, которую в итоге и перевернула, выплеснув остаток мыльной воды.

Ох, как обидно стало Егоровне! Как же вдруг стало себя жалко, как будто эти брызги явились последними, так сказать, каплями, переполнившими чашу ее долготерпения и покорности, как же защипало глаза — может быть, и от мыльной воды. И полились слезы — сначала скупые старушечьи, а потом в три ручья, как у несправедливо обиженного ребенка. «Свинья ты-ы-ы, а не собака-а-а-а!» — прорыдала бедная Сашенька искривленным ртом и, с трудом поднявшись и утирая слезы и мыло, не глядя на неблагодарную сучонку, ушла в горницу и, как какая-нибудь кисейная барышня, бросилась на кровать. Такая вот случилась и на нашу старуху неожиданная проруха.

Те, у кого глаза постоянно на мокром месте или кто вообще не умеет плакать, не могут себе представить, как странно и сладко было Егоровне дать волю этим копившимся долгие-долгие годы слезам. Неизвестно, сколько это горестно-блаженное забытие длилось, но неожиданно кто-то легко и робко коснулся седого затылка старушки. Испуганно обернувшись, Егоровна увидела устремленный на нее внимательный и печальный карий взор и ощутила теплый, нежный и шершавый язык, лизнувший ей щеку, потом нос, потом очки. «Да ты очумела, что ли, совсем?! Ты куда же залезла, негодница такая?!» Вместо ответа Лада улеглась мокрым брюхом на постель и стала умильно тыкаться носом и поскуливать. И неожиданно для себя самой Александра Егоровна, вместо того чтобы столкнуть зарвавшуюся бесстыдницу и отхлестать ее веником, как это не раз будет в их будущей совместной жизни, улыбнулась сквозь слезы и погладила беспутную собачью голову: «Ну? Не стыдно? Ну что подлизываешься теперь? Дура ты, дура!».

С этого момента кристаллизация взаимной любви пошла такими ударными темпами, что вскоре сияние этих самоцветных кристаллов полностью преобразило жите-бытие в гогушинской избушке. К большому неудовольствию и презрительному недоумению Барсика.

Вы спросите, а как же верность? Что ж так быстро Лада позабыла свою возлюбленную Лизаньку? А я вам отвечу — чем попрекать несчастную и совсем еще молоденькую собачку, на себя лучше оборотитесь и обратите лучше внимание на бревна в своих глазах, не говоря уж о том бревне, которым корит пушкинская Марфушка Антипьевну...

Ромео вон тоже в начале трагедии был искренне влюблен в другую девушку, что нисколько не помешало ему любить до гроба свою законную супругу.

### **8. А.Е. ГОГУШИНА, В ДЕВИЧЕСТВЕ БОГУЧАРОВА**

*'I am Oz, the Great and Terrible.'*

*'I am Dorothy, the Small and Meek.'*

Lyman Frank Baum \*

Черт догадал Александру Егоровну родиться в стране, «что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета» под властью могущественной ОПГ, известной в криминальной истории под кличкой РСДРП(б), она же ВКП(б), она же КПСС.

Отец тогда еще совсем маленькой Сашеньки, знатный плотник и печник, сеятель и хранитель, а в довершение всех бед еще и церковный староста, погиб в разгар того кромешного кошмара и скотства, которое Иосиф Сталин, куражась над мученичеством отданных ему на поругание людей, назвал «головокружением от успехов», а Михаил Шолохов с небывалой творческой мощью и неподражаемым казацким юмором воспел в образе Макара Нагульнова.

То, что суровая вдова-киторша со своими пятью недобитками, женщина при всей набожности нравная и не склонная потакать глупостям и гадостям советской власти, лишилась всего только мужнина дома, уворованного коммунарами, и, переехав в родительскую избу к незамужней сестре-горбунье, была оставлена поднимателями целины в относительном покое, объясняется, скорее всего, не остаточным человеколюбием и человекообразием партийно-хозяйственного актива, а наглым и самодовольным головоутианием или, как выразился бы Жора, расп.....ством. А может, все дело (как в случаях с Пастернаком и Ахматовой), в прихоти упоенного своим долбаным всемогуществом местного пахана.

Во время войны она даже стала стремительно подниматься по служебной колхозной лестнице благодаря своему трудолюбию, сметливости и к тому времени совершенно уже уникальной честности. И быть бы ей, как героиням Марецкой и Мордюковой, славной председательшей, кабы не жгучая зависть соседа Семена Девяткина, надиктовавшая этому в общем-то неплохому мужику, вернувшемуся в 43-м с покалеченной ногой и справедливо уверенному в том, что на безлюдье и Фома дворянин, бесчисленные кляузы во все возможные органы и инстанции, положившие конец карьерному росту Сашиной мамы. Но и Семен, впрочем, тоже никаким председателем не стал, а как-то непостижимо быстро спился и умер, так что Бог ему судья.

\* «Я Оз, Великий и Ужасный!»

«Я Дороти, маленькая и кроткая».

Лайман Фрэнк Баум

(Пер. с англ. автора)

Из четырех Сашиных старших братьев своей смертью умер — уже при Брежневке — только один, самый старший, краса и гордость Колдунов, ветеран Великой Отечественной и финской, Герой Советского Союза полковник Федор Егорович Богучаров, начштаба танковой дивизии в далеких киргиз-кайсацких степях. С его вдовой Александра Егоровна какое-то время поддерживала связь, поздравляла ее с Новым годом, Восьмым мартом и Днем Победы, зазывала погостить, но уже очень, очень давно полковница, оказавшаяся в стране ближнего зарубежья, перестала отвечать на тети-Шурины открытки, а что стало с племянницей и ее двумя детьми, тоже было неизвестно.

Средние братцы, двойняшки Ваня и Егор, погибли в самом начале войны, их похоронки были доставлены в один день и стали первыми пришедшими в Колдуны, ну а младшенький богучаровский сынок, Леня, тот самый, с которым Саша ловила рыбу и видела лося, сгинул где-то на этапах большого пути из немецко-фашистского в советский концлагерь, чем, между прочим, помешал старшему брату дослужиться до генерала, поскольку геройского фронтовика-танкиста и в Академию не взяли из-за брата-предателя, не говоря уж о контрреволюционном отце, ну и подниматься от звания к званию, особенно в начале карьеры, ему пришлось медленно и с огромным трудом.

Старуха-мать, до конца дней сохранившая ясный ум и сухую, немного надменную статью, не дождалась буквально нескольких месяцев до смерти кремлевского горца, которого пристрастные судьи лишили заслуженного чемпионского звания, отдав — как это часто бывает — предпочтение крикливому эпитгону, поэтому Гитлер прославлен как самый большой убийца и ублюдок в мировой истории, а выросший и вдохновивший нас Сталин как-то теряется в его тени, и никакой надежды на исправление этой вопиющей несправедливости нет как нет. Понятно, что отрицать всемирно-историческое значение ихнего фюрера могут только такие отморозки, как иранский президент, но все-таки супротив нашего генералиссимуса этот клоун, ей Богу, все равно что плотник супротив столяра.

Воцарившиеся по смерти душегуба всех времен и народов шестерки, тот самый сброд вождей, названных Мандельштамом почему-то тонкошеими, хотя все они как на подбор были мордастыми, как оруэлловские свиньи, уже не так сильно гадили и измывались над нормальными людьми и здравым смыслом. Не то чтобы советская власть, насосавшись вдосталь кровушки, отвалилась совсем, ненасытность была имманентным свойством этой пиявицы, просто силы уже были не те — как у шамкающего беззубыми деснами над трепещущей жертвой людоеда или как у прихваченного аденемой простаты насильника...

О Господи! Кажется, опять!

Опять я захожусь в припадке «зоологического антикоммунизма», и со вспененных губ готова уже сорваться излюбленная цитата из книги Чисел об оскверненной кровью земле и ее очищении, и снова я намереваюсь гневить Бога жалобами на то, что убийцы не наказаны и даже не опозорены, что их гладенькие внучки-политологи не то что не стыдятся, а пишут толстые двухтомные книжки о жизни и творчестве дедушек, что кремлевская дворня прославляется за бесценный вклад в мировое искусство, за создание «большого стиля» в «непростое время», и что никакого возмездия и раскаяния так и не случилось и не предвидится, как сказала, пожав плечами, Анжелка Каменцева после просмотра знаменитого фильма «Покаяние»: «Какое ж это покаяние? Так, отмазка!».

Ну так и что?

Можно подумать, сам-то я явился на страницы перестроечных периодических изданий из мордовских лагерей, а не из уютенького столичного Института искусствознания!

И хотя дед мой был японским и английским шпионом, разоблаченным и казненным в 1938 году, но отец-то верой-правдой служил начальником политотдела, как выразился один ветеран на папином юбилее: «Политработник от Бога!».

И ведь уже в шестом классе прочел я данный нам Новый Завет — любить врагов своих и прощать не до семи, но до седмижды семидесяти раз, и, между прочим, произошло это только потому, что папа отобрал Евангелие у какого-то несчастного солдата-баптиста!

А то, что, честно выполнив служебный долг, он и не подумал уничтожить антисоветскую агитацию и пропаганду или хотя бы запретить сыну читать, что «свет во тьме светит, и тьма не объяла его», так это ведь и доказывает, что не была и не могла быть эта чертова власть, как она ни тужилась и ни пыжилась, главным содержанием человеческой жизни, уж жизни Александры Егоровны, по крайней мере, кишка тонка, и всё, всё, хватит, отвяжись, умоляю, действительно ведь годы прошли и столетия, и написал уже надменный и испуганный эмигрант в 1939 году про все это, про горе, и муки, и стыд, и про то, что

поздно, поздно! — никто не ответит,  
и душа никому не простит!..

А то я уже сам себе напоминаю того незабвенного праведного сантехника, который на заре российских свобод чинил нам смеситель в ванной. Починил быстро и наотрез отказался брать деньги. Растроганная Ленка предложила растворимого кофе — тогда, насколько я помню, страшно дефицитного, привезенного мной из щепетильного Лондона. Но, войдя на кухню, где я, обуянный социопатией и мизантропией, от него скрывался, удивительный сантехник сразу же помрачнел, утратил любезность, перестал восторгаться Томиком и засобирался восвояси, даже не допив редкого напитка. И уже в дверях укоризненно произнес: «Молодые, интеллигентные люди, а на стенку Берию повесили!».

Я ошарашенно промолчал и не сразу понял. На кухонной стене висела тогда фотография пожилого Набокова в пенсне...

Зато в замужестве Александра Егоровна была неправдоподобно счастлива...

Нет, не могу остановиться, все-таки еще одна цитата, из бунинских «Окаянных дней» — «Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего *литература поможет*, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, вырождков и шарлатанов»...

А в замужестве Александра Егоровна действительно была неправдоподобно счастлива и утешена, поскольку муж ей достался работающий, любящий, красивый на внешность, непьющий и некурящий, чего я и вам желаю от всего сердца, милые мои читательницы!

Ну не то чтобы Иван Тимофеевич уж совсем не пил, пил, конечно, и по праздникам, и так, за компанию, но во хмелю был добр, весел и безобиден, как малое дитя, что и нам бы ох как не помешало бы, дорогие читатели.

Правда, подвыпив, Гогушин часто озорничал, не слушал уговоров лечь уже наконец спать, а вместо этого подхватывал свою маленькую (как говорила ее мама, чутошную) женушку и, держа ее на весу, принимался кружиться по избе, задевая и опрокидывая табуретки, натываясь на еще не убранный, дребезжащий и звенящий стол и горланя на всю деревню:

Верь, такой другой на свете нет наверняка,  
Чтоб навеки покорила сердце моряка.  
По морям и океанам мне легко пройти,  
Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути.

Прошел чуть не полмира я —  
С такой, как ты, не встретился  
И думать не додумался,  
Что встречу я тебя!

А когда подросток сынок Ванечка, то и его увлекал счастливый и хмельной папаша в вихрь этого зачастую разрушительного вальса, держа визжащего от наслаждения наследника под другой мышкой. А лохматый Цыган за стеной бесился, и лаял, и обиженно выл, и рвался с цепи от невыносимого и невыполнимого желания поучаствовать в громоподобном веселье — этого огромного черноморского пса все в семье, конечно, очень любили и даже баловали, но пускать в избу собаку было тогда не принято и неприлично.

Иван Тимофеевич действительно в молодости был военным моряком, повоевать он, правда, так и не успел, несмотря на все мальчишеские попытки надурить военкома, но потом, уже после войны, отслужил верой и правдой четыре года на Черноморском флоте. Вот когда черноморский наш герой приехал на побывку и произвел у коммунальных и колдуновских девчат, как в песне поется, переполох своим огромным, под два метра, ростом, лихой бескозыркой, лентами в якорях и грудью хоть и не в медалях, но в блестящих красивых значках, вот в то баснословное лето и случилась любовь у первого на две деревни парня и маленькой Шурки Богучаровой, привыкшей горделиво сдерживать слезы и не показывать вида, когда малолетние колдуновские остроумцы глумливо пели за ее спиной: «Моя лилипуточка, приди ко мне! Побудем минуточку наедине!».

Почему Ваня-моряк выбрал не писаных и статных красавиц, а эту пигалицу, одному Богу известно, а у Него не очень-то об этом спросишь. Ясно одно —

Ни при чем наряды,  
Ни при чем фасон,  
Ни в одну девчонку,

кроме богучаровской крошечки-хаврошечки, он не влюбился. Завистливые, злые и бесстыдные языки тут же, конечно, пустили сплетню — мол, другие себя блюли и ничего морячку-ухарю не позволили, а Шурочка-дурочка оказалась давалкой, в тихом-то омуте...

«За своими получше следите, за моей нечего!» — обрывала тогда уже сильно хворая, но еще живая и строгая вдова Богучарова тех, кто осмеливался намекнуть ей на аморальное поведение дочери, а пьяного старика Тупицина (это не кличка, действительно такая настоящая фамилия), совсем уж распустившего свой поганый язык, она так огрела по хребту граблями, что он на следующий день не вышел на работу и долго грозился подать в суд за увечье.

Ну и сам старшина первой статьи пообещал повыдергивать ноги всем, кто будет бесчестить его маленькую возлюбленную, а проверять, сдержит ли Ваня свое слово, охотников не нашлось.

Более трогательной, нелепой и смешной пары, чем Ваня и Шура, мне трудно себе представить. Разве что Александр Сергеевич и Наталья Николаевна производили столь же странное впечатление, да и то вряд ли.

Когда по куртуазным правилам того времени Ваня набрасывал на худенькие Шурины плечи бушлат, его полы почти касались белянских праздничных

носочков на ногах Сашеньки, а когда он, преодолевая ожесточенное, но немного притворное сопротивление, прижимал ее к своей необъятной груди, девичья макушка оказывалась как раз напротив нижнего угла мерцающего в теплой мгле треугольника тельняшки.

В отличие от Пушкиных, любовь их была взаимной и верной.

Так что, когда через два года Ваня окончательно вернулся домой, Шура ему действительно охотно и не задумываясь отдалась, правда, уже после свадьбы.

А еще через два года родился младший Ваня, так что моя Александра Егоровна, почти как распутинская героиня — жена Ивана, мать Ивана. Правда, никого она никогда не убивала и убить бы не смогла, она ведь даже колорадских жуков жалела и истребляла неохотно, хотя доподлинно было известно от Любки Таганцевой, которой рассказал военный попутчик, когда ездила к сестре в Таганрог, что жуки эти — никакая не казнь египетская (на что намекала покойная ктиторша), а совсем наоборот — происки и диверсия американских поджигателей войны, которые под видом пасечников разводят этих прожорливых и неистребимых тварей в специальных ульях!

### **9. А.Е. ГОГУШИНА. Продолжение.**

*Суетен будешь  
Ты, человек,  
Если забудешь  
Краткий свой век.  
Время проходит,  
Время летит,  
Время проводит  
Все, что ни льстит.*

Александр Петрович Сумароков

Да что там убогая советская власть! Сама всевластная судьба (Гумберт Гумберт сказал бы — Мак-Фатум, Цветаева и Сафо посетовали бы на завистливых богов, мой православный дружок Хохол помянул бы аггелов Князя тьмы и, в сущности, был бы прав, но мы все-таки скажем просто — судьба) не могла долгие десятилетия разрушить маленькую и хрупкую гогушинскую идиллию, хотя неоднократно пыталась. Автор сам невольно поучаствовал в одной из таких попыток, явившись действующим лицом хорошо подготовленной, но так, слава Богу, и не состоявшейся трагедии.

Осенью далекого 197\* года я, влекомый юношеской гиперсексуальностью, принимаемой и выдаваемой мною за роковую страсть, торопливо и опасно шел по малоосвещенной сельской улице. Предметом моего тогдашнего блудного возбуждения была учительница коммунской начальной школы, студентка заочного отделения нашего педа, Альбина А. Наша довольно случайная связь завязалась в общаге, где я проживал уже второй год и куда селили на время сессии заочников. Обусловлена она была, в первую очередь, неумеренным потреблением дешевых крепленых вин, а также Альбининым одиночеством (муж-однокурсник был призван в армию), ну и моим провинциальным запоздалым романтизмом. То, что Альбина была замужней дамой и на целых четыре года старше меня, оказалось достаточным основанием для превращения этой курносой и простодушной девочки в женщину-вамп — в моем убогом воображении, конечно. Приведу начало одного из стихотворений, посвященных А.А.:

Сегодня ты придешь, наверное,  
Ложь и отчаянье мое,  
Повеет древними поверьями  
Твое упругое белье.

Упругостью Альбина действительно могла похвастаться, а вот никакой особой лживости в ней на самом деле не было (ну если не считать супружеской неверности, а кто ж ее, смехотворную, стал бы считать? Ведь любовь же все-таки! Вольна, как птица, законов всех она сильнее etc). Что же касается отчаянья, то причины для него у меня имелись самые веские, но с Альбиной никак не связанные, — не сегодня-завтра многотерпеливый деканат должен был-таки турнуть меня из института за вопиющие прогулы и академическую задолженность. В общем, картину я являл собой, как писал Розанов по поводу собственного автопортрета, «не из прекрасных», а прямо-таки, на мой теперешний взгляд, омерзительную. Да еще и кудри черные до плеч — бр-р-р!

Вот такое вот очкастое девятнадцателетнее существо и натолкнулось тем злополучным вечером на группу подвыпивших, но скучающих местных пацанов.

Закурить-то у меня, конечно же, нашлось, но это не надолго отложило неизбежную развязку.

Помните такой глумливый дворовый приемчик — хулиган сначала резко замахивается, а потом быстро протягивает ту же руку как бы для рукопожатия, мол, здорово, зёма? Такие трусишки, как я, с неизбежностью отскакивают и прикрывают лицо под хохот торжествующей шпаны. А в тот раз я не просто отскочил, я — ох-ох-ох, до сей поры стыдно, особенно от сознания того, что и нынче, не дай Бог, поступил бы так же — в общем, задал я самого постыдного и стремительного стрекача. Душа, ушедшая в пятки, придала моим ногам необыкновенную проворность.

Слыша за спиной смех, свист, молвь и топ развеселившихся преследователей, я вылетел на перекресток, где тут же был ослеплен светом фары и отброшен страшным ударом на обочину.

Если бы Александра Егоровна с не свойственной ей твердостью не пресекла очередную попытку кума выпить с Иваном Тимофеевичем стремянную, вполне возможно, Гогошин и не успел бы в последний момент повернуть руль «Урала», и не наслаждались бы вы сейчас, милые читатели, этой книжкой. А так я только был слегка задет коляской. Травмы были вполне совместимые с жизнью — гематома пониже левой ягодицы, ободранное до крови предплечье, расквашенные губы и нос и, судя по всему, сотрясение и без того не очень устойчивого и надежного мозга.

Перепуганный, протрезвевший Гогошин под оханье и причитанья Егоровны сгреб меня, вконец ошалевшего от страха, с придорожной грязи, уложил в коляску и помчался в вознесенскую больницу, хотя для оказания мне скорой помощи вполне хватило бы и местного медпункта.

Однако рассвирепевший Мак-Фатум не собирался так просто сдаваться. Едва мотоцикл выехал на шоссе, как впереди показалась милицейская машина, помните, они в то время раскрашивались в цвета левитановской золотой осени — желтый с синей полосой?

Мильтоны, увидев такую странную компанию на ночной дороге — окровавленный волосатик в коляске, огромный расхристанный старик за рулем и простоволосая старушка (платок у Егоровны в суматохе развязался и был унесен встречным ветром), заинтересовались и, преодолев привычное нежелание во что-либо вмешиваться, остановили наш экипаж.

Тут-то бы и завелось уголовное дело, неизвестно чем кончившееся бы, если б не Александра Егоровна! Не успел никто промолвить ни одного слова, как она, соскочив с мотоцикла, затараторила: «Ой, сыночки, слава богу! Слава богу, что вас встретили! А то прям не знаем... Вот паренька кто-то сбил, в больницу везем! Мы едем, а он, бедненький, лежит! Мы уж думали, мертвый, да нет, слава Богу, раненый только, живой, живой!».

Тут я, слегка уже очухавшийся, но перепуганный уже просто до потери всякой способности соображать (я и тогда уже ментов боялся чуть больше нормальных хулиганов), заблажил: «Не надо в больницу! Ничего не надо! Пожалуйста! Я в порядке! Все нормально!».

Милиционеры уже явно жалели, что черт их дернул ввязаться, на хрен им сдался этот полуночный геморрой?!

Поэтому, удостоверившись, что потерпевший не собирается никуда заявлять, в медучреждения обращаться не намерен и охотно принимает приглашение переночевать у своих спасителей, а завтра уберется подобру-поздорову с подведомственной территории, ночной дозор, напоследок пожурив водителя: «Что ж ты, отец, поддатым за руль садишься? Ты уж давай поаккуратней!», отправился по каким-то своим, более неотложным делам.

Александра Егоровна на радостях даже бутылочку нам выставила к позднему ужину, предварительно обработав йодом мои ссадины, и уселась чинить мою джинсовую польскую курточку и шитые мамой расклешенные штаны. Я с непривычки мгновенно опьянел от крепчайшего самогона и слушал, как сквозь туман, хмельные и немного хвастливые рассказы Ивана Тимофеевича про сына, который щас в армии, недавно приезжал в отпуск, уже младший сержант, через год вернется, чтобы поступить в строительный институт, а жениться ему еще рано, хотя тупицинская Ольга его ждет не дождется, хорошая девка, но пусть Ванька учится, успеет еще...

— Хватит тебе уж, Вань. Давайте укладывайтесь. Вот, сынок, как смогла, зашила... Постирать бы, да не высохнет до завтра, ты уж сам...

Утром, позавтракав удивительными оладушками (интересно, для меня Егоровна расстаралась или она так всегда баловала своих Ванечек?), я был отвезен на станцию и навсегда уехал (роковая страсть в эту ночь растаяла бесследно, как струйка дыма). Наши с Иваном Тимофеевичем ангелы-хранители, помахав друг другу крыльями, тоже расстались навеки, а бес, отвечающий за изничтожение возмутительного гогушинского счастья, поджав хвост, убрался на время восвояси — штудировать «Письма Баламута», наверное.

Александра Егоровна заставила повинного муженька дать честное слово, что больше он к вину не притронется, и он безукоризненно выполнял обещание целый год, даже чуть дольше — до самой смерти сына Ванечки, дембельнувшегося в мае, поступившего на рабфак в МАИ, поехавшего на отцовском «Урале» катать свою Олю Тупицину и столкнувшегося с «МАЗом».

После похорон Иван Тимофеевич стал пить каждый день и почти каждый час, с каким-то странным, тихим упорством, ничего не отвечая на попреки и мольбы Александры Егоровны, правда, всегда покорно и исправно выполняя все ее хозяйственные просьбы. Но если не попросишь — так и будет сидеть сиднем день-деньской, механически наполняя и опорожняя граненую стопочку — самогона-то за время его годичного воздержания скопилось вдосталь.

Ни утешения, ни забвения он в алкоголе не находил и, кажется, не искал. Вид у него был такой, какой бывает у смертельно больного человека, принимающего все в больших дозах уже давно не болеутоляющее лекарство и втайне надеющегося, что в таком объеме оно окажется, наконец, ядом.

К сожалению, именно так и оказалось, и годовщину сыновней гибели Александра Егоровна встретила уже вдовой.

Как она смогла пережить все это, я не знаю, и представить мне это невозможно и страшно. С ума не сошла, криком не кричала, истерик никому не закатывала, схоронила, как положено, и стала жить дальше. Весной сажать, летом поливать да пропалывать, осенью собирать урожай. Долгой зимой топить печь и ждать весны.

В общем, по Марксу — «идиотизм деревенской жизни». Идиотизм! В зеркало б поглядел, урод волосатый, — вон он где, идиотизм-то настоящий!

Постарела Александра Егоровна в тот год, конечно, сильно. И почему-то почти отнялась левая нога. Потом, правда, Егоровна ее расходила, но маленькая хромота так и осталась. Ну и побаливала иногда, так что обзавелась моя старушка палочкой — Аркадий Петрович отдал ей свою старенькую. Но она старалась все-таки, если нога не сильно болела, ходить без нее, чтоб не набаловаться и не привыкнуть.

Кроме смехотворного чутошного роста, главной особенностью тети Шуриной внешности были глаза — огромные, зелено-голубые и какие-то совсем уж беззащитно-добрые. Обладателей такого взгляда раньше принято было насмешливо называть исусиками. И совершенно неважно, что на самом-то деле глазки у Александры Егоровны были довольно маленькие, как и у всех Богучаровых, что это толстенные очки так сильно и красиво увеличивали их — если справедливо утверждение, что глаза зеркало души, то офтальмология и оптика в данном случае просто исправили досадную недоработку генетики.

Что касается духовно-интеллектуального мира, то нравственная философия бабы Шуры описывалась, во-первых, любимой максимой покойной мамы — «Повадишься пердеть, и в церкви не стерпеть», а во-вторых, соломоновой или горацанской убежденностью в том, что

ненасытная алчность,  
Страх потерять иль надежда добыть малонужные вещи

есть суетство сует и бесполезное томление духа. Ну а скромные метафизические запросы Ладиной хозяйки вполне удовлетворялись Никео-Цареградским Символом веры, хотя размышлять о его глубинах она за недосугом не привыкла и проникать дерзновенной мыслью в непостижимую тайну троичности Божества считала делом не своего ума.

Еще следует, наверное, отметить, что, в отличие от суровой ктиторши, Александра Егоровна была необыкновенно смешлива, можно сказать, хохотушка, но какая-то застенчиво-сдержанная, а после того как рухнул верхний зубопротезный мост, она вообще толком не смеялась, просто поджимала губы и потешно фыркала, что со стороны выглядело сарказмом, хотя уж чего в моей героине совсем не было, так это как раз превозношения и вредности.

Ну что еще? Из живности у Егоровны водился только приبلудный кот Барсик, скотина ей была уже давно не по силам, да и птицу она не стала больше заводить, после того как во всех Колдунах куры и утки с гусями подошли от какой-то непонятной заразы (нет-нет, это было до всякого куриного гриппа). Тогда только у Сапрыкиной выжило несколько несушек — говорят, она их самогоном отпаивала, но, скорей всего, брешут чего не знают.

А про Барсика что говорить?

Черный, одноглазый, наглый. Крупный довольно.

Я грешным делом таких котов не очень люблю, а вот Бодлеру Барсик бы точно понравился — и своей бандитской ленивой грацией, и «задумчивой гордыней... как сфинксы древние среди немой пустыни» (перевод И. Лихачева).

## **10. МЕЛАНКОЛИЯ**

*Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,  
Листья пожелтые по ветру летят;  
Лишь вдали красуются, там на дне долин,  
Кисти ярко-красные вянущих рябин.  
Весело и горестно сердцу моему,  
Молча твои рученьки грею я и жму,  
В очи тебе глядяочи, молча слезы лью,  
Не умею высказать, как тебя люблю.*

Алексей Константинович Толстой

Осень наступила золотая, но очень уж, по мнению Александры Егоровны, мокрая. Ну тут уж, что называется, у кого чего болит — на самом деле дождей почти и не было, погода стояла просто загляденье, облакам был дан приказ не темнить собой этот купол, и солнышко, хоть уже почти не грело, продолжало блистать в лазурных лужах, но Александре Егоровне было от этого ничуть не легче отмывать каждый вечер изгваздавшуюся до ушей Ладу, на которую осенняя прохлада действовала возбуждающе и живительно.

И еще одна печаль угнетала в эту чудесную осень душу Егоровны — невиданный уже многие годы урожай яблок. Спросите, что же в этом печального? А то, что девать его было некуда, и стоящий над Колдунами бунинский антоновский аромат знаменовал не довольство и изобилие, а заброшенность и оскудение, и больно было видеть ломящиеся в буквальном смысле под тяжестью плодов деревья. И варенье варили, и компоты, и замачивали эти нескончаемые яблоки, и Ладу пытались не без успеха приучить к яблочной диете, но все напрасно, большая часть сказочного урожая так и сгнила. И сахару столько не укупишь, и емкостей пригодных не хватало, и Лада не столько ела, сколько играла с пахучей антоновкой. Жора предложил односельчанкам делать английское яблочное вино — сидр и даже убедил их в рентабельности своего проекта, но вскоре выяснилось, что никакого рецепта он, конечно же, не знает, а просто валяет по обыкновению дурака.

А интересно все-таки, чем обусловлены исключительно женские ассоциации, возникающие у представителя русской культуры при взгляде на роскошества ранней и средней осени? С тем ли, что в ней действительно есть что-то сугубо женственное, или просто потому, что называется она у нас именно бабьим летом. А назовись она, как в Америке, *Indian summer*, то и возникали бы у нас в воображении не соблазнительные и печальные образы тетенок, которые ягодки опять, а какой-нибудь краснокожий Гайавата в пышном оперении или бесшумно крадущийся с томагавком Чингачгук, ну, в крайнем случае, малютка Покахонтас.

Вспоминается мне в этой связи стихотворение одного так и не напечатанного провинциального поэта брежневской глухой поры, большого путаника, но, по-моему, человека одаренного, с которым я на почве графомании водил некоторое время знакомство и даже, наверное, дружбу. Болтали, выпивали, читали друг другу стишки, а вот сейчас и имени-то его не вспомню, только это одно стихотворение. Как, в сущности, все это грустно и несправедливо.

Наконец мы дождались просвета  
(Что-то там та-та) кисти рябин.  
Что ж так холоден к бабьему лету  
Небосвод голубой, как Кузмин?

(Михаил имеется в виду, конечно, про другого тогда слыхом еще не слыхивали.)

Вдовьи волосы крашены хною,  
И роскошен (какой-то) шиньон,  
И чрезмерной помадой губною  
Лик чахоточный преображен.

Но — увы — безнадежны старанья —  
Красный молодец-солнце спешит  
Поскорее закончить свиданье  
И все позже прийти норовит.

(Дальше четверостишие совсем не помню)

Целомудрие света и ветра,  
Ничего (та-та-та-та) не жаль,  
Умудренная, скорбная Федра  
Сублимирует похоть в печаль.

И беспол, православен, прохладен  
Этой рощи (какой-то там) вид,  
Позолота здесь дышит на ладан  
И паленой листвою кадит.

Концовку не помню. Кажется, она была менее выразительной и еще более аляповатой и пошловатой.

Должен, однако, признаться, что сам я в те времена, хоть и был уже довольно взрослый, уподоблял в своих верлибрах златотканое убранство осени стыдно даже сказать чему — то крови, то сукровице с гноем, то вообще моче. И страшно гордился тем, что в одном из моих текстов сентябрь «меланхолик и лодырь» переплавляет смарагды в сапфиры, а тройки разменивает на рубли (советские три рубля были, как вы помните, зелеными, а рубль, соответственно, желтым), а затем уже рубли разменивались на все более захватанные и темные медяки. В общем, безобразие и глупость несусветная.

А в окружающей Колдуны природе никакого безобразья не было, буквально все было хорошо под сиянием прохладного солнышка, но один вид, один фрагмент левитановско-пастернаковского пейзажа памятен мне особо.

Пройдя по полусгнившим расшатанным мосткам, сработанным еще лет двадцать назад Гогушиным с Быками, и войдя в лес, следовало не сразу поворачивать направо к роднику, а остановиться и поглядеть налево — и там, в конце просеки, на фоне густой хвойной зелени, траурная свежесть которой была подчеркнута несколькими тонкими белыми штрихами уже облетевших березок, увидеть широкий купол одинокого клена, сияющий таким непостижимым светом и цветом, что даже самое заскорузлое сердце сжималось и начинало ныть в унисон, а самонадеянный головной мозг вынужден был признать, что ничего он с этим поделать

не может — ни понять, ни тем более описать. В общем, как выразился по поводу других красот Сережа Гандлевский, — хоть сырость разводи.

Сырость будет разведена чуть позже, когда природа, отбросив божественную стыдливость страдания, распушит такие бесстыдные и безотрадные нюни, что уж ничего, кроме всепроникающей сырости, просто и не останется, все набрякнет и набухнет мертвой холодной водою, и шуршание и шелест под Жоринными резиновыми сапогами сменятся хлюпаньем и чмоканьем, и захочется, чтобы поскорее уж ударили морозы и снег прикрыв бы наконец наготу и срамоту тления.

Да нет, конечно, и тогда было красиво, особенно когда напозлали туманы, — жутко и прекрасно, как будто на том свете, и появляющаяся откуда-то из этого млечного небытия Лада являлась негативом собаки Баскервилей — видны были только приближающиеся вскачь три темные точки — глаза и нос.

Но пока что до этого было еще далеко, и лес стоял настолько как бы хрустальный и в таком пурпуре и злате — от пронзительно-канареечного и малинового до басовых сурика и охры — и так медлительно, как во сне или фильме Тарковского, падали листья, что даже Жора, входя под эти своды, на мгновение удивленно замолкал. Да и очухавшись, он все-таки старался хоть как-то соответствовать очей очарованью и поэтому выбирал для голошения молдавскую песню из репертуара Софии Ротару, нещадно коверкая, впрочем, и мотив, и слова —

Меланколія — дутьче мелодія!  
 Меланколія — и амор-амор!  
 Меланколія, меланколі-и-и-я!  
 И гармонія — и еще кагор!

## 11. ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИШЛЕЦ

*Кто я таков — не скажу, а вот мне примета:  
 Не русак, дик именем, млады мои лета.  
 Антиох Дмитриевич Кантемир*

4 ноября Маргарита Сергеевна Сапрыкина с утра отправилась к бабе Шуре, чтобы поздравить односельчанку с Днем народного единства, или, как говорил Дима Галкин, днем взятия Китай-города. Поначалу-то она этот праздник не признавала, считала очередным предательством и преступлением оккупационного режима и упорно и даже с некоторым вызовом отмечала 7 ноября, но ежедневное смотрение федеральных каналов сделало в итоге свое просветительское дело, и теперь Тюремщица заранее предвкушала удовольствие, с которым будет стыдить и отчитывать темную Егоровну, когда та наивно спросит, с каким таким праздником ее поздравляют. Сапрыкина ведь, несмотря на то что годилась Александре Егоровне в дочери, держалась с нашей старухой покровительственно-строго, учила ее уму-разуму и пеняла за многочисленные, на ее взгляд, несообразности и бесполовости в гогушинском хозяйстве, поведении и мировоззрении.

— С праздником тебя, соседка!

— И тебя тоже, миленькая!

Опешившая от такой неожиданности Сапрыкина глупо спросила:

— С каким?

— Как с каким? Казанской Божьей Матери!

Ох как обидно стало Маргарите Сергевне, ох как она осерчала — и на себя, и на ехидно (как казалось Сапрыкиной) улыбающуюся Александру Егоровну. Она-то ведь считала себя и в этом смысле самой знающей и авторитетной, читала даже пару книжек строгого изобличителя всякой антиправославной мерзости архимандрита Рафаила, после чего некоторое время ругала Жору розенкрейцером, а тут надо же, так опростоволосилась!

Чтобы скрыть смущение и восстановить пошатнувшийся авторитет, Маргарита Сергевна строго спросила:

— Ты что это свою путолайку так распустила?! Орет на всю деревню, сбесилась, что ли?

— Да я сама в толк не возьму, что на нее нашло, брешет и брешет с самого утра.

Сапрыкина насторожилась:

— А может, учуяла кого?

— Да кого ж ей чуют?

— Кого-кого. Мало ли кого. Время такое, что... Бандит на бандите...

Лада действительно давно уже заходилась истошным лаем и как полоумная скакала перед гогушинской так называемой баней, небольшим фанерным домиком, где уже давно никто не мылся, а хранилась всякая ненужная рухлядь. Мылась Егоровна в тазу, ну иногда у Сапрыкиной — в настоящей, бревенчатой, жаркой и пахучей бане.

— Ты б, Егоровна, хоть поинтересовалась бы, что у тебя под носом-то творится!

Баба Шура покорно направилась к баньке.

— Ну что ж ты так раскричалась, Ладка? Ну, что тут... Не открывается что-то! — подергав дверцу, изумилась баба Шура.

— Т-ш-ш! Тихо! — Сапрыкина перешла на громкий страшный шепот: — Иди сюда! Быстрее! Да не дергай уже дверь, бестолковая! Уходи оттуда! Ну быстрее ты, Господи!

Егоровна, совсем растерявшись, подошла к отбежавшей на безопасное расстояние Тюремщице.

— Беда, Егоровна! Там кто-то есть!

— Да кому быть-то...

— Да тому, кто дверь держит, дура ты старая, прости Господи! Так. Спокойно. Спокойно. Главное, не провоцировать...

— Да скажи ты мне, ради Христа, кто там? Что ж ты меня стращаешь-то так, миленькая!

— Молчи. Тихо. Надо этого обалдуя позвать!

— Какого обалдуя?

— Какого! Золотого! Их тут много, что ли?

Но обалдуя звать не пришлось. Он уже и сам шел, ернически приплясывая и приветствуя Егоровну песней из кинофильма «Москва слезам не верит»: «Александра, Александра, что там вьется...» — но, увидев Сапрыкину, тут же переключился:

— Чита-Рита-Чита-Маргарита! Вах! Да вы, девчоночки, уж с утра в сауну намылились? Дело! Может, спинку кому потереть? Тайский массаж? за недорого?

— Да тихо ты...

— А чо такое?

— А то такое, что вон в бане-то кто-то засел!

— В бане?

Приходи ко мне на баню — я тебя оттарабаню.  
Приводи свою маманю — и ее оттарабаню!

— Да не ори ты, урод! Иди вот посмотри, кто там!

— А чо мне смотреть? Эт он вас поджидает!

— Кто поджидает, дурья твоя башка?

— А то ты не знаешь? Винни-Пух!

— А?

Жора, которого сегодня пробило на частушки, объяснил:

По деревне ходит слух  
Винни-Пух е..т старух!  
Тетю Дашу, тетю Глашу  
И еще каких-то двух!

Егоровна хмыкнула.

— Да вы с ума походили все, что ли? — рассвирепела Сапрыкина. — Там, может, маньяк какой прячется!

— Сексуальный, — радостно предположил Жорик.

— Херальный! Ты мужик или нет? А ну давай быстро!

И Сапрыкина, схватив Жорика за шиворот, швырнула его к зловецей и таинственной дверце.

С трудом удержавшись на ногах, Жорик обернулся, послал Маргарите издевательский воздушный поцелуй и только потом дернул за ручку. Дверь не поддавалась. Жора дернул сильнее — тот же результат. Третьего рывка ручка не выдержала, и Жора повалился на землю под визг Сапрыкиной и лай вконец разошедшейся Лады.

Поднявшись и разозлившись, Жорик схватил прислоненный к стенке бани черенок лопаты и заорал, как резаный Высоцкий:

— «Граждане бандиты! С вами говорит капитан Жеглов! Сопrotивление бесполезно! Я сказал — Горбатый!» — сопровождая каждый рык громким ударом черенка о хлипкие стены и дверь баньки.

«Вот дурак-то! Шцас переломает все», — подумала Егоровна, но сказать ничего не успела.

Потому что после крика: «Вихрь-антитеррор!», сопровождаемого особо лихим и сокрушительным ударом, воцарилось неожиданное безмолвие.

— А там, блин, шевелится что-то, — озадаченно произнес Жорик.

— А мы что говорили? Ну вот и давай, шугани своего Винни-Пуха! — приказала Сапрыкина, а сама подвинулась еще поближе к калитке.

— Эй, ты там! Стреляю на поражение! Выходи по одному!

— Господи, сколько их там? — ужаснулась баба Шура.

— Считаю до одиннадцати! Уже десять! — продолжал куражиться бесстрашный от хмеля и врожденной дурости Жора.

И тут дверца приоткрылась,

потом еще чуть-чуть,

потом открылась наполовину, и...

и из-за нее появилась голова.

— А-а-а-а! — заорала Сапрыкина.

— Господи Иисусе! — прошептала Егоровна.

— Бляха муха! — удивился Жорик.

Из низенькой бани, согнувшись в три погибели, почти на четвереньках выползало что-то невероятное, что-то совершенно немыслимое и невозможное в

нормальной русской деревне, тем более в День народного единства. Когда же оно распрямилось во весь свой рост, Сапрыкина завизжала с новой силой и вылетела за калитку. Обезножившая со страху Егоровна быстро-быстро закрестилась и зашептала:

— «Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тьме преходящая, от сряща и беса полуденного!»

А ошарашенный Жорик произнес:

— Вот тебе, бабушка, и волосатый огурец!

Глупая и похабная присказка в данном случае оказалась уместной — незнакомец действительно был волосат. Вот представьте себе индейца-аутиста из «Пролетая над гнездом кукушки» — вот такая же орясина, только кучерявая и заросшая по самые ресницы иссиня-черной всклокоченной бородой и с глазами... нет, лучше вспомните мультфильм «Аленький цветочек» — тот, старый, советский — сказочное лохматое чудище с такими же печальными глазами представило изумленным и перепуганным взорам моих героев.

Раньше всех опомнилась Лада, которая сначала от греха подальше отбежала вслед за Сапрыкиной, а теперь с яростным лаем насканивала на пришельца, не очень-то, однако, приближаясь.

Ужас исказил черты ужасного создания, и неожиданно мелодичным и жалобным человеческим голосом оно заблажило:

— Вущау восед! Леэгзер, вущау восед!

Мать честная! Это что же такое делается?

Сапрыкина, припустив наутек, завизжала:

— Хватайте его! Это ваххабит!

Тут уж Жора потерял всякий страх и всякое разумение:

— Ага! Бабай Кунанбаев! Нелегальная миграция! Очень хорошо! А ну руки в гору! Руки в гору, я сказал!

Чудище подняло огромные лапы:

— Ыбакво, аттадергулинь!

— Молчать, пока зубы торчат! Документики приготовили!

— Регистрация небберень, документы, негер гын теффань.

— Тэкс! Неберен, говоришь? А наркотрафик — берен? А? А международный терроризм — берен?!

— Аттымемтуелинь, ыбакачху!

— Ебачху?! Ну все! Я те шас покажу ебачху! Лимиты терпения исчерпаны!

— Ыбакво, ассэнаббэтулинь! Мыным метфо негер альдеррэгхум!

— Без суда и следствия! По законам военного времени!

Сапрыкина издали посоветовала:

— Ты его обыщи, Жорик! Вдруг у него пояс шахида!

— Попрошу без комментариев! — огрызнулся вконец охреневший Жорик, — здесь вопросы задаю я!.. Почему посторонние на съемочной площадке?!

— Да уж полно тебе фасонить-то! Глянь, как человека-то напугал! Больно ты что-то развоевался! — вмешался наконец в эту трагикомедию единственный здравомыслящий и взрослый, хотя и маленький и робкий, человек.

Несчастный незнакомец, услышав в голосе Егоровны сострадание и милосердие, протянул к ней в отчаянной мольбе свои большие и грязные ладошки:

— Войзеро! Арогит, йикырта!

Сразу оговоримся — мы не знаем в точности, как попал этот нелегальный иммигрант в наше повествование и из каких краев нашей бывшей бескрайней родины и какими бурными ветрами перемен его занесло в русскую нечерноземную деревню. Вроде бы он вместе с другими постсоветскими скитальцами строил загородный замок какому-то вознесенскому богатею. Грянул кризис, хозяин

стройку приостановил, с бригадой, правда, рассчитался вполне по-божески, бригадир же велел подобрать на зиму сторожа, чтобы ильинские, охочие до чужого добра жители не растащили по кирпичику недостроенную пламенеющую го-тику. Сторожем выбрали самого безответного и молодого, к тому же принадлежавшего к иному роду-племени, чем большинство строителей-инородцев. Работодатель вскоре, видимо, вконец разорился или попался с поличным в ходе кампании по борьбе с коррупцией, и беззащитный сторож остался без всяких средств к существованию, один-одинешенек на чужбине, с перспективой медленного умирания от голода-холода. Вот он и пошел наугад домой, опасливо пробираясь темными осенними ночами, чтобы не попасться милиции или местным драчунам, а днем таился, забиваясь в какую-нибудь халабуду и отсыпаясь. Но чуткость Лады прервала это скорбное странствие, и вот теперь дрожащий от холода и страха чужеземец взывал на не понятном никому языке к жалости и уже умилил и растрогал старенькую хозяйку своего временного пристанища, но смирить неукротимого Жору бабы Шурины увещевания, конечно, не могли, уж очень он разошелся.

— Фамилия?!

— Тэкле Хаварьят.

— Чиво?!

— Тэкле Хаварьят!

— Да ты чо, чурбан-байрам, издеваешься, что ли?! Ах ты чурек-чебурек!

Вот так и пошло — Чебурек и Чебурек. Ну, в глаза-то его так называла только ксенофобка Сапрыкина, сам Жора каждый раз норовил сочинить какое-нибудь новое заковыристое обращение, от Хоттабыча и Али-Бабы (не из сказки, а из «Джентльменов удачи») до газетно-телевизионных Ахмадшаха Масуда, Бюль-Бюль оглы и Раджа Капура. Егоровна, ясное дело, звала Чебурека сынком, ну а Лада, как вы догадываетесь, не звала никак, но сразу полюбила, правда, какой-то совсем непочтительной и даже немного покровительственной любовью. Она своим бабьи-детским чутьем сразу прочухала, что существует Чебурек на птичьих правах, то есть даже до ее собачьей жизни и до ее статуса в деревенской иерархии ему далеко, и относилась к нему скорее как к щенку, чем как к полноценному представителю высших существ. К тому же ей казалось новым и очень забавным, что кто-то ее побаивается, так что она даже иногда из озорства при-творно рычала на робкого Чебурека.

Вскоре и Маргарита Сергевна признала, что от непрошеного гостя не только нет никакого вреда и опасности, а наоборот, большая польза и помощь, азиат оказался мастером на все руки, работающим и услужливым, его и просить ни о чем было не надо, сам выискивал, что бы такое поработать, чтобы оправдать хлеб-соль и крышу над неприкаянной головой.

Только вот по-русски он говорить так и не научился. И совсем не по тупости, как некоторые могут заподозрить, а потому что учителем его стал неистощимый на глупости и безобразия Жорик, в логовище которого молодой азиат обрел приют. Можете себе представить, какими именно самоцветами живого великорусского языка обогатился в первый же день наш простодушный гурон. Кончилось это тем, что, встретив однажды утром Маргариту Сергевну, Чебурек, смущенно и приветливо улыбаясь и прижимая правую руку к груди, поклонился и почти без акцента произнес, как он был уверен, изысканно вежливое старинное русское приветствие:

Здравствуй Рита! Добрый день!  
Дай потрогать за п...ень!

С этого дня Чебурек зарекся говорить по-русски и ограничил свои коммуникативные возможности выразительной жестикующей и мимикой, ну, иногда междометиями. Но, кажется, все понимал, уподобляясь в этом смысле своей подруге Ладе, с которой единственной он иногда говорил на своем родном языке.

Кстати, ничего обидного в прозвище Чебурек я лично не усматриваю. Меня самого школьные друзья до сих пор так кличут. Вкуснейшее, между прочим, кушанье! Один из самых упоительных и непреодолимых соблазнов для чревоугодников и чревобесцев!

Вот если бы кому-нибудь присвоили кличку Доширак, или там Суши, или какая-нибудь Фуагра, или даже Голубец — тут уж человек был бы вправе почтеть себя оскорбленным и потребовать сатисфакции. А в чебуреках-то что худого?

Меру только знать надо, а то вот мы с Юлием Гуголевым, встретившись однажды у станции метро «Бауманская», чтобы идти в гости к Семе Файбисовичу, чьи застолья славились обилием и вкусом, не выдержали чарующих чебуречных ароматов и решили, что ничего страшного не будет, если мы позволим себе по одной штучке. Ну и в итоге сожрали по пять! Так что, к недоумению и обиде хозяина, ничего уже не ели за праздничным столом. Да и водка в набитые утробы не лезла, то есть лезла, но с трудом и без всякого удовольствия.

И еще, конечно, следует остерегаться подделок! Я вообще теперь ем только мамины чебуреки, после того как даже Джейн, собака ненабалованная и, можно сказать, всеядная, отказалась есть купленную мной в коньковском ларьке прогорклую гадость. То есть из деликатности и чтобы хозяина не обидеть, тесто она пожевала, но от фарша брезгливо и решительно воротила морду.

А однажды, после очередного неудачного свидания со своей раскрепасной дамой, я, решив если не компенсировать, то хоть немного приглушить дефицит любовных упоений иными плотскими радостями, купил немировской перцовки, коей я в те годы злоупотреблял, и обратился к толстой и засаленной ларечнице с просьбой отпустить мне три чебурека. И услышал в ответ безумный и леденящий душу вопрос: «Вам с чем — с картошкой или с рыбой?».

Это ли не одичание?!

Это ли не знамение последних времен, я вас спрашиваю?!

И каких еще требуется вам доказательств, что мир катится в бездну?!

## **12. ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!**

*Ты непородист был, нескладен и невзрачен,  
И постоянно зол, и постоянно мрачен;  
Не гладила тебя почти ничья рука, —  
И только иногда приятель-забияка  
Мне скажет, над тобой глумясь свысока:  
«Какая у тебя противная собака!»  
Когда ж тебя недуг сломил и одолел,  
Все в голос крикнули: «Насилу околел!»  
Мой бедный, бедный Чур! Тобою надругались,  
Тобою брезгали, а в дверь войти боялись,  
Не постучавшись: за дверью ждал их ты!  
Бог с ними, с пришлыми!.. Свои тебя любили,  
Не требуя с тебя статей и красоты,  
Ласкали, холили — и, верно, не забыли.*

А я... Но ты — со мной, я знаю — ты со мной,  
 Мой неотходный пес, ворчун неугомонный,  
 Простороживший мне дни жизни молодой —  
 От утренней зари до полночи бессонной!  
 Один ты был, один свидетелем тогда  
 Моей немой тоски и пытки горделивой,  
 Моих ревнивых грез, моей слезы ревнивой  
 И одинокого, упорного труда...  
 Свернувшись клубком, смирихонько, бывало,  
 Ты ляжешь, чуть дыша, у самых ног моих,  
 И мне глядишь в глаза, и чуешь каждый стих...  
 Когда же от сердца порою отлегало  
 И с места я вставал, довольный чем-нибудь,  
 И ты вставал за мной — и прыгал мне на грудь,  
 И припадал к земле, мотая головою,  
 И пестрой лапой заигрывал со мною...  
 Прошли уже давно былые времена,  
 Давно уж нет тебя, но странно: ни одна  
 Собака у меня с тех пор не уживалась,  
 Как будто тень твоя с угрозой им являлась...

Теперь ты стал еще любовнее ко мне:  
 Повсюду и везде охранником незримым  
 Следишь ты за своим хозяином любимым;  
 Я слышу днем тебя, я слышу и во сне,  
 Как ты у ног моих лежишь и дремлешь чутко...  
 Пережила ль тебя животная побудка  
 И силой жизненной осталась на земле,  
 Иль бедный разум мой блуждает в тайной мгле —  
 Не спрашиваю я: на то ответ — у Бога...

Но, Чур, от моего не отходи порога  
 И береги покой моей родной семьи!  
 Ты твердо знаешь — кто чужие и свои:  
 Остерегай же нас от недруга лихого,  
 От друга ложного и ябедника злого,  
 От переносчика усердного вестей,  
 От вора тайного и незваных гостей;  
 Ворчи на них, рычи и лай на них, не труся,  
 А я на голос твой в глухой ночи проснуся.  
 Смотри же, узнавай их поверху чутьем,  
 А впустят — сторожи всей сметкой и умом  
 И будь, как был всегда, доверия достоин...  
 Дай лапу мне... Вот так... Теперь я успокоен:  
 Есть сторож у меня!.. Пускай нас осмеют,  
 Как прежде, многие: немногие поймут.

Лев Александрович Мей

Боюсь, что даже и «немногие» не поймут и не одобряют такого непомерного эпиграфа. Ну простите, ради Бога! Ну уж очень мне кажется трогательным и

забавным это, глуповатое даже для Мея, но в некотором смысле необыкновенно мудрое и глубокое стихотворение. Так что хотелось поделиться.

И еще вот какие праздные мечтания побудили меня к размещению этого послания мертвому псу на страницах моей книжки — а вдруг какой-нибудь читатель очаруется и решит узнать, кто такой этот Мей. Собак ведь у нас многие искренне любят, а вот поэтов второй половины позапрошлого века почти никто не знает. И вот наберет пытливый юноша в Яндекс «Лев Мей» и прочтет еще какие-нибудь стихи, например, «Сплю, но сердце мое чуткое не спит...» или «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль». А там, глядишь, наткнулся бы, пойдя по ссылкам, и на Аполлона Майкова и прочитал бы: «Дух века ваш кумир: а век ваш — краткий миг», и на Полонского с его потрясающим «Колокольчиком», и на Случевского:

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..  
 Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..  
 А Ярославна все-таки тоскует  
 В урочный час на каменной стене...

В общем, обнаружил бы этот любитель собак благодаря Чуру всех безвременно исчезающих в нагло вспучившейся и вышедшей из берегов Лете русских стихотворцев — от Апухтина Алексея Николаевича до Яниш Каролины Карловны. Вот и будет этому невежественному, но любознательному читателю польза от моей книги. А мне — огромное творческое удовлетворение, потому что я-то, в сущности, именно этого и добиваюсь. Ну не только этого, конечно, но этого в первую очередь. Правда-правда.

Жаль только, про собак этот гипотетический читатель поэтических сайтов ничего у сих стремительно забываемых авторов не найдет. Вот разве что натолкнется у Владимира Соловьева, который был, кстати, озорь почище Жорика, на такое описание пророка будущего:

А когда порой в селение  
 Он задумчиво входил,  
 Всех собак в недоумение  
 Образ дивный приводил!

Или в эпитафии себе самому, выдающемуся, между прочим, религиозному философу:

Он душу потерял,  
 Не говоря о теле:  
 Ее диавол взял,  
 Его ж собаки съели.

Если и существуют в природе такие взбесившиеся и осатаневшие псы, которые способны пожрать останки автора «Оправдания добра» и «Смысла любви», то Лада была, конечно, не из их числа. Она и укусь-то никого не могла, а в еде была не то чтобы прихотлива, но довольно брезглива. Чем сильно усложнила и без того не самую легкую жизнь Александры Егоровны, но это уже потом, на первых порах выручали харчевниковские поражающие воображение бабы Шуры припасы.

Капитан действительно оставил Егоровне почти полный тринадцатикилограммовый пакет сухого корма (мешок этот с портретом задорного золотистого

ретривера потом долго еще пригождался в хозяйстве) и несколько банок каких-то собачьих консервов.

С этими консервами вышел конфуз. Когда Егоровна открывала первую банку, аромат тушеной говядины оказался таким аппетитным и странным, что старушка не выдержала, отколупнула ложечкой маленький кусочек, съела, подумала про себя: «А ничего!» и тут только заметила, что на нее во все глаза смотрит прибежавшая на знакомый звук и запах Ладка, и, застигнутая врасплох, стала смущенно оправдываться: «Да я только попробовала! Один кусочек!».

Помню, в незабвенные годы ускорения и гласности кинорежиссер всея Руси скорбел с экрана телевизора о бедах и злосчастьях русского народа и привел в качестве примера душераздирающую картину — мужики на его глазах закусывали водяру собачьими консервами. Я тут же проникся сочувствием к этим бедолагам — ну действительно, что же это такое?! Но Ленка Борисова тут же разрушила мое намечающееся единодушие с вальяжным властителем дум: «Да они ж дорогие страшно! Дороже всякой тушенки!». Интересно, а сейчас дороже?

Ну и, конечно, ни о какой цыганской конуре не могло быть теперь и речи. Поначалу Александра Егоровна еще пыталась соблюдать деревенские приличия и не пускать Ладу в жилые помещения, собачья подстилка из траченного молью зимнего пальто и алюминиевые плошки были разложены в холодных сенях, прошмыгивания в избу строго пресекались весь первый день, но когда настало время тушить свет и отходить ко сну, скулящая и царапающая дверь нахалка добилась-таки своего. Во-первых, чересчур свежи были воспоминания о той кошмарной ночи, когда собачка неистовствовала, что твой Роланд, во-вторых, Ладу и вправду было жалко — как она там одна в темноте и холоде чужого жилища, такая маленькая, беленькая и глупая.

Вообще-то не такая уж и маленькая и не очень беленькая. Белыми у Лады навсегда остались только грудка, передние лапы, загривок и кончик хвоста. Все остальное было окрашено в бежевые тона различной интенсивности — от совсем светлого до почти рыжего. Роста же она была среднего, ну, может, чуть ниже, сантиметров пятьдесят в холке.

А уши большие, почти как у того французского лиса, которого цитировал Жора, но на концах трогательно загнутые вперед и распрямляемые на манер овчарочьих только в моменты особого возбуждения и настороженности. Вообще статью Лада (особенно в профиль) была очень похожа на немецкую овчарку.

Тут мне вспоминается одна моя квартирная хозяйка, добрейшая Валентина Ивановна, которая после пропажи своего любимца Гоши (безобразно толстого сиамского кота, сбежавшего, кажется, от непреодолимого отвращения ко мне) подобрала на бульваре Карбышева какую-то жалкую облезлую собачонку. Своей телефонной подруге она ее описывала так: «Ну вот знаешь колли?.. Ну колли, шотландская овчарка?.. Ну вот она — вылитая колли... Да, только очень маленькая... и черненькая... Нет, еще меньше».

Вот и Лада была вылитая немка, но сильно уменьшенная, портативная и улучшенного дизайна.

В частности, глаза ее казались еще больше и выразительнее, потому что были обведены, можно сказать, подведены, как тушью, тонким темно-коричневым контуром. И так же были украшены губы, ну в смысле пасть. Ну и хвост, конечно, не овчарочий, а лихим дворняжьим кренделем.

Шерстка же Ладина была на ощупь удивительно приятной, «лосной», как говорила Александра Егоровна. А уж до чего нежненьким и тепленьким было Ладино розовое подбрюшье — это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать.

В общем, чудо как хороша была новая гогушинская жиличка, и надо было быть такой стервой, как Зойка Харчевникова, или таким законченным себялюб-

цем и эгоцентриком, как Барсик, чтобы при взгляде на нее не умилиться и не почувствовать глубокой симпатии.

Со всем вышесказанным Александра Егоровна полностью согласна, но просит, чтобы я еще и про запах написал, мол, и пахнет ее собачка изумительно и чудесно — то ли медом, то ли черемухой. Ну что тут можно сказать? Видимо, любовь не только слепа, но и начисто лишена обоняния, потому что, на мой нюх (притупленный, впрочем, многолетним курением), пахнет Лада обыкновенной псиной, ну, может быть, чуть тоньше и слаще.

Была ли Лада умна? Да вроде не очень, во всяком случае, ничего особо умного никогда не делала. Возможно, она, как Наташа Ростова, просто не достаивала нас с вами быть умной. И черт ли нам в ее уме, когда она столь обворожительна?

Нрав же и темперамент Лады являли редкое и счастливое сочетание неутомимой сангвинической жизнерадостности и баловства с мудрым спокойствием флегматика и ленивца, игра и беготня на улице так быстро и резко сменялись сладким сном у теплой печки, что трудно было поверить, что эта разоспавшаяся и ленившаяся обратить внимание даже на провокации Барсика собака буквально три минуты назад еще мучила покорного Чебурека, заставляя его вновь и вновь бросать апортируемую и облизываемую ею палку.

Вот и нам бы так, правда? Только играть бескорыстно, скитаться здесь и там, дивясь красотам, обливаясь слезами над вымыслом, совершая приготовленные просвещением чудные открытия, и дремать блаженно под сенью каких-нибудь струй!

Ох, мы-то бы и рады в этот младенческий рай, да первородный грех не пускает, надо в муках рожать, и в поте лица своего вкалывать, и омрачать небо скрипучим трудом, да еще и, как сказал бы Жора, мериться х..ми.

Разница между этими двумя фазами Ладиного бытия была столь велика, что иногда даже пугала Александру Егоровну: «Миланка, да ты не заболела ли?». Но миланка только томно потягивалась, лизала глядящую ее руку и опять проваливалась в дремоту — до приема пищи или прогулки. И иногда довольно громко храпела, веселя смешливую хозяйку и выводя из себя ненавистника-кота.

С Барсиком отношения не складывались. Лада постоянно лезла играть, он страшно шипел и царапался, при этом нахально подворовывал собачью еду, вызывая справедливое негодование и гневный лай.

Большую же часть времени одноглазый разбойник проводил на недоступном для Лады шифоньере или, чтобы унижить собаку и подчеркнуть свои привилегии, валялся на кровати, а своими прямыми профессиональными обязанностями стал демонстративно манкировать. Мыши в этой связи расхрабрились и обнаглели, и самая предприимчивая и отважная из этих любимиц Ходасевича однажды прямо среди белого дня выбежала на середину комнаты. Этого Барсик, естественно, вытерпеть уже не смог и прямо с шифоньера одним Багириным прыжком настиг зарвавшуюся норушку. Ну и стал с ней играть по жестокому кошачьему обыкновению. Тут уж не вытерпела пробужденная шумом Лада, ей показалось, что настал подходящий момент забыть прошлое и соединиться в общем веселье. Мышь была упущена и, славя своего покровителя Аполлона, дала деру, Барсик, расвирепев, бросился на Ладу, Лада, обидевшись, — на Барсика, тот — на кровать, Лада — за ним, тот — на кухонный стол, Лада — на табурет и за ним — в общем, когда появилась встревоженная грохотом хозяйка, она застала Ладу стоящей на столе да еще и вылизывающей перевернутую сахарницу.

В этот раз удары веника были совсем не шуточными, Егоровна действительно осерчала. Но потом, минут через пять, глядя на униженную и скорбную собачку, лежащую покорно на своем месте, но умоляющую глазами о прощении и милости, хозяйка устыдилась и даже, чего делать, по-моему, не стоило, дала Ладе долизать остаток сахара-песка.

И конечно, иногда, глядя в Ладины карие глаза, испытывала Егоровна то чудное, жутковатое чувство, знакомое, наверно, каждому сколько-нибудь чуткому владельцу собаки, то, что некогда ощутил и описал Алеша Арсеньев, правда, по поводу другого домашнего животного, нам уже совершенно неведомого: «Страшна была ее роковая бессловесность, это веками ничем не могущее быть расторгнутым молчание, немота существа, столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего, и еще страшней — сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание...».

Интересно, что даже классик марксизма-ленинизма Фридрих Энгельс, судя по всему, переживал нечто подобное и даже давал этому строго материалистическое объяснение: «Всякий, кому много приходилось иметь дела с такими животными, едва ли может отказаться от убеждения, что имеется немало случаев, когда они свою неспособность говорить ощущают теперь как недостаток. К сожалению, их голосовые органы настолько специализированы в определенном направлении, что этому их горю уже никак нельзя помочь». (Цитируется по книге «О чем лают собаки». М.: «Патриот», 1991. В этом же издании, кстати, на стр. 74 изображена собачка, очень похожая на Ладу.)

### **13. НЕОСУЩЕСТВИМАЯ КОЗА**

*Была коза и в девушках осталась...*

Константин Константинович Случевский

Будущему историку литературы (если таковые не исчезнут окончательно в ближайшее время) будет, я полагаю, небезынтересно узнать, что в черновом списке действующих лиц нашего романа, кроме «бабушки, песика, продавщицы, Тэкле, девочки и ее уродов-родителей, кота Мурзика и Гришки-хулигана», значилась под десятым номером «коза Маруся (Маня?)».

Стоит ли говорить о том, какие манящие возможности (как в сюжетостроении, так и в живописании) сулила автору эта порожденная буйной творческой фантазией, но так и не воплощенная Мария?

Принадлежала моя немолодая, но все еще необыкновенно красивая и изящная козочка, конечно же, Маргарите Сергевне и приносила этой крепкой хозяйственнице до (стольких-то) литров молока в день. Глаза ее были прекрасны и таинственны, как у воительниц Лукоморья на обложке, шерсть же настолько белоснежна, что Лада рядом с ней, как и на настоящем снегу, выглядела откровенно рыжей.

Целую главу можно было бы посвятить скандалу, который учинила бабе Шуре, нет, наверно, еще Харчевниковым, Тюремщица из-за того, что общительная Лада, домогаясь знакомства с Марусей, перепугала козу веселым лаем и прыжками и та якобы от этого стресса снизила надои.

И как Лада, наконец, доигралась и была больно и неожиданно сбита с ног потерявшей терпение бодучей дерезой.

И как они потом подружились, стали просто не разлей вода, и как они играли и баловались, и о чем говорили, и коза, конечно, тоже бы спела какую-нибудь многозначительную и поучительную песню.

И как Маруся погибла, став первой жертвой клыкастых inferнальных волков, настоящих исчадий зимнего ада, погибла бы, бедняжка, чтобы обозначить нешуточность опасности, нависшей над притихшими в ужас Колдунами.

И как Сапрыкина голосила над оставшимися рожками-ножками и поклялась отомстить волкам-убийцам, и что из этого вышло.

Ну и многое другое\*.

Почему же автор в итоге отказался от этих увлекательных эпизодов, безжалостно обкрадывая и без того нищенский сюжет?

Вот вы наверняка не поверите, а подвигла меня на это самая обыкновенная человеческая честность! Ну, если хотите, боязнь быть пойманным за руку каким-нибудь въедливым сельскохозяйственным читателем. Ведь про коз и козоводство я ну ничегошеньки не знаю. Видел, конечно, много раз и любовался, и покойный Томик их пытался гонять по Шилькову, и маленькую Сашку одна из них боднула в попку, вызвав неистовую и смешную ярость, да и порасспросить у Ленки можно было бы, она-то вроде в детстве с козлятами водила знакомство, но все равно чересчур уж велика опасность оказаться в роли тех городских описателей деревни, над которыми потешался Бунин:

Иду и колосья пшеница разбираю...

Сложно, конечно, представить среди моих потенциальных читателей настоящего агрария и животновода, но чем черт не шутит, так что прости-прощай, мелкий рогатый скот. Не судьба нам с тобой, Маня, свидеться.

Да и вообще...

Вот я говорю — честность, а ведь будь я действительно, на все сто процентов, честен, то признался бы, хотя бы себе самому, что ведь и пенсионерок, и задиристых продавщиц, и даже глупых хулиганов, собутыльников и сослуживцев моей жалкой юности я совсем не знаю, души их для меня — непроницаемые потемки, признался бы честно и оставил бы трудоемкие и нерентабельные попытки запечатлеть их и сделать живыми и правдоподобными.

Но не свойственна подобная аскетическая честность натурам, так сказать, артистическим, к которым я с прискорбием вынужден себя причислить. Этим натурам, будь они неладны, свойственна как раз некоторая сугубая нечестность и лживость, прирожденное лукавство, заставляющее изыскивать всякие хитроумные художественно-выразительные средства, чтобы скрыть свое беспомощное незнание, свою растерянность и неспособность объять всю эту необъятную, пугающую сложность, чтобы во что бы то ни стало впарить и себе, и читателю-зрителю-слушателю в качестве единственно истинной и универсальной ту доморощенную, рукодельную модель мироздания, которая если что и отражает, то всего-навсего их собственные надежды, страхи, чаяния, предрассудки, любви-ненависти, психозы-неврозы и комплексы-шмомплексы. И это ведь касается не только моей скромной прозаической пробы пера, но — уж поверьте — и самых великих и могучих творений человеческого гения!

Другое дело, что никаких других моделей Божьего мира нам не видать, и без них этот мир предстал бы нашим испуганным глазам «бесформенной кучей неизвестно чего», по выражению цитируемого по памяти философа Лосева.

Так что мой совет тебе, юный читатель, — доверяй, но проверяй! В смысле — сопоставляй.

И ведь даже и с собачкой моей все не так уж просто! Поскольку внутренний мир Каштанки, если перефразировать известное изречение М.Л. Гаспарова, так же

\* Тут я хотел бы, кстати, обратить внимание читателей на то, что название моей хроники никак не связано с неведомым мне сочинением Гертруды Стайн «Как была у тетки телка. История любви». Я о существовании этого текста, по-моему, еще не переведенного на русский язык, узнал совсем недавно из единственной книги этой знаменитой писательницы, которую я, надо сказать, с большим изумлением и без всякого удовольствия прочел, — «Автобиография Алисы Б. Токлас». Источник моего не очень благозвучного названия находится гораздо ближе к русской классической литературе.

недоступен и непостижим, как и психология и творческая лаборатория А.С. Пушкина!

И уж псов-то я вроде бы многих знал, со многими из них дружески общался и был близок — и с коротконогим Индусом, который умел танцевать под бабушкино пенье, и с бестолковым ирландским сеттером Бемби, гонявшим домашнюю птицу по улице Советской и получившим по заслугам от билибинского петуха, и с лохматой огромной Найдой, которую я в поселке Тикси-3 тщетно пытался удержать от нападения на московского важного генерала, приехавшего проверять боеготовность папиной части, и с Вероничкиным рыжим пекинесом Бимом, и с ее же микроскопическим, но наглым Максиком, и с теперешним потешным корги Тэрри, и с подобранной Анечкой трагической дворнягой Марфой, и с не очень, честно говоря, похожей на собаку, но все-таки очаровательной Сашинной и Фединой йоркширкой Груней, я уж не говорю про покойного моего Тома и про Джейн, явившуюся вдохновительницей моего романа и прототипом главной героини!

Казалось бы, имею право со спокойным достоинством заявить: «Я знаю собак, и собаки знают меня!».

Но могу ли я с чистой совестью утверждать, что проник в таинственные глубины собачьей психологии?

Нет, не могу и не буду. Не проник. А кто, интересно, проник?

Убедительных собачьих художественных образов в мировой литературе до обидного мало, можно пересчитать по пальцам.

Потому что ведь не только мадам Бовари оказывается, по утверждению автора, самым Флобером, но и та самая Каштанка является, в некотором смысле, никакой не собакой, а Антоном Павловичем Чеховым. Вон Сологуб попытался представить себя псом, и что вышло? Смехота. Стихи-то, положим, в своем роде замечательные, но никакого особенного проникновения в собачью душу я в них, извините, не нахожу.

А «Собачье сердце»? Чудеснейшая книга, кто спорит, но ведь клеветническая же! Во-первых, слепо повторяет и эксплуатирует лживый миф о якобы врожденной ненависти собак к кошкам. Злокозненное вранье! Свидетельствую — прекрасно уживаются, а иногда даже дружат. Покойный Том с покойной Катей постоянно играли, носились друг за другом, сокрушая мебель и угрожая жизни и здоровью (в том числе и психическому) окружающих людей. Но это ладно. А вот то, что подлый Полиграф Полиграфыч является вроде как обладателем собачьего сердца, — это уж прямо возмутительно. Да бейся у него в груди настоящее собачье сердце, он бы жизнь положил за своего хозяина, да он бы того Швондера порвал бы, по выражению Жорика, как Тузик грелку! И учился бы всему с охотой и радостью, еще бы всем надоел своими приставаниями и демонстрацией успехов!

Я уж не говорю про «Сны Чанга». Это уж вообще... Нет, всякое, конечно, бывает, вон когда мама работала в противочумном отряде, у них для каких-то научных целей был баран, которого праздные солдатики (подозреваю, что инициатором этой проделки был опять-таки Жора) приучили курить. Но собака-алкоголик?! Не верю.

Вот в кого легко поверить, так это в верного Руслана. Вот это и вправду настоящий пес, не очень, правда, симпатичный.

Кстати об Эмме Бовари. Не знаю, согласился ли бы Флобер с моей интерпретацией этого эпизода, но для меня ее собака Джали, сбежавшая по дороге из Тоста в Ионвиль-л'Аббеи, из-за чего Эмма устроила скандал своему несчастному пентюху, является символом, вернее, ее исчезновение кажется мне символом надвигающегося кошмара, а то, что романтическая дамочка, воспользовавшаяся ее пропажей как поводом помучить мужа, мгновенно о ней позабыла и

тут же пустилась флиртовать со своим жалким Леоном, есть, по-моему, прямое указание на то, какая же пустая дрянь была эта буржуазка.

А помните, как другая неверная жена, Анна Аркадьевна, едет на вокзал? «Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других?»

И как она видит компанию в коляске четверней, «которая, очевидно, ехала веселиться за город», и мысленно обращается к ней: «И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете».

Этой каренинской фразой, по-моему, Толстой ясно показывает читателю, что тот «пронзительный свет, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений», на самом деле был гибельным мороком и лживым наваждением. Потому что как раз собака-то очень даже может помочь, если и не уйти от себя, то уж прийти в себя поможет точно, а это, конечно, гораздо важнее. Сужу по личному опыту — именно собака и помогает в таких случаях лучше всего.

Вот представьте, что вместо загадочного и зловещего «красного мешочка» на руках у толстовской героини в те страшные мгновения был бы какой-нибудь прелестный шпиц «не более наперстка» или там йоркширская собачка с бантиками, как у Груни. Вот куда б она ее дела? Ну не бросила бы она ее на незнакомой станции, да еще рядом с трупом хозяйки! Ведь она, в сущности, была славной и доброй женщиной. Так что пришлось бы ей, помечтав о желанной гибели и попредставляв, как она легко могла бы избавиться от всего, что так больно ее мучило, проводить тоскующим взглядом удаляющийся навсегда товарный поезд и все-таки вернуться со своей собачкой домой, а там, глядишь, кризис бы миновал, и что-нибудь бы они с Вронским придумали, чтобы никому не умирать.

Так что страдающий от несчастной любви лирический герой Бунина, вздохнувший в конце стихотворения: «Хорошо бы собаку купить», обозначил этим, по-моему, не безнадежное отчаяние, а единственную в этом случае разумную и конструктивную программу выхода из кризиса.

Александр же Блок, опьяненный музыкой революции до совершенного беспамятства и безумия, доказал правоту народной присказки «мастерство не пропешь» в частности тем, что старый и обреченный на ликвидацию мир олицетворяет у него не только озябший буржуй, но и бездомная дворняга, правда, он потом называет ее волком, очевидно, для того, чтобы читатель, не дай бог, не почувствовал жалость к этому псу и омерзение к двенадцати ублюдкам, собирающимся пощекотать его штыком.

И буйнопомешанным птицам молодого Горького противостоять, на мой взгляд и вкус, должны не жирные пингвины и змеи, а веселые и здравомыслящие собаки — какие-нибудь эрдельтерьеры, например.

И кто его знает, может быть, второй по степени популярности гамлетовский вопрос вовсе не является риторическим, а подразумевает ответ, как-то связанный с тем, что Гекуба в конце концов была превращена богами в собаку. Хотя тут я, наверное, хватаю лишку и уподобляюсь тем современным исследователям, которых А. Долинин окрестил «интертекстуальными криптоманами».

А если уж говорить с последней прямоотой и не боясь (чего уж теперь бояться) вызвать глумливые насмешки, то надо признаться, что я вообще давно уже подозреваю, что собака — единственное из живых существ, которое после грехопадения и изгнания наших пращуров из рая, когда все мирозданье изменилось таким катастрофическим образом, было оставлено Вседержителем практически без изменений, дабы человек, глядя на нее, припоминал тот блаженный, разрушенный по его неразумию и гордыни мир, где все звери и птицы не-

бесные (кроме одного гада) были такими же, как моя Джейн, и где он сам был достоин такой любви и верности.

Понятное дело, что за все эти ужасные века псы, несомненно, тоже поиспортились, понабрались у хозяев злобы и дурасти, так что некоторые напоминают уже совсем не об Эдеме, а, наоборот, о различных кругах Дантова ада. Но мы-то ведь создаем образ положительной героини, а положительные собачки (их все-таки пока большинство) — создания практически безгрешные.

Какой-нибудь начетчик не преминет возразить: «А как же в таком случае понимать следующее место Канона Ангелу-хранителю: «О злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя или приступити ко мне, аки ко псу смердящему?»».

Да так вот и возможен, вон как Леша Докучаев воззрел и подобрал на помойке щенка, вряд ли тоже благоуханного, но ничего, отмыл, откормил — отличная собака выросла, правда, он жалуется, что очень избалованная и непослушная.

Другое дело, что *наше* злое произволение и *наш* смрад никаким псам бессловесным не снились, так тут уж иная тема.

А закончим мы эту главку смиренномудрым изречением отца-пустынника аввы Ксафия: «Собака ценна более меня, ибо она имеет привязанность к своему хозяину и не будет судима».

Так что старинная дразнилка «Писал писачка, а имя ему собачка» мне лично несколько не кажется обидной, и если кто-нибудь таким образом прорецензирует мое сочинение, я почту это за незаслуженную честь.

#### **14. КАК В СКАЗКЕ**

*О первенец зимы, блестящей и угрюмой!*

*Снег первый, наших нив о девственная ткань!*

Петр Андреевич Вяземский

По вышеуказанным причинам, то есть по невозможности влезть в чужую шкуру, тем более в собачью, я не могу достоверно вообразить, что ощутила и подумала Лада, впервые в жизни увидав первый снег. Могу только отметить, что она не замерла в изумлении на крыльце при виде преображенного до полной неузнаваемости мира, почти утратившего за ночь все привычные запахи, звуки и краски — кроме белил цинковых и сажи черной. Ничего подобного — выбежала еще быстрее обычного и тут же, за калиткой, присела и запятнала девственную белизну ярко-желтой стружкой. А потом как понеслась, как пошла нарезывать круги по приречному лугу, оглашая тишину ошалелым лаем и оставляя на мокром и неглубоком снегу чудесные четкие пятилепестковые следы.

Если кто и замер на крыльце в созерцании, так это баба Шура. Да и то поразила ее не столько метаморфоза родного ландшафта, сколько изменения, произошедшие с ее хвостатой подружкой, — Лада, скачущая по младенческому снегу, сменила масть, из нежно-палевой она стала откровенно рыжей, прям Лиса Патрикеевна.

И не только Лада поменяла окраску. Березы, например, тоже оказались на фоне настоящего снега совсем не белоснежными, какими представлялись среди майской зелени или сентябрьского злата, теперь их самих можно было уподобить благородному металлу — старинному серебру с чернью.

Да и хвойные деревья опровергали расхожее утверждение, что они зимой и летом одним цветом. Да не одним, конечно, и даже не двумя. Вот пред-

ставьте себе, например, одну и ту же сосну или, лучше, елку в знойном июле и, скажем, в феврале. Представили? Ну вот. Об этом я и говорю. Я тоже представил, и очень хорошо и ясно, прямо как живая перед глазами, но — увы — описать эти краски никак не могу по недостатку то ли прозаического опыта, то ли изобразительного таланта.

Сапрыкина как натура трезвая и практическая на все эти красочные подробности особого внимания не обратила, пришла к резонному выводу, что лавка сегодня уж точно не приедет по такой дороге, и приступила к будничным хозяйственным хлопотам (Козу доила? — Да отвяжись ты уже с этой козой, наконец!).

А развеселившийся не хуже собаки Жора с Чебуреком и мешающейся Ладой строил огромную снежную бабу. Снег налипал пласт за пластом на уже и без того огромный шар, обнажая удивительно зеленую, как будто весеннюю, траву. Вскоре меж ваятелями разгорелась, однако, жаркая и принципиальная дискуссия, закончившаяся выходом негодующего азиата из творческого коллектива. Жора, отстоявший свое реалистическое видение снежной бабы, налепил ей невероятных размеров сиськи и даже обозначил рябиной непропорционально маленькие, но яркие соски. Более того, он не поленился утыкать маленькими черненькими березовыми веточками лобковый треугольник. Такими же веточками на животе изваяния было начертано название — «Рита».

Но оскорбить женскую стыдливость и поругать целомудрие показалось порочному Жорику мало, он решил еще и оклеветать невинность и предать священные заветы мужского дружества и стал у подножия своей снеговой Венеры выкладывать надпись: «Слепил Чибурек!». Но неожиданный пинок подошедшей сзади Тюремщицы был так меток и яростен, что Жора не удержался на корточках, врезался беспутной головой в живот своего соблазнительного творения и был погребен под обломками этой монументальной порнографии. А когда выбрался, получил еще.

Если б срамной идол был бы повержен чистой рукой бабы Шуры, а не безжалостной ногой Сапрыкиной, эту сцену можно было бы трактовать как аллерию, как падение кумира Афродиты Пандемос и триумф Любви Небесной, что, в общем-то, не шло бы вразрез с авторскими намерениями.

Этот веселый первый снег, конечно же, на следующий день растаял, да и второй пролежал недолго, но скоро зима действительно пришла.

Причем в этом году она оказалась такой ядерной, пушистой и румяной, что убежденность поэта в том, что мороз пахнет яблоком, не казалась уже такой загадочной и прихотливой, а традиционное сравнение снежного покрова с саваном выявило свою грубость и неточность — где ж это виданы саваны с люрексом? Да еще — если хорошенько приглядеться — таким цыгански разноцветным?

Мороз-воевода, дослужившийся в двадцатом веке до генерала, проинспектировав вверенную ему территорию, остался доволен — лесные тропы были занесены хорошо, ни трещин, ни щелей, ни голой земли замечено не было, лед на Медведке и обоих прудах скован добросовестно, узор на дубах красив, вершины сосен пушисты.

И комната была озарена янтарным блеском низкого, но яркого солнца, и неугомонная, как Александр Сергеевич, Лада будила холодным носом немного разленившуюся зимой Александру Егоровну.

А Жорик, грея красные, задубевшие руки над своей закопченной бочкой, посмеивался, как Кутузов или Денис Давыдов, над чужеземцем: «Ну, бля, колотун! Эт тебе не Чуркестан! Что, Маугли, змерз? Не любо? А нам, русичам, хоть бы хрен! Бобслей — спорт мужественных!».

Все это было чистой воды националистической демагогией, потому что Чебурек как раз не очень-то мерз, поскольку стараниями сердобольной Егоровны

был упакован в овчинный тулуп Ивана Тимофеевича, в его же треух и валенки, а вот Жора дрожал, как цуцик, в своем потрепанном демисезонном, как он сам говорил, «полупердончике». Александра Егоровна и Жору бы пожалела и приодела, но, во-первых, вещи ее статных мужчин были ему уж очень велики, а во-вторых, он еще в первую свою зиму в Колдунах с особым цинизмом пропил почти что новенький гогошинский ватник.

Но все это нисколько не уменьшало Жориковой кипучей жизнерадостности и патриотического подъема: «Славный морозец! А в лесу — просто ох..ть можно! Прямо, б...ь, как в сказке. Лепота!».

Тут я вынужден с Жориком согласиться — действительно, как в сказке, только он, скорее всего, имел в виду «Морозко», а мне этот слепительный январь напоминал больше «Волшебную зиму в Мумми-доле» и, отчасти, «Снежную королеву».

### **15. ДОЛГИМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ**

*Наша ветхая лачужка  
И печальна и темна.  
Что же ты, моя старушка,  
Приумолкла у окна?*

Александр Сергеевич Пушкин

Там, снаружи, за роскошными цветами Снежной Королевы на оконных стеклах, за заиндевельми бревнами старых гогошинских стен, недвижно стоял темно-синий, почти что фиолетовый холод, и зимние сумраки-мраки стыли в вечно-вечном безмолвии, когда в нашу ветхую лачужку вошла никому не видимая тень, в смысле печальный загробный дух. Вошел и стал посреди своей когдатойшей земной обители.

Но трое, сидящие у уютно потрескивающего телевизора, ничего не заметили, ни малюсенькая старушка с книжкой в руках, ни черный мурчащий кот на ее коленях, ни светленькая собачонка, свернувшаяся у ее ног, не повернули головы и не уставили недоумевающий взгляд на призрачного пришельца. Тихий голос продолжал неторопливое чтение, спокойно дремали зверьки, опровергая широко бытующее мнение об их необыкновенной мистической чуткости. Пожелтевшая от долгого и трудного времени хрупкая страница перевернулась, и Егоровна стала читать мое любимое место из Евангелия от Луки: «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что был мал ростом; и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку...».

Потустороннее видение слушало, кажется, не очень внимательно, но глядело во все глаза — скорбно и ненасытимо, не подавая, впрочем, никакого явного знака своего незримого присутствия. Огонь в печи негромко гудел, напевая вполголоса стародавнюю песнь, почти забытый нами священный гимн, славословие временному уюту, отвоеванному у безжалостной Белой Колдуньи, и героической борьбе нашей жалкой и теплой плоти с надвигающимся окоченением. Старушка спокойно читала себе вслух, как делала это каждый вечер после смерти

Ивана Тимофеевича, Барсик еле слышно гудел, Лада смотрела какие-то увлекательные, если судить по движениям ног и неожиданным взлаиваниям, сны.

Призрак придвинулся ближе, почти вплотную к своей не обращающей на него внимания, погруженной в чтение старенькой и маленькой женушке. Но совсем невдомек было Александре Егоровне, что смотрит на нее и слушает ее не только умиляющийся автор и не только прильнувшая к окошкам ледовитая тьма, но и покойный супруг. И только когда глава была дочитана и книга отложена, на какое-то мгновение стало Александре Егоровне странно, сжалось и екнуло сердце, и показалось ей, послышалось, что незабвенный голос пропел шепотом в самое ухо: «Верь, другой такой на свете нет наверняка, чтоб...».

Но не могла себе позволить Александра Егоровна «такие нежности при нашей бедности», не стала она вспоминать ни обильные страстные речи, ни взгляды, так жадно, так робко любимые; справедливо опасаясь закручиниться и впасть в тяжкий грех уныния и неблагодарности, не только не стала прислушиваться к грустному голосу, но строго и насмешливо приструнила себя, обозвала старой душой и, сбросив недовольно мяукнувшего Барсика, принялась расстилать постель...

Странно и даже как-то неловко говорить, но если память о муже до сих пор была для Александры Егоровны свежей и душераздирающей, то о сыне она уже давно вспоминала без всякой боли, светло и умиленно, очень любила видеть про него сны, все стены завесила его фотографиями — от голого трехмесячного бутуза до бравого дембеля. Почему это было так, я не понимаю, тут, наверное, какая-то недоступная мужскому уму тайна материнского и женского сердца...

Первые четыре абзаца этой главы являются вольным пересказом и переложением на русские нравы стихотворения Уолтера де ла Мара «Winter Dusk» и вызывают у автора большие сомнения — во-первых: не является ли это, при всей снисходительности современной культуры к обильным цитациям, стилизациям и обыгрываниям классических текстов, плагиатом, наглость которого только усугубляется тем, что этот чудесный поэт у нас, к сожалению, недостаточно известен, а во-вторых: получается, что загробная судьба Ивана Тимофеевича сложилась не очень-то благополучно, ведь, насколько я знаю, привидениями, тревожащими покой живых, становятся души неприкаянные и не заслужившие прощения.

Кроме того, в деламаровскую рамку никак не вписывается Чебурек, который в эту зиму почти каждый вечер проводил у Александры Егоровны, привязавшись к моей старушке почти столь же беззаветно, как Лада, и не желая быть ни участником, ни свидетелем ежевечерних Жориковых возлияний.

Похабник Жора из ревности и зависти стал даже намекать на предосудительный характер связи Егоровны и молодого азиатца, изводя старушку насмешливым исполнением старинной песни:

Из тысячи фигурок  
Понравился мне турок,  
Глаза его блестели, как алмаз!

Или закатывал глаза и, копируя артистку Никищихину, вздыхал: «Высокие отношения!».

Злоязыкая Сапрыкина так далеко не заходила, но обвиняла инородца в том, что он стал нахлебником и объедал бедную пенсионерку, но это неправда, Чебурек приходил совсем не для того, просто у Егоровны было тепло, чисто и тихо, а если он иногда и разделял скудную старушечью трапезу, то с лихвой отрабаты-

вал. Поэтому, кстати, и Егоровна редко теперь читала вслух — ей казалось это неделикатным в присутствии не понимающего по-русски гостя. Чебурек же, даже когда не находил себе полезного занятия по домашнему хозяйству, без дела не сидел и всегда что-нибудь мастерил — вырезал он, например, из липовых чурбачков замечательные шахматные фигурки, но никто из его теперешних односельчан играть в них не умел и не хотел, так что в итоге эти человечки, лошадки и слоники, раскрашенные цветными карандашами, были поделены между Тюремщицей и бабой Шурой и стояли в качестве художественных объектов в сапрыкинском серванте и на гогушинском телевизоре.

Кстати о телевизоре. Скептический читатель уже наверняка скривил усмешкой ехидные уста, не веря в описанное мною смиренное благолепие бабы Шуриных вечеров. Это под телевизор-то?! Под Кобзона-Баскова-Лолиту-Тимоти-Рому Зверя-Мишу Леонтьева-Петра Толстого?! Под немолчную пальбу криминальных и силовых структур?! Под ржание Петросяна, Мартиросяна и Галустяна?! Я вас умоляю!

Нечего меня умолять! Ваше замечание делает, конечно, честь вашей проницательности и житейской мудрости, но дело-то все в том, что телевизор у Александры Егоровны давным-давно онемел и молчал в тряпочку, да и показывал своим прошловечным кинескопом не очень-то четко.

А благодарить за это мы и Гогушина должны Жорика, чья очередная безобразная и наглая выходка в кои-то веки послужила добру. Как-то с мучительно похмелья изобретательный хулиган и тунец взял, вернее с трудом уговорил недоверчивую, но мягкосердечную хозяйку, всего за поллитра не только починить давно уже барахливший ящик, но и переделать посредством нанотехнологий черно-белый старенький «Рубин» в цветной и стереофонический. Хлопнув два раза по «сто пэздесят» в качестве аванса, разворошив внутренность телевизора, получив отрезвляющий удар током, Жора отшвырнул отвертку и стал кричать на Егоровну, обвиняя ее в неправильной эксплуатации и нарушении техники безопасности: «Медицина бессильна! Раньше надо было думать! Искра в баллон ушла!».

«Да он же без звука? Что ж ты наделал, бессовестный?» — попробовала возмутиться баба Шура, но в ответ услышала от заторопившегося восвояси безобразника только: «Оставь меня, старушка. Я в печали!».

Некоторое время Александра Егоровна ходила по вечерам смотреть настоящий цветной японский телевизор к Сапрыкиной. Но ничего, кроме расстройства и даже некоторой обиды, из этого не вышло. Тюремщица как полоумная щелкала пультом с канала на канал, а если где и задерживалась, то на программах и фильмах, которые целомудренная в обоих смыслах этого слова Александра Егоровна вынести никак не могла. Сапрыкина же раздражалась страстными и яростными ругательствами по поводу мировой закулисы, которая развращает наш народ, но, кажется, получала тайное удовольствие от этого Содома и Гоморры. А когда Александра Егоровна однажды, пользуясь отсутствием хлопотавшей по хозяйству Тюремщицы, почти уже досматривала индийский фильм «Маленький свидетель», возвратившаяся после дойки козы — ой простите, нет ведь никакой козы! — в общем, вернувшаяся Маргарита безжалостно переключила телевизор на ток-шоу в самый волнующий и трогательный момент. Не стала Егоровна слушать и смотреть идиотов, всерьез обсуждающих под руководством души Малахова, можно ли взрослым дядькам спать с несовершеннолетними школьницами, встала и ушла, и больше уж не приходила, хотя Сапрыкина зазывала. А что случилось с индийским музыкальным сироткой, так она никогда доподлинно и не узнала, хотя сама для себя придумала финал, практически не отличающийся от замысла болливудского сценариста.

Так что телевизор, неизменно по привычке включаемый, никак не мог нарушить благообразие гогошинских вечеров, и дом Александры Егоровны был одним из немногих мест, может быть, даже последним, куда не проникала вся эта свистопляска, замышленная адским Баламутом еще полвека назад, чтобы навсегда покончить с ненавистными и мучительными для бесов «тишиной и мелодией», и где стояла та самая, живая и вожденная тишина.

Что же касается мелодии, то переставший дичиться Чебурек, возясь со своими щепочками и проволочками, часто под сурдинку бубнил неведомые национальные напевы — монотонные, странные, но, в общем-то, приятные на слух.

Да и сама Александра Егоровна, как мне кажется, иногда напевала про себя, в глубине души:

Блажен взрастивший на сотках собственных  
Сельхозпродукты — белокочанную  
Капусту, и репчатый лук, и свеклу,  
Картошку, моркошку и топинамбур,

Блажен по осени заготовивший  
Огурцов соленых, капустки квашеной,  
Блажен перетерший с песком смородину  
И наваривший из шпанки варенье!

Блажен, кому достаточно пенсии  
На бакалею и гастрономию,  
На спички, соль, рафинад и масло  
Постное. Даже на карамельки!

Кому слоняться путями грешными  
Нет ни малейшей необходимости,  
Кому ни к чему обивать пороги  
В местном совете нечестивых!

Блажен имущий на зиму валенки  
И крышу над головой беззащитною,  
Кота от мышей, от воров собаку,  
Хотя какой уж из Ладки сторож!

А коль случится какая надобность,  
Бутыл самогонки хранится в подполе.  
Только б о том не проведал Жора,  
А то греха с ним не оберешься!

А если всплакнется над фотографией  
Старенькой — что же, ведь было сказано:  
Блаженны плачущие — они утешатся  
И снова встретятся. И не расстанутся.

Вот так, по-моему, пело под гудение немного телевизора ветхое старушкино сердечко. А собачка, дремавшая у ее ног, да и надменный Барсик на коленях слушали и, в общих чертах, соглашались. Ну а Николай Чудотворец, он же Санта Клаус, глядящий из своего красного угла, был согласен с Егоровной

на все сто процентов. Ну и Чебурек, конечно, тоже, если бы ему кто-нибудь перевел.

И казалось даже, что и черно-белая Эвелина Бледанс в роли трагической бандерши элитного публичного дома, который пытаются прибрать к рукам коррумпированные менты и мафиози, и даже «последние герои» Никита Джигурда и Виктор Ерофеев, склочничающие с Ксенией Собчак из-за бытовых условий на тропическом острове, ей-богу, казалось, что и они тоже согласны — благо вслух выразить свое мнение они не могли.

## 16. ВОЛКИ

*Когда в селах пустеет,  
Смолкнут песни селян,  
И седой забелеет  
Над болотом туман,*

*Из лесов, тихомолком,  
По полям волк за волком  
Отправляются все на добычу.*

Алексей Константинович Толстой

Тревожное предчувствие, которое, по мысли автора, должно было бы возникнуть у чувствительного читателя из-за неоднократного поминания андерсеновской владычицы мрака и мраза, скоро сбылось. Вестником неминуемой беды явился пропадавший где-то почти неделю Жора.

— Ну чо, старухи, кердык вам. И тебе тоже, Черный Абдулла! — радостно объявил он жителям затерянной в снеговых просторах деревеньки. — Все! Алес! — Ты б закусывал бы изредка, — лениво процедила Тюремщица.

А Александра Егоровна из деликатности решила все-таки спросить:

— Случилось что, Жора?

— Случилось! Сидите здесь, ни х..а не знаете, а п...ец-то нечаянно подкрался!

— А ну кончай матюкаться! Проспись иди, рожа пьяная!

— Я-то, Ритулька, просплюсь, а вот вас-то как раз волки-то и схавают!

— Какие волки?

— Ага, какие волки. Нормальные такие волки, вульгарис. В Ильине на почтальоншу напали, курей поворовали, козу задрали, все сидят по домам, боятся.

— Ну ври!

— Вот те и ври! И на Коммуне вчера собаку прямо на цепи обглодали. И что характерно — пес здоровенный, настоящий волкодав! Ну а ты-то, подружка, — он наклонился к Ладе и ласково потрепал ее за ухо, — ты-то им на один зубок!

— Типун тебе на язык твой поганый! — обмерла Егоровна.

— Да слушай ты это брехло!

— Брехло, Ритунчик, твой папа! Когда вас волки трескать будут, узнаете! Ну мне тут некогда с вами... Предупрежден — значит, вооружен! Так что хмуриться не надо, Лада! — Жора еще раз потрепал Ладу. — Выживает сильнейший. Естественный отбор, е..ныть! Пошли, Гамсахурдия, не фиг тебе с ними бабиться. Надо оружие готовить!

И, к ужасу Егоровны, зарычал: «Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников...», и т.д. и т.п.

К сожалению, на этот раз Жора не брехал и даже не очень преувеличивал — по округе действительно рыскали жестокие и неуловимые хищники. Я лично не уверен, что это были настоящие волки, вполне вероятно, что ужас на окрестные

деревни навела стая бродячих собак — одичавших и вконец потерявших человеческий облик и подобие, а такие оборотни бывают, как известно, похуже любых волков.

Для этих извергов собачьего рода вообще нет ничего святого — они способны и в самом Переделкине нападать на классиков советской поэзии, что уж говорить о простых сельских тружениках.

Характерно, что даже кандидат биологических наук А.Д. Поярков, неутомимый исследователь и страстный защитник городских бродячих собак, об озверевших на лесных и полевых просторах псах пишет как-то глухо: «Если в городе я бы оставил собак в покое, то в сельских местностях бродячая собака играет другую роль. Роль, пока явно не исследованную детально, но все же, по имеющимся данным, скорее отрицательную... — хотя далее он, конечно, оговаривается: — Я не призываю уничтожать бродячих собак даже в сельской местности, — сначала как следует понять их роль в сообществе и хорошо подумать, прежде чем начать действовать».

Такая мудрая экологическая позиция для Жоры была абсолютно неприемлема. Действовать он начал немедленно. Неожиданно вспомнив своего деда-сибиряка, который «на медведя с рогатиной ходил», он заставил Чебурека сделать ему эту самую рогатину, которую представлял себе, конечно, в виде большой, как ухват, рогатки с заостренными концами. Поклонившись старухам и недоумевающему Чебуреку в пояс, сказавши: «Ну, не поминайте лихом, православные!» — и совершенно перепугав Егоровну обращением «святая старица» и предложением «благословить на подвиг ратный», Жора, держа наперевес свое сибирское оружие, отправился в лес. Пробыл он там не очень долго, минут тридцать пять-сорок, но, судя по всему, мгновения эти свистели, как пули у виска, и были исполнены высокого драматизма и былинной героики.

— Двух ранил, одного убил! Самого матерого!

— Ну и где ж твой матерый, чучело?

— Да они ж его тут же и сожрали. Голодные, суки!

После этого тартареновского подвига Жора на охоту больше не ходил, решив посвятить себя охране гражданского населения и патрулированию, рогатину заставлял таскать за собой Чебурека, сам же мотался из конца в конец деревни с гитарой и исполнял мужественные песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума, и каких-то еще малоизвестных, но очень противных авторов «Радио шансон».

Но шутки шутками, а когда розовым морозным утром Егоровна обнаружила рядом с вчерашними следами Лады отпечатки огромных и, как ей показалось, многочисленных звериных лап, стало по-настоящему страшно.

С этого момента до кровавой развязки Лада выходила погулять только на несколько минут и всегда на непривычном коротком поводке, который тщетно пыталась перегрызть, и обиженно скулила, но напуганной хозяйке было не до собачьих капризов.

В общем, стало в Колдунах нехорошо.

А тут и погода переменилась, завыл ветер, сделалась метель.

И то ли чудилось перепуганным моим персонажам, то ли и вправду с завываниями вьюги сливался волчий, зловещий и торжествующий вой.

Чтобы в самых общих чертах передать смысл этого песнопения и послания, я позволю себе воспользоваться своим старым, но до сих пор не востребованным текстом.

В самом начале девяностых, лихости которых я по легкомыслию как-то не заметил, мечталось мне стать образцовым, идеальным отцом для моей ново-

рожденной дочери. Среди не осуществившихся педагогических затей значилось и создание домашнего кукольного театра, и написание для одного пьес в подражание отцу маленького Честертон. Первым делом я решил инсценировать в стихах свою любимую «Снежную королеву», придав ей значение универсального мифа, вернее, прояснив и подчеркнув это значение. К счастью, я довольно скоро осознал, что детские книги — увы — могу только читать с благодарностью и завистью, а написать что-нибудь, действительно детски ясное, красивое и мудрое не способен. Тем не менее хор полярных волков, запугивающих Герду в этой не написанной мною мистерии, будет здесь, как мне кажется, уместен:

Пусть сильнее взвоят вьюга,  
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!  
Не уйти тебе, подруга,  
От Врага!

Запуржила сила вражья  
Все пути!  
Ну, куда ж тебе, дурашечка,  
Уйти?

Не спасет тебя, свиношка,  
Тихий дом!  
Дунем-плюнем, на клочочки  
Разнесем!

Не ауйай, не надейся,  
Ни гу-гу,  
Ни просвета в зачарованном  
Снегу!

Перепутал лево, право,  
Верх и низ  
Волчий пастырь, бесноватый  
Дионис\*.

Эвое! — мы воем, воем,  
Бредим, врем,  
Кружим, кружим заколдованным  
Кольцом!

Нет, не взвидеть света белого  
Уже  
Твоей маленькой, удаленькой  
Душе!

\* Волки здесь выказывают плохое знание классической мифологии. Ликейским (волчьим) звался почему-то как раз Аполлон. Ну, может, древнегреческие волки как-то и связаны со светозарным Фебом, но наши все-таки воплощают скорее темное вакхическое начало. Мои уж точно.

Спета песенка дурацкая  
Твоя!  
Слушай, слушай же напев  
Небытия!

Бесконечный, безобразный  
Волчий вой!  
Легион за легионом,  
Тьма за тьмой!

Песню древнюю поет  
Ночной мороз  
Про родимый вольный хаос,  
Про хаос.

Исчезает в круговерти  
Божья твердь!  
Свищет ветер, воют черти,  
Пляшет Смерть!

Свищет ветер, воют бездны,  
Стонет ад,  
Духи злобы поднебесной  
Голосят!

Никого уже, девчонка,  
Не спасешь!  
Смерть и Время воцарились,  
Мрак и ложь!

Не упрямясь же, не рыпайся,  
Уймись,  
Королеве нашей  
В ножки поклонись!

Покоряйся, отдавайся же  
Врагу!  
Хорошо ли тебе, девица,  
В снегу?

Во сугробах-гробах, детонька,  
Нишкни,  
Белой гибели на верность  
Присягни!

Понятно, что ни моя малолетняя дочка, ни обитатели Колдунов не смогли бы угадать в этой песне всех предполагаемых автором метафизических и историсофских глубин и отсылок к классическим текстам, разве что намек на трех поросят, но общий смысл того, о чем пела вьюга и выли волки, был всем предельно ясен и четко сформулирован Жорой — кердык!

**17. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ВОИТЕЛЬНИЦЫ ЛУКОМОРЬЯ**

*Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Федор Иванович Тютчев

«Ну уж делай свои дела поскорей да пойдем домой», — убеждала собаку Александра Егоровна, еле различимая в темноте и метели не только нам с вами, но и самой Ладе, никак не желающей справлять нужду. Наконец, вынюхав нужное место, Лада покакала, обозначила задними ногами желание засыпать снегом оставленную кучку и потянула хозяйку домой — ей и самой было не по себе. Они уже были у самой калитки, когда услышали жуткий, совсем не похожий на собачий, лай и, обернувшись в ужасе, увидели сквозь буран приближающиеся стремительно, как в кошмарном сне, темные фигуры врагов. Не помня себя, Лада одним прыжком перемахнула через штaketник и была уже на крыльце, и, визжа, скреблась в дверь, когда Егоровну сбили с ног.

Ну, конечно, Лада бросилась на помощь своей хозяйке, куда б она делась, совершенная любовь ведь побеждает страх, но — что греха таить — не сразу.

Прежде чем очертя голову ринуться в стан погибающих за великое дело любви, Лада за несколько страшных секунд успела исполнить жалобную и воинственную песнь, которая состояла из короткого испуганного визга, перешедшего в истошный лай, и закончилась довольно жалкой имитацией свирепого рыка. В общем, воспроизвела практически все типы звуков, которые в своей знаменитой работе 1976 года классик биоакустики Г. Темброк выделяет в речи домашних собак — кроме сопения-храпа, ворчания и чихания. В переводе же на человеческий, русский язык это звучит намного дольше и, надеюсь, понятнее:

Вот и пробил час и на наших часах.  
Вот и Смерть у наших дверей.  
Пасть ощерил из мрака извечный враг,  
Он пришел за душой моей!  
Хвост поджав и трясясь за шкуру свою,  
Как же я воспою  
Упоенье в бою,  
Если горло сжимает страх?  
Пробил час на наших часах!

Пробил час, ну а я-то что сделать могу,  
Если даже ты не смогла?  
Как отдать свое теплое тельце врагу?!  
И за что же, за что подыхать на снегу?!  
Спрячусь где-нибудь, как-нибудь я убегу  
От клыков предвечного зла.  
Я тебе все равно уже не помогу,  
Враг огромен, а я мала.

И за что же, за что... Да понятно, за что!  
Бой за душу мою идет!  
И откуда-то сверху незнамо кто

Подает мне команду: «Вперед!».  
 И откуда-то снизу другой шипит:  
 «Брысь отсюда, сучка! Тикай!  
 И давай-ка душонку свою спасай!  
 Ни за что, ни за что ее не отдавай!».  
 В задних лапках душа пищит.  
     Я ее отдаю  
     За Хозяйку мою!  
 Я у бездны пою на краю.

Ты спасала и сохраняла меня,  
 Хлеб насущный давала мне,  
 Если веником ты и лупила меня,  
     То всегда по моей вине!  
 Ты судила не по проделкам моим,  
     А по ласковости своей!  
     Ты прощала грехи,  
     Оставляла долги  
     Бестолковых своих зверей!  
 И не знаю, как Барсик — да черт бы с ним! —  
     Я останусь рабой твоей!

Никогда еще не кусалась я,  
 Да и нынче вряд ли кусну.  
 Из натопленного житья-бытья  
     Я сейчас на холод скакну!  
 Жалким лаем сама себя напугав,  
 Ну, какой из меня, Госпожа, волкодав?!  
 Смерть поправ, я скакну сейчас!  
     Потому что мой пробил час!

Так веди меня в бой, моя Госпожа,  
     Хоть и нет упоения в нем!  
 Дай мне силы покрепче челюсти сжать  
     На загривке проклятом том!  
 Прокусить хоть разочек вражью шерсть,  
     Отстоять собачкину честь!  
 Так веди меня в бой, Хозяйка моя!  
     Укрепи дрожащую тварь!  
 Смерть, где жало твое? Вот душа моя!  
 Победить мы не в силах, но будет ничья,  
     И враги не пройдут — как встарь!

И вот обреченно, как раненый Айвенго на наглого тамплиера или Андрей Шенье на «убийцу с палачами», или оболганный и преданный генерал Корнилов, или полковник Штауффенберг, да Господи, как Осип Эмильевич на Блюмкина и Алексея Толстого, бросилась Ладка на выручку Егоровны!

И тут же, пронзенная клыками, завизжала предсмертным визгом, забилась под темной грудой копошащихся вражеских тел, во мраке торжествующей злорадной метели. Маленькая Егоровна, не вставая со снега, поползла на четвереньках в сторону этого откатившегося к дороге страшного клубка.

Но — чу! Близятся крики! Мчатся на выручку Чебурек с рогатиной и Жора почему-то с гитарой! Держись, держись, Лада! Еще чуть-чуть, и подмога придет, еще совсем чуть-чуть, и мы победим! Ну же, ну! Гляди, как трусливо бегут враги, как простывает след посланцев внешнего мрака!

И вот уже маленькое бездыханное тело поднято с оскверненного снега добрыми чебуречьими руками, и внесено в избу, и бережно положено на кровать, и истекает невыносимо яркой на светлой шерстке и белом пододеяльнике кровью, и над ним истекает слезами и тихим отчаянным криком ее хозяйка, и стоит в изголовье скорбный и безмолвный Чебурек, и даже прибежавшая Сапрыкина помалкивает, а Жора — не поверите — шмыгает носом и утирает бессмысленные свои буркалы.

Так закончился первый и последний бой верной Лады, отдавшей, как заповедано всем нам, душу свою за други своя.

### **18. РЕТАРДАЦИЯ**

*К какой он цели нас ведет?*

*О чем бренчит? чему нас учит?*

Александр Сергеевич Пушкин

— А и правда, Тимур Юрьич, к чему вы, собственно, клоните? Только ради бога, не обзывайтесь тупой чернью и не дразните, пожалуйста, тем, что на нас, якобы, белила густо и в усах капуста! Или что нам, профанам, «недоступно все это».

— Да Господь с Вами! У меня и в мыслях не было таких странных дерзостей и неучтивостей. По поводу же цели бренчания позвольте привести две чудесные байки, на мой взгляд, почти что притчи.

Однажды, очень много лет назад, я, отработывая оклад жалованья, присутствовал на научно-практической конференции по каким-то актуальным проблемам социологии культуры. Один из докладчиков был очень сановитый и очень толстый провинциал, который нес, видимо, страшную ахинею, за что на него сладострастно накинулась свора очкастых и бородатых столичных мэнеэсов. Один из этих ехидных молодых людей заявил, что вообще не понимает, какую цель преследует докладчик. На что затравленный докладчик, побагровев, с достоинством ответил: «Я не преследую никакие цели! Я заведу кафедру!».

И вот еще — в годы хрущевской оттепели после одного из вернисажей неофициальных или не совсем официальных живописцев состоялась, как водилось тогда, жаркая дискуссия. Один из прогрессивных комсомольских кураторов, озадаченный неким, едва ли не абстракционистским портретом фиолетового кота, раздраженно спросил: «Что же хотел сказать художник этой кошкой?», на что какая-то остроумная стилистка произнесла на весь захохотавший зал: «Мяу!».

Но я — увы — никакой кафедрой не заведу, важничать не привык и отвечать гавканьем на, как мне кажется, вполне резонный вопрос не намерен. Я ведь, в отличие от Левы Рубинштейна, не считаю, что «искусство ничему не учит и никуда не ведет». Да еще как учит, не меньше, чем семья и школа, только, к сожалению, все больше гадостям и пошlostям и ведет все чаще в такие места, куда ходить нам не велено и не нужно.

Поэтому я охотно и смиренно отвечаю: цель моя вполне традиционна и достохвальна — пробудить лирой добрые чувства, в частности, вызвать или хотя бы выразить жалость, ту самую Pity, которую Джон Шэйд в разговоре с приста-

вучим Кинботом назвал password'ом и почему-то, насколько я помню, противопоставил христианским добродетелям.

Вот эту нестерпимую жалость ко всяким обреченным старушкам и собачкам, к беззащитным лесам, небесам и загаженным тихоструйным водам, к ошалевшим от пьянства и бессмыслицы балбесам и к ветхим книжкам из малой и большой серии «Библиотеки поэта», которые по привычке все еще почитаются бессмертными, но дальнейшее существование коих тоже ничем, ничем не гарантировано! Да Господи, даже ко всем этим, до сих пор многочисленным, русским и русскоязычным тимурюрьичам, хотя уж это смехотворное племя, казалось бы, никакой жалости не заслужило своими бесстыжими кривляниями последние полтора века. Выразить к ним (к нам) ко всем жалость и подавить хоть на время панический ужас и бессильную, постыдную злобу.

Ну и, натурально, объявить благодарность! С занесением в сокровищницу русской культуры.

— «Всей мировой немоте назло»?

— Иронизируете? Да, именно — «Всей мировой немоте назло!»

— Гм-гм...

## 19. ВСЕ ЕЩЕ РЕТАРДАЦИЯ

*Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.*

Александр Сергеевич Пушкин

*Автор (все еще растроганный собственным лирическим порывом, но уже начиная раздражаться). Что «Гм-гм»?*

*Читатель. Да нет, трогательно... и действительно достопохвально... Я вот только предлагаю предпослать вашему сочинению эпиграф, вы же к ним питаете прямо-таки болезненную страсть —*

Товарищ! Певец наступлений и пушек,  
Ваятель красный человеческих статуй,  
Прости меня! — я жалею старушек.  
Но это — единственный мой недостаток.

*Автор. Ну уж единственный! У этого поэта были недостатки и посерьезнее. Например, изысканное сравнение травы с малахитом. А красные кавалеристы, держащие в зубах яблочко-песню и играющие эту же волшебную мелодию «смычками страданий на скрипках времен»? А ведь пронял даже Цветаеву этой революционно-конфетной романтикой...*

*Читатель (с вежливой, но обидной улыбкой). Да бог с ним, со Светловым. Я к тому, что конфетная сентиментальность тоже, уж извините, кажется несколько архаичной и приторной. Описывать все сплошь одних старух...*

*Автор (горячась все более). «И скучно, и не в моде»? И пишу я, соответственно, «в захудалом роде»? Не пойму — вы мне польстить пытаетесь таким уподоблением или же подчеркнуть мою литературную мизерность?*

*Читатель (снисходительно). Да нет же. Ни то, ни другое. Как бы вам это поделикатней объяснить. Ну вот как вы относитесь к такому утверждению — «Художник, как и ученый, в ходе эволюции искусства или науки все время раздвигает горизонт, углубляя открытия своего предшественника, проникая в суть явлений все более острым и блистательным взглядом».*

*Автор (теряя терпение). А можно все-таки без пошлостей?*

Ч и т а т е л ь (с хорошо скрытым злорадством). Ну если это и пошлость, то никак не моя, а вашего разлюбезного Набокова.

А в т о р (смутившись и мучительно покраснев). Ну Набокова... Из лекций, небось... Мало ли он там глупостей наговорил... Про Достоевского и вообще... Про Элиота даже... Хотя вообще-то что ж... В принципе, может быть, и верно... Вот только жаль, что все эти раздвижения горизонта и углубления открытий чаще всего понимаются и сводятся к тому, что если предшественник описал любовные страдания педофила, то последователь обязан описать приключения как минимум скотоложца или еще что-нибудь позабористей. И выходит никакое не проникновение в суть явлений и никакая не эволюция, а ровно наоборот — стремительная и непоправимая деградация и дегенерация... А вообще-то в этой фразе сквозит такая наивная и мелкобуржуазная вера в благодетельный прогресс и в неуклонное поступательное движение вперед и выше, что впору даже усомниться в том, что это Набоков... Да нет, нет, я вам верю... Но уж очень смешная выходит картинка — как на плакате в кабинете биологии, где слева направо представлено происхождение человека. Только тут в виде косматой и длинноручкой ископаемой обезьяны окажется «друг веков Омир», австралопитеками и питекантропами предстанут Дант, Тасс и Шекспир, угрюмыми неандертальцами Флобер и Толстой, а впереди всех, конечно же, в виде полноценного человека прямоходящего сам Владимир Владимирович в пенсне и с рампеткой. Подозреваю, что в худые минуты он и вправду мог так думать. И между прочим, когда читаешь (и пока читаешь) «Дар», или «Приглашение на казнь», или «Pale fige», ты и сам готов в это поверить — в смысле, что лучше уже и быть ничего не может и последующим поколениям писателей остается только, как сказал бы Жора, «курить в сторонке». Хотя сейчас мы, без всякого сомнения, именно этим и занимаемся... но вообще-то... (не знает, что сказать). Короче, все гораздо сложнее, и ни в какие схемы не укладывается... А что это вы такую нарочито скучающую физиономию скорчили?

Ч и т а т е л ь . Да ну что вы, Тимур Юрьич. Как можно? Просто, возвращаясь к вашему творению, хотелось бы адресовать вам античный (в переводе Фета) вопрос: «Кто же это станет читать?».

А в т о р (окончательно выходя из себя). Кому надо, тот и станет... Я, между прочим, никому не навязываюсь. А не нравится — вон читайте какой-нибудь свой нацбест, а еще лучше «Морпехов в Куршавеле».

Ч и т а т е л ь . ???

А в т о р . Такой роман — в самом, я думаю, незахудалом роде.

Ч и т а т е л ь . Сами придумали?

А в т о р . Да вот зуб даю! Ленка видела в аэропорту. Жалко, не купила.

Ч и т а т е л ь . Забавно... Но вот что, по-моему, еще забавнее — так это ваша многолетняя уверенность, что у меня (читателя) нет никакого другого выбора — или ваши высокоморальные и высокохудожественные тексты, или эти вот ублюдочные морпехи. Будто уж ничего иного в современной российской словесности и нет. Помните, Гриша Дашевский еще десять лет назад иронизировал над этой вашей трогательной убежденностью, что вы один-единственный стоите за Истину, Добро и Красоту, а все остальные литераторы поголовно состоят на службе у злобной и уродливой лжи и — как вы бы добавили — ее Отца.

А в т о р (озлобленно). Ну, все не все... Примеров тому, как говорил Горбачев, немало!.. Да речь же не о разделении на божьих агнцев и козлищ. Настоящих буйных среди литераторов не так уж и много, а агнцев вообще никогда не водило! Как справедливо отмечал Джон Шэйд, «Without Pride, Lust and Sloth poetry

might never have been born»\*. Речь только о принципиальных установках, между прочим, не столько религиозных и нравственных, сколько эстетических. Оставим вообще «в столь часто рушимом покое» христианство. Давайте лучше пользоваться киплинговской схемой. Есть the Gods of the Market-Place и the Gods of the Sorybook Headings\*\*. И я предпочитаю служить вторым, хотя бы потому, что служение божествам базара оборачивается таким позорным и жалким заискиванием перед всякой идиотской модой и такой несвободой, пошлостью и кривлянием... Не в смысле алкания денежной корысти, конечно, а рабствования перед разбалованной и обнаглевшей чернью, площадной новизны и броскости, прикольности и эпатажности во что бы то ни стало. Прописные же истины...

**Ч и т а т е л ь** (*тоже горячась*). Ну с прописными истинами у вас все в полном порядке. Буквально ничего кроме! «Кароши люблю, плохой — нет!»

**А в т о р** (*почти уже орет*). Да что ж плохого в любви к хорошему? Да разуйте же глаза! Пока ваши цветы зла были оранжерейными диковинами, что называется, на зажавшегося любителя, — так и хрен бы с ними. Но сейчас-то эти цветочки принесли такие ягодки, разрослись таким пышным и наглым цветом, что заглушили уже все другие растения, так долго и с таким трудом культивируемые! В любом сериале для домохозяйек и триллере для тинейджеров так лихо и с такой дикарской убежденностью отрицаются разом все десять заповедей, как и не снилось демоническим декадентам и революционным авангардистам!

**Ч и т а т е л ь**. Ну вам дай волю, вы б, наверно, цензуру бы ввели!

**А в т о р** (*теряя — увы — человеческий облик*). Да пошли вы в жопу с вашей цензурой!

**Ч и т а т е л ь**. Ну, вот это уже аргумент!

**А в т о р**. Ну, простите... Но не согласен я подражать всем этим дурачкам и единственную жизнь тратить на такую х..ню!

**Ч и т а т е л ь**. Да успокойтесь, никто вас не призывает... Но советую все-таки вот о чем подумать — те, кто способен умилиться вашими асадовскими старушками и собачками, как раз и будут с удовольствием читать про морпехов или про выходящих за олигархов домработниц, про тех же воительниц Лукоморья, без всяких этих постмодернистских выкрутасов. А те, кто в принципе мог бы поучаствовать в ваших цитатных оргиях и стилизаторских вакханалиях (честно говоря, немного утомительных и иногда — уж простите — грешащих против хорошего вкуса), те с неизбежностью отвратятся от подобного сюжета. Ну пора уж, ей-богу, оставить эти детские мечтания — ну не удастся уже никому совместить дедушку Крылова и, скажем, Себастьяна Найта. Равно как и привить ложноклассическую, давно уже безуханную розу к постсоветскому дичку.

**А в т о р**. При чем здесь... А вообще что это за хамский тон?! Я все-таки, с вашего позволения, не Чернышевский какой-нибудь, чтобы пикироваться с воображаемыми и не очень умными читателями!

**Ч и т а т е л ь**. Помилуйте, да это ж вы сами и придумали! И хамите, по-моему, именно вы!..

**А в т о р**. Как придумал, так и передумал! Все! Не смею задерживать! И впредь па-а-апрашу не умничать и не в свое дело нос не совать!!

Так Автор остается один-одинешенек, горько сетует на свою несдержанность и глупость, чуть не плачет от обиды и страха, но все-таки упрямо делает вид, что он «тверд, спокоен и угрюм».

\* «Без гордыни, похоти и праздности поэзия никогда не смогла бы родиться» (пер. с англ. С. Ильина).

\*\* *Площадные боги и азбучные боги* (пер. с англ. М. Гаспарова).

**20. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ**

*Испытанья время строго,  
Тот, кто пал, восстанет вновь:  
Много милости у Бога,  
Без границ его любовь!*

Алексей Степанович Хомяков

«Ой, миланочка ты моя, Ладушка моя, как же ты так, как же ты, девонька? Что ж теперь будет? Ну что ж ты молчишь-то, солнышко мое?»

Лада действительно оставалась безмолвной, только тяжело и хрипло дышала сквозь непривычно и страшно оскаленные зубы.

И никто не сказал по-дружески бабе Шуре, как капитан Смоллет сквайру Трелони, рыдающему над трупом старого Тома: «Не огорчайтесь так сильно, сэр. Он умер, исполняя свой долг. Нечего бояться за душу такого человека. Я не силен в богословии, но это дела не меняет». А в подлиннике еще лучше — «All's well with him; no fear for a hand that's been shot down in his duty to captain and owner. It mayn't be good divinity, but it's a fact».

Вот тут бы и конец моему повествованию, кабы не Жора.

— «Скорую» надо вызывать!

— Какую «скорую», дурья твоя башка?! — возмутилась Сапрыкина.

— Обыкновенную! Скорую медицинскую помощь. Ноль-три.

— Да ты совсем уж ополоумел!

— Так ведь и телефона у нас нет, — тихо молвила заплаканная баба Шура.

— В Коммуне есть! Бен-Ладен сбегает!

Чебурек энергично закивал кудлатой головой.

— Много он наговорит, твой Чебурек!.. Да телефон-то есть, только кто ж поедет ваших собак лечить, да в такую вон погоду, олухи вы Царя Небесного?

У Сапрыкиной действительно был новенький, ни разу еще не использованный мобильный телефон, подаренный в прошлый приезд сыном.

— Тащи мобилу, Марго!

— Делать мне больше нечего!

Егоровна умоляюще взглянула на суровую подругу:

— Рит, ну а вдруг да поедут? Или что-нибудь скажут, как лечить-то ее?

— Да не сходи ты с ума, Егоровна! Ну кто что тебе скажет! — злилась Сапрыкина, но за телефоном все-таки под охраной Чебурека сходила. Оказалось, естественно, что аппарат не заряжен, так что чертыхающейся Тюремщице пришлось еще раз тащиться за зарядкой.

— Ну потом на меня не пеняйте! Я предупреждала! Ничего путного из этого не выйдет! Нарветесь на неприятности!

— Не ссы в компот — там повар ноги моет! — успокоил ее самоуверенный Жорик. — Так, есть контакт!

— Але! «Скорая»? Примите телефонограмму! Срочно! Экстренный вызов! Нападение диких зверей! Каких-каких! Бешеных! Стая бешеных волков! Волков позорных! Потеряла много крови! Требуется хирургическое вмешательство! Колото-резанные раны! Да порвали на немецкий крест! Кого... Жительницу! Заслуженную колхозницу Российской Федерации! Архиважное дело! Записывайте — деревня Колдуны, дом восемь! Жду! Конец связи!.. Ну вот и все, а ты боялась! Ща придут!

— Ты чо наделал-то, ирод? Какая колхозница?!

— А что, рабочая, что ли? Или творческая интеллигенция? Главное, чтоб приехали, а там разберемся! Ты, Егоровна, только бабки им сразу... — но уве-

ренности и куража в голосе Жорика как-то поубавилось, он и сам, кажется, понял, что «маленько лишканул».

Ждать пришлось долго. Егоровна тихо плакала и причитала над недвижной Ладой. Жора пытался что-то сбачать на треснувшей гитаре, но был резко осажён Маргаритой Сергеевной. А Чебурек, продуваемый насквозь злобным бурном, торчал на дороге, выглядывая запаздывающую медицинскую помощь.

Неожиданно Лада, вынырнув из предсмертного забытья, попыталась встать и страшно завизжала, и заметалась, запутавшись, как Лаокоон, в неумелых повязках из разорванной простыни. Тут и Егоровна взвыла в полный голос, обняла отходящую в неведомый нам мир собаку, потом вскочила, ухватила потрепанный Молитвослов и — не вмени ей это в вину, Царица Небесная! — пав на колени пред Ладиным ложем, заголосила:

— «О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святой Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба твоего имя рек (она ведь считала что «имя рек» — это такое специальное религиозное название, она так же обозначала и Ивана Тимофеевича и Ванечку, когда молилась за них), болезнию одержимого; отпусти ему вся согрешения его».

Тут Маргарита Сергеевна, которая поначалу просто остолбенела и онемела от такого безобразного кощунства, с криком: «А ну прекрати сейчас же, сумасшедшая ты старуха!» — вырвала из слабых рук Егоровны Молитвослов, распавшийся от такого насилия на отдельные тетрадки и листки. Но Егоровна, даже на миг не прервавшись, продолжала по памяти творить свою, в общем-то незаконную, молитву:

— «Поддай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, всещедрому Богу и Создателю моему».

— Да побойся же ты Бога, греховодница! Что ж ты творишь, придурочная?

— Пресвятая Богородица, всеильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия имя рек! Все святые и ангелы Господни, молитесь Бога о больном рабе Его имя рек. Аминь!»

И тут сквозь завывания метели послышался приближающийся шум мотора, а потом радостные крики Чебурека: «Ыззих, ыззих! Тол бель!».

— Ну щас вам будет скорая помощь! — зловеще пообещала Сапрыкина. Хотя всем и без нее было боязно.

И вот дверь распаивается, и в горницу с клубами пара вваливаются — сначала возбужденный Чебурек, показывающий дорогу, а за ним бальзаковского возраста врач в каракулевой шубке и крутленький, как Сиропчик, молодой фельдшер. Щурясь и протирая запотевшие с мороза очки, врачаха спрашивает: «Ну показывайте, что у вас». Ей показывают. Очки надеты. Из тумана является Лада, как перровский волк на бабушкиной кровати. Воцаряется безмолвие. Ненадолго.

Если б ситуация более располагала к шуткам и веселью, а врачаха была более остроумна, она бы, наверно, спросила: «Пациент, а почему у вас такие большие уши?».

Но дело складывалось вовсе не шуточное.

— Что это?.. Что это такое?..

Что-что. А то сама не видишь, мымра четырехглазая, — не что иное, как раненая и нелепо перевязанная собачка, укрытая одеялом.

— Ты только не сердись, доченька! — робко начала Александра Егоровна.

— Доченька? Вы... Вы что?! Вы издеваетесь?! Да это... Да как же... Да вы понимаете, что это уголовное дело?! Люди не могут дожидаться, а вы... Кто вызывал «скорую»?!

— Доченька, миленькая, ты не сердись, ну не сердись! Ну что ж нам делать-то? Помирает ведь собачка...

— Собачка?! Собачка у вас помирает?! Я вам покажу собачку!! Это вы у меня запомните...

Тут Тюремщица, которая уже вполне насладились сознанием собственной правоты и перепугом непослушных односельчан, не выдержала:

— А чо это вы тут так разорались?! А?! Какое такое уголовное дело? Ты тут не очень! Видали мы таких! Вы, между прочим, с ветераном труда разговариваете! Если произошла ошибка...

— Ошибка?! Ах, ошибка, значит?! Хорошо! Хорошо же! Я это так не оставлю! Я...

Но тут, как Валаамова ослица, возопил давно уже кипящий и заламывающий руки Чебурек:

— Бэтам кэфу сет нэвот! Хаким сихону макэм аллебэт! Вуцау мемот йичал-лаль! Лемын йичоххаль? Айафрум? Арогиту войзеро Лада бича аллебачоу!!

Сапрыкина, хотя и сама немного перепугалась этого неожиданного и страстного словоизвержения, тут же подхватила:

— Вот именно! — И, чтобы добить онемевшую медицинскую даму, укоризненно и презрительно добавила: — Врачу — исцелился сам!

А тут и Жорик, который порядком-таки струхнул и даже протрезвел, и в этом измененном состоянии сознания не мог как следует участвовать в скандале, все-таки вякнул:

— Короче, Склифосовский!

— Так! Ну все... Это дурдом какой-то. Все, поехали. Но вам это с рук не сойдет! Так и знайте! Так и знайте!

— Перестань орать, — вдруг сказал фельдшер.

— Что?!

— Орать прекрати, говорю!

— Ты что, Юлик?

— Да ничего!

Стоит, наверное, сказать, что последующее поведение Юлика было обусловлено не только его добротой и деликатностью (хотя в первую очередь, конечно, ими), но и явным напряжением (очевидно, эротического характера), существующим между ним и врачом, а также его неосуществленной мальчишеской мечтой иметь собаку — у матушки, с которой он жил, была аллергия на песий мех. Как бы то ни было, Егоровна тут же определила слабое звено и, уже не обращая внимания на пыхтящую от негодования, раскрасневшуюся медичку, направила свои мольбы к этому полному еврейскому юноше:

— Сыночек, помоги, ради Бога! Сделай что-нибудь. Ее ведь, и правда, волки подрали.. Ну, пожалуйста! Ведь помрет...

Юлик пожал широкими округлыми плечами:

— Ну, давайте посмотрим.

— Ах так? — взвилась врачиха. — Прекрасно. Просто прекрасно! Ну, можешь оставаться. Мы уезжаем. Немедленно!

— Счастливого пути!

— Смотри, пожалеешь, Юличек, пожалеешь!

— Давай-давай!

— Ветеринар сопливый!

— Угу.

— Катись колбаской по Малой Спасской! Дебилка-лепилка, фригидка-айболитка! — напутствовал бедную эскулапку расхрабрившийся Жора. А вслед еще и пропел: — Не-е жени-итесь на-а медичках! О-они то-онкие-е, как спички!

Хлопнуть как следует дверью врачу не удалось — дверь Иван Тимофеевич обил для теплоизоляции войлоком.

## 21. ВЕЧЕРЯ

*Приди, разделим снедь убогу,  
Сердца вином воспламеним,  
И вместе — пенопеня бозу  
Часы досуга посвятим;*

*А вечер, скучный долгою,  
В веселых сократим мечтах;  
Над всей подлунною страну  
Мечты промчимся на крылах.*

Николай Иванович Гнедич

Колото-резанные раны оказались не такими уж страшными и глубокими. Возможно, в итоге Лада бы и сама их зализала. Но вот левое ухо наверняка осталось бы надорванным, если б не наложенные твердой рукой Юлика швы.

Фельдшеру, понятное дело, пришлось в Колдунах заночевать. Александра Егоровна, на радостях, совершенно потеряла голову, забыла о всякой экономической целесообразности и закатила пир на весь мир — задействовав стратегический неприкосновенный запас. Так что китайская тушенка, и «Завтрак туриста», и две бутылки настоящей водки (еще той, приобретенной по лихачевским талонам) не дождались пресловутого черного дня и были оприходованы в этот радостный вечер, а точнее сказать, ночь — потому что ужин, естественно, затянулся.

Поначалу-то никакого *soigee* Егоровна затевать не собиралась, просто хотела хорошенько накормить чудесного спасителя, ну и, конечно, Чебурека, помогавшего Юлику и державшего Ладу во время болезненных процедур, которые она, надо сказать, переносила на удивление покорно и стойко, только иногда приглушенно стонала, как комиссары в пыльных шлемах, пытаемые в белогвардейской контрразведке, в исполнении народных артистов СССР.

Но не прогнать же было любопытную Сапрыкину и алчного Жору, да последнего-то никому бы и не удалось прогнать, он еще до окончания перевязки уже вертелся вокруг Егоровны, приговаривая: «Ну, хозяйка, с тебя магарыч. Тут одним литром не отделаешься! Можно сказать, заново родилась твоя Ладка! Так что проставляйся, Егоровна, не жидись!».

— Да погоди ты, ради Христа, со своими литрами! А это что ж такое, сынок? — с тревогой обратилась баба Шура к Юлику, который в этот момент надевал на Ладу сделанный Чебуреком из толстого картона елизаветинский воротник, в котором мордочка собаки выглядела душераздирающе жалобно.

— Это чтобы она бинты не растрепала.

Наконец все было завершено, Лада вновь уложена (к бешенству Барсика) на кровать, куда она с этих пор по умолчанию получила право доступа, картошка с тушенкой и жареным луком, приготовленная к этому времени Сапрыкиной в большущей кастрюле, поставлена на стол, ее окружили тарелки с солеными, квашеными и мочеными закусками, и даже два блюда с пожертвованной Тюремщицей брауншвейгской колбаской, ну и стопочки для водки и чашки для запивки — давно уже гогушинское жилище не видало такого изобилия. Пока шли приготовления, Жора с Юликом курили и знакомились в сенях.

— Георгий, — представился Жорик, которому почему-то пришла охота важничать. — Глава, так сказать, местной администрации.

— Очень приятно. Юлий.

— Ну и как, Юра, обстоят дела?

Юлик, давно уже привыкший к подобным переименованиям, не стал поправлять Жору, который ему все меньше нравился, и уточнять, какие именно дела его заинтересовали.

— Нормально.

— Как финансирование?

— Что?

— Финансирование, говорю, как? Хватает?

— Более-менее.

— А у нас в сельском хозяйстве — полный абзац. По остаточному принципу. Прямо геноцид какой-то. Плюс незаконная миграция. Чебурека видал? Иногда буквально опускаются руки.

— Мда... Бывает... — Юлик затушил недокуренную сигарету.

— Ну ладно, Юрец. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? А то бабцы там уж заждались...

Жора лукаво подмигнул, а Юлик впервые пожалел, что поддался неразумной жалости и вот теперь должен черт-те с кем и черт-те где пить дешевую водку и есть нелюбимую вареную картошку.

Но, взглянув на сияющую Егоровну, юный фельдшер понял, что поступил правильно и что многое ему простится за эту, в общем-то дикую и глупую выходку.

Да и картошка оказалась на самом деле на удивление вкусной, Юлик потом и сам будет ее так готовить.

Да и первый тост, который Сапрыкина провозгласила в его честь, сказав, что на таких, как Юрий Феликсович, держится земля русская, и пожелав ему здоровья, успехов в работе и радости в личной жизни, ему был лестен и приятен.

Ну а после «перерывчика небольшого» выпили, конечно, за скорейшее выздоровление заглавной героини, и даже Жориково рифмование Юрца с молодцом, концом, огурцом и п...ецом уже не так сильно раздражало и казалось даже смешным.

И очень потешным был огромный Чебурек, которого Жора при пособничестве Сапрыкиной заставил-таки выпить до дна стограммовую стопку — иначе, мол, Лада не поправится. Чебурек мгновенно захмелел, против второй уже не очень возражал и даже попытался произнести тост: «Юлий — туру хаким ноу!».

Выпить третью Егоровна ему не дала, пристыдила спаивающих наивных инородцев весельчаков, и дальше Чебурек чокался компотом, но блаженно и глупо улыбался, а когда пошло неизбежное пенье, даже тихонечко подпевал.

Открыл вокальную часть вечеринки, конечно, Жора. Страшно рыча и брызжа слюной, он заорал наиболее, по его мнению, подходящее произведение Владимира Семеновича Высоцкого:

А у дельфина  
Сррррезано брррррохо винтом!  
Выстррррррела в спину  
Не ожидает никто!  
На батаррррее  
снарррррядов нет уже!  
Еще трррррднее  
На виррррраже-е-е-е!  
Но паррррус!  
Порррвали парррус...

Одновременно с парусом порвалась, не выдержав Жорикового самозабвения, еще одна струна, так что гитару пришлось (к облегчению бабы Шуры) отложить. Но мужественный Жорик попытался все-таки а капелла исполнить «Охоту на волков», топая ногами и стуча кулаками по столу, но был тут же остановлен возмущенными такой бестактностью слушателями.

Жорик покорился, но затаил в душе обиду и злобу, совсем как Маргарита Сергеевна на достопамятном конкурсе художественной самодеятельности. Поэтому, когда сама Тюремщица запела любимую песню из своего репертуара, Жора стал, как это было принято в пионерлагерях, шутить и громким шепотом вставлять попеременно «в штанах» и «без штанов» после каждой печальной лирической строки:

Погас закат за Иртышом.  
Село огнями светится.  
Ах, почему ты не пришел?  
Я так хотела встретиться!

Получалось глупо, но смешно, так что не только Егоровна, но и Юлик с трудом сдерживали неуместный хохот. Сапрыкина замолчала и посмотрела со значением в глаза Жоры.

— Все-все, осознал! Бля буду, Марго! Молчу как рыба об лед!

— Ну правда, Рит, ну, не обижайся, мы больше не будем. Ну спой! Ну все ведь слушают, ну что ты, — стала успокаивать гордую певицу Александра Егоровна.

— Спойте, пожалуйста! — присоединился и Юлик. — Очень красивая мелодия, я никогда не слышал. И голос у вас такой замечательный!

Перед такой изысканной лестью Сапрыкина устоять, естественно, не могла и запела снова. Жора на сей раз не мешал почти до самого конца, до повторения зачина, но тут не выдержал и пропел дурным голосом последнюю строку, заглушая солистку и заменив печальное «хотела встретиться» вакхическим «хотела трахнуть».

Убежать он, как было запланировано, не успел, потому что Сапрыкина была начеку и, молниеносно перегнувшись через стол, ловко и жестоко, как Барсик, ухватила охальника за вихры, а другой рукой нанесла короткий и звонкий удар. Успокоить Тюремщицу удалось не сразу, но наконец она смиловилась и, потрянув Жорика последний раз, отпустила свою жалкую жертву со словами: «Скажи спасибо Юрию Феликсовичу, гад!».

Жорик начал было кобениться, сказал, что после такого унижения человеческого достоинства остаться не может и что ноги его здесь больше не будет, но, заметив, что никто его особо не удерживает, почел за благо угомониться и больше благочиния не нарушал.

А что же Лада? Поначалу она спала крепко и сладко, как больной ребенок, во время скандала проснулась и даже немножко потявкала слабым голосом. Чебурек, робость и застенчивость которого заглушил алкоголь, пользуясь тем, что все заняты улаживанием конфликта, подсунул ей незаметно свою тарелку с остатками вкусной тушенки да еще и несколько кусочков колбасы туда положил. А когда Сапрыкина и Юлик дуэтом пели по заявкам Егоровны русскую народную песню «Помню, я еще молодухой была» на слова совсем уж позабытого поэта Евгения Гребенки и дошли до «К нам приехал на квартиру генерал... Весь простреленный, так жалобно стонал...», Лада повела себя, как Жорик, то есть стала комически подвывать, напоминая того израненного генерала, но на нее никто не обиделся и не рассердился, а, наоборот, все ужасно развеселились.

Так вот они и сидели, и пели, и смеялись за полночь в крохотном кубике бестолкового человеческого тепла и слабого света, посреди морозного мрака, ничем, в сущности, не огражденные от тьмы, кромешной и вечной. Ведь жизнь наша с вами ничем существенным не гарантирована, держится ведь действительно на честном слове, на том самом Пречестном Слове.

Я даже хотел к этой главе взять другой эпитаф: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мат. 18, 20. Но потом все-таки одумался. Это уж был бы перебор, может быть, даже и кощунственный.

Собрались-то они де-факто во имя ничем не примечательной, хотя и очень славной дворняжки.

## **22. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О МАЛЕНЬКОЙ ДОБРОТЕ И БОЛЬШИХ ПОЭТАХ**

*Входя ко мне, носи мечту,  
Иль дьявольскую красоту,  
Иль Бога, если сам ты Божий.  
А маленькую доброту,  
Как шляпу, оставляй в прихожей.*

*Здесь, на горошине земли,  
Будь или ангел или демон.  
А человек — иль не затем он,  
Чтобы забыть его могли?*

Владислав Фелицианович Ходасевич

Не секрет, что поэтические тексты способны иногда воздействовать не только на психическое, но и на физиологическое состояние реципиента.

Ушко девическое может разалеться, пресловутые мурашки бегают по юношеской спине, учащается пульс, прерывается дыхание от пиитического восторга, и неудержимо струятся старческие слезы, как недавно, когда я спяну пытался читать вслух давно знакомое, читаное-перечитаное:

*Отвяжись, я тебя умоляю!  
Вечер страшен, гул жизни затих.  
Я беспомощен. Я умираю  
От слепых наплываний твоих.*

Все эти явления широко известны и неоднократно описывались в художественной и научной литературе. Менее изучен (поскольку менее распространен), но не менее интересен другой феномен.

Иногда при чтении стихотворного текста щеки заливают волна такого жгучего и невыносимого стыда, какой редко чувствуешь, даже когда сам совершаешь что-то бесконечно гадкое, причем на виду у всех родных и знакомых. И происходит это совсем не тогда, когда мы читаем бездарные графоманские стихи, нет, это связано как раз с текстами, формально безукоризненными и написанными хорошими, а иногда и очень хорошими, может быть, великими (как в случае со стихотворением, вынесенным в эпитаф) авторами.

Девятистишие это я впервые прочел в те уже довольно далекие времена, когда немного запоздало, но решительно и бесповоротно вступил на путь, ведущий

от, условно говоря, Блока—Байрона к еще более условным Честертону—Чехову. «Солнце в шестнадцать свечей» казалось мне тогда (да и сейчас кажется) одной из путеводных звезд на этом кремнистом-тернистом пути, не говоря уже о «звезде в пролете арок». Так что лучшие стихи Ходасевича на папиросных машинописных листах я к тому времени уже давно знал и любил. Тем горше и обиднее было мне читать эти горделиво-язвительные, но не очень остроумные строки.

Я не знаю в точности, какого-такого бога было позволено пронести гостям Владислава Фелициановича, но, уж конечно, не того Бога истинна от Бога истинна, «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася». Потому что Его можно, конечно, представить в самой сомнительной компании, вплоть до блудниц и налоговых инспекторов, но среди обладателей дьявольской красоты, намеревающихся побыстрее нас, человек, позабыть-позабросить, Он вряд ли уместен. Ну а поскольку по учению святых отец иные бози суть падшие ангелы, то бишь беси, то перечень дозволенного к проносу в квартиру Ходасевича оказывается совсем уж куцым. Можно, конечно, попытаться протащить Благоую Весть под видом неопределенно-возвышенной и разрешенной мечты, но, думаю, бдительный хозяин с этим быстренько разберется и вежливо попросит подобные антиромантические мечтания впредь оставлять вместе с маленькой мещанской добротой на вешалке в прихожей. Где им, в сущности, и место, поскольку одно без другого не бывает, а среди ходасевичевских гостей, вознамерившихся быть или ангелами или демонами, им места нет и быть не может.

А писано это в июле 1921 года, за месяц, между прочим, до расстрела Гумилева, да и немислимая по зверству Гражданская война тогда ведь еще толком не закончилась, в общем, как мне кажется, у поэта были все основания не изгонять из собственного жилища доброту, пусть самую крошечную, а ужасаться ее исчезновению, вернее, истреблению, на одной шестой земли.

Н.Н. Мазур, когда я сбивчиво и страстно излагал ей примерное содержание этой главы, высказала осторожное и остроумное предположение, что на самом деле это стихотворение может быть пародией.

Кто его знает, филологам и историкам литературы оно, конечно же, виднее, но ведь и у нас, простодушных читателей, нельзя окончательно отнимать право судить и трактовать, а то что ж это будет?

Да и, в конце концов, неважно, пусть будет пародия! Речь-то я веду не столько о Ходасевиче...

Хотя, нет, все-таки не верю. Во-первых: Ходасевич — замечательный поэт, и, если бы писал пародию, она бы вышла посмешнее, вот как Дмитрий Александрович, например, пародировал следующее поколение уже советских романтиков:

Я с детства не любил овал,  
Я с детства просто убивал!

Во-вторых: пафос этих строк вполне соответствует некоторым его другим стихам и высказываниям — например, по поводу знаменитого стихотворения «Искушение» («Довольно, красоты не надо») — «Те ошибутся, кто в нем увидит неприятие Революции. (Именно так, по юношеской наивности, ошибался и я. — Т.К.) В нем только сердце, оскорбленное, как говорится, в лучших чувствах своих некоторыми предателями Революции, обращается к душе с язвительным искушением».

Предательство же этих некоторых, как явствует из самого стихотворения, заключалось в том, что они, вместо того чтобы раздуть и дальше мировой пожар и загонять клячу истории, то есть безнаказанно убивать и грабить, расстреливать заложников и распинать попов, стали — О ужас! О стыд! — торговать,

уподобившись буржую и кулаку, смертельно оскорбив этим прозаическим занятием нежное сердце «голодного сына гармонии».

К тому же из примечаний Н.А. Богомолова мы узнаем, что написано это стихотворение, по словам автора, «после какого-то препирательства с “доброй” Екат<ериной> Павло<овной> Султановой». Не знаю, чем уж не угодила поэту неведомая мне Екатерина Павловна, но кавычки, в которые заключено слово «добрая», приводят на память советское озлобленно-презрительное «добренький» и «исусик», а также неустанную борьбу кремлевских мечтателей с «абстрактным буржуазным гуманизмом».

С другой стороны — уж слишком, действительно, похоже на бальмонтовско-брюсовский оранжерейный демонизм желание прославить «и Господа и дьявола, чтоб всюду плавала свободная ладья». И не хочется все-таки верить, что не ищущий спасения ходасевичевский кораблик плывет в кильватере этих дурацких, чуждых чарам черных ладей. Да ведь даже и на есенинское убогое хулиганство это тоже немного смахивает:

Розу белую с черною жабой  
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись  
Эти помыслы розовых дней.  
Но коль черти в душе гнездились —  
Значит, ангелы жили в ней.

И очень уж похоже на искалеченную героиню «Тихого стража», которая и сама-то является пародией:

«— Ты можешь выздороветь.

— Зачем? Я именно вот так в колясочке и хороша. И потом, вылечись я, — я могу сделаться добрее, это опять-таки не дело. Это, как говорится, не стильно, понимаешь?»

В общем, как сказал бы Жора, «дело ясное, что дело темное».

Предельно ясным мне представляется только одно — вековечное отвращение некоторой части моих коллег по веселому цеху к добру, к мирным обывательским радостям и добродетелям, порядку и иерархичности, презрение к среднему пласту бытия, который дан нам в удел и который мы обязаны возделывать и доводить до ума, к нормальной человеческой жизни, гораццианской «золотой середине», непреодолимый, зудящий соблазн нарушения стеснительных правил, куцых конституций и авторитарных заповедей. И не в «Бродячей собаке» это безобразие началось, и даже не тогда, когда свихнувшийся немецкий поляк проклял все «слишком человеческое» и объявил переоценку ценностей, то есть возврат к ценностям дохристианским, даже допотопным.

Было это и раньше, повторялось много раз, да и в самом начале самый первый соблазн и самое первое паскудство связаны ведь были именно с этим нежеланием довольствоваться наличным местожительством, даже если это и земной рай, с отказом покоряться своей доле, даже если это бессмертное и безгрешное блаженство.

«Будь или ангел или демон». Да будь же ты человеком, в конце-то концов!!

Так что первыми мятежными романтиками явились, похоже, ветхий Адам и его легкомысленная супруга. Что уж удивляться тому, что описанная насмешливым Кузминым дочь нашей повадливой праматери выражает желание пойти «ко всеошной в Казанский собор голой» в доказательство приверженности идеалам свободы, любви и «отсутствия всяких предрассудков».

Ну а нынче-то и вообще — «пуще прежнего старуха вздурилась». Но не быть ей ни царицею морскою, ни, как в первоначальном варианте, римской папою.

И эта детская, дикарская уверенность в том, что размер имеет значение, что маленькое и слабое всегда плохо, а большое и сильное всегда хорошо, что великое злодейство достойней и красивее мелкого благодеяния «здесь, на горшине земли».

Как писала Цветаева о горлане и главаре, воспевающем Дзержинского и Ленина: «Маяковский — сила. А сила всегда права». Да почему же, Марина Ивановна? Да откуда же вы это взяли? Ответить можно словами цветаевской мамы: «Это в воздухе носится». Ох, носится.

Или Блок, который убожество Первой мировой войны доказывает тем, что она не очень заметна: «Довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег». И дальше в той же изумительной статье: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего...».

Как говорит Жорик: «Воровать так миллион, е..ть, так королеву». И ведь эти хулиганские безмерные требования, как правило, совсем не значат, что носитель этой горделивой идеологии откажется стибрить плохо лежащую десятку или трахнуть захмелевшую буфетчицу. Просто десятку эту он тут же незамедлительно пропьет или проиграет в игровых автоматах, а со своей случайной подружкой не будет церемониться — чай, не королева.

И скука, скука, и святая злоба, и неужели и через четверть века «все будет так, исхода нет»?!

Исход наступит через пять лет, а через четверть века будет праздноваться уже двадцатилетие Великой и Ужасной Октябрьской Социалистической революции, то-то настанет веселье, то-то торжество свободы и красоты. И никакой обывательской пошлости.

Кто доживет, оценит.

Потому что все это манящее и блазнящее Великое и Ужасное оказывается на поверку очередным обманом, в лучшем случае смешным и жалким, как в Изумрудном городе, но чаще омерзительно и мелочно злобным, и жестоким, и неизбежно, невыносимо тупым и пошлым, как в наших с вами злосчастных городах.

А Единственный по-настоящему Великий запросто ходит в гости к карлику Закхею, и воистину, непомерно и невыносимо, Ужасный «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит», и, идя на муку, исцелит отрубленное перепуганным Петром ухо своего мучителя...

К чему я все это, собственно?

Сам уже почти забыл, взъярившись, что затеял весь этот хай с единственной целью — подчеркнуть достоинства моего не очень прописанного фельдшера Юлика, который, несмотря на то, что, в отличие от своего прототипа, не стал известным русским поэтом и вообще «особенной интеллекцией блистать не мог», является, по замыслу автора, настоящим положительным героем нашего времени именно потому, что никогда не оставляет свою маленькую доброту в прихоржей. Он даже приезжал в Колдуны еще два раза сменить Ладины повязки и снять швы. И даже, чертыхаясь про себя, согласился отвести домой бабы Шурины гостинцы — соленья, варенья и совсем уж ненужную ему картошку. И ведь не выбросил ее, довез, весь потный и злой, до дома целых полмешка, надо сказать, к большому удовольствию своей маменьки.

Ну а бессмысленный и тусклый свет фонаря у аптеки покажется нам райским сиянием, когда/если разгоряченные носители мечты в тишотках с

кубинским красавчиком, или арабской вязью, или с какой-нибудь солярной символикой побьют фонари и погромят аптеки, и мы в очередной раз узнаем «холод и мрак грядущих дней».

Юношам же бледным, собирающимся на Форум молодых писателей России в Липках, я настоятельно советую учиться описывать и понимать фонари не у певца Прекрасной дамы и красногвардейской шпаны с раскосыми и жадными очами, а у «Человека, который был Четвергом». См. Гилберт Кийт Честертон, Собрание сочинений в пяти томах, том 1, стр. 186.

### **23. БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО**

*Последний день  
Сверкал мне в очи;  
Последней ночи  
Встречал я тень, —  
И в думе лютой  
Все решено;  
Еще минута —  
И... свершено!..  
Но вдруг неожиданный  
Надежды луч,  
Как свет багряный,  
Блеснул из туч...*

Александр Иванович Полежаев

Волшебная зима в Колдунах шла к концу — неспешно и неохотно, упираясь из последних сил и огрызаясь. Морозы стояли все еще неколебимо, но тьма, казавшаяся вечной и всемогущей, таяла на глазах под натиском с каждым днем прибывающего, совершенно уже весеннего света.

Но рано обрадовались беспечные поселяне. Хоть им и удалось отбить атаку стихийных, хтонических, так сказать, естественных (или сверхъестественных) сил, но Колдунам еще предстояло в эту зиму пережить нашествие иного зла — человеческого, или, если угодно, социального, не менее опасного и не более разумного. И, на мой взгляд, абсолютно противоестественного.

Причиной этой беде послужило празднование Дня защитника Отечества, а вернее сказать, то, что, как говорил последний генеральный секретарь, «не все еще научились веселиться без вина» и что культура потребления вино-водочных напитков в Российской Федерации находится все еще на удручающе низком уровне. Чему доказательством явилось не только безобразничанье Жорика, который с утра уже требовал как защитник Отечества дармовой выпивки, а, выклянчив оную у мягкосердечной Егоровны, целый день куражился над Чебуреком, обзывая его Бараком Обамой и обвиняя в развале Союза и грузинском империализме, но и неадекватное и ни с чем не сообразное поведение капитана Харчевникова.

С Жоры-то что взять? Да и все его праздничные затеи были по большому счету безобидны и даже забавны. И то, как он обучил Ладу командам «Смирно! Вольно! Разойдись!», а потом и команде «Ханде хох!» и «Гитлер капут!», и то, как он исполнял военно-патриотические песни, особенно «Широка страна моя родная», корча страшную рожу («Но сурово брови мы насупим...»), грозя кулаком

Чебуреку («Если враг захочет нас сломать!»), сластолюбиво улыбаясь Сапрыкиной («Как невесту, Родину мы любим!») и заключая в объятия отбивающуюся и хихикающую Александру Егоровну («Бережем, как ласковую мать!»). Лада, конечно же, от всей души и во весь голос ему подпевала.

А вот у Харчевниковых праздника не получилось. Капитан, впрочем, основательно напраздновался на службе, в родном коллективе, буквально на боевом посту, ну и в хмельном кураже решился, невзирая на поздний час, продолжить банкет по месту жительства. «А чо такого?! Чо, не имею права в свой профессиональный, можно сказать, праздник?!» Но Зойка уже в дверях объяснила, «чо такого», подгулявшим защитникам Отечества — Леха ведь, расхрабравшись, притащил с собой своего «лучшего кореша», старшего лейтенанта Пилипенко.

Стыдно стало пьяному капитану перед боевым товарищем, взыграло ретивое, оттого и повел он себя так опрометчиво и дерзновенно и на предложение убираться туда, где нажрался, рявкнул: «Хорошо же!! Пошли, Димон. А ты, проشمандовка, еще пожалеешь! Я те гарантирую! Пожалеешь, суконка!».

Покатили на дачу праздновать новоселье, поскольку Леха решил ни за что не возвращаться к неблагодарной лахудре и впредь вести вольную пацанскую жизнь. Звонили подружкам разбитного Димона, но были посланы, а на предложение воспользоваться платными услугами профессионалок Леха все-таки ответил решительным «нет» — думаю, из трусости.

Приехали уже во втором часу. Перебудили и перепугали деревенских жителей, были обляяны Ладой и стали пить, закутавшись в пледы и одеяла, — изба то была не топлена, да и печь была заменена хозяйкой на красивый, но ни хрена не греющий, а только дымящий камин. Но поначалу было все равно смешно и кайфово, как в самоволке или даже в пионерлагере, а вот пробуждение, как вы понимаете, получилось невеселое — настоящее хмурое утро и хождение по мукам. Капитан в тоске обдумывал приемлемые условия капитуляции, хотя было понятно, что она будет безоговорочной и постыдной, а старлей, мучимый холодом и похмельем, злился и на себя, и на друга, и на весь свет, и особенно на то непривычное, обидное положение, когда злость не на ком было сорвать. В отличие от рыхлого и аморфного во всех отношениях Харчевникова, был Пилипенко поджар, нагл и по-настоящему, естественно и простодушно, жесток.

А тут и появляется с двумя пластмассовыми ведрами и в сопровождении Ладки Чебурек.

Глазки Димона загорелись:

— Эт кто же это у вас такой?

— А хрен его знает, — ответил мрачный капитан, роясь в салоне в тщетной надежде найти какую-нибудь забытую вчера бутылку.

— Эй, уважаемый! Ком цу мир!

Бежать было поздно.

Последовавшая сцена была почти точным повторением первого диалога Чебурека и Жорика, только смешного в ней уж точно ничего не было.

Жорик меж тем уже бежал старух: «Атас! Ментуарии Чебурека повязали!».

— Какие ментуарии, черт бестолковый?

— Да мильтоны, мусора! Лешка и еще какой-то рыжий! Ну теперь в двадцать четыре часа в Кара-Кумы, к верблюдám! И к варанам! Уч-кутук три колодца!!

Если б не заступничество Тюремщицы, все могло бы еще обойтись. Капитан уже буркнул Димону: «Харэ тебе ввязаться. На хрен он нам упал?.. Чо с него возьмешь? Поехали давай уже». Но налетевшая Сапрыкина, с ходу обозвав Димона оборотнем в погонах, сопляком и рыжим засранцем, Лехе указав на то, что он отрастил брюхо, как беременная баба, и рожу, которую за три дня не уделаешь, пригрозив судом за самозахват каких-то лишних квадратных метров народной земли, а на строгий вопрос: «А вы кто такая? Фамилия?» — цинично и

насмешливо ответив: «П...а кобыля!!», не оставила ментам ни одного шанса пойти на попятный без ущерба для чести мундира.

Александра же Егоровна все это время только охала и ахала в ужасе и растерянности, а Лада, хотя и лаяла на всякий случай на незнакомца, но явно не отдавала себе отчет во всей серьезности ситуации. Жора наблюдал из безопасного далека.

И вот уже Димон движением, скопированным у голливудских копов, наклоняет злосчастную Чебуречью головушку в дверь автомобиля, и мы уже готовы навсегда расстаться с нашим загадочным скитальцем, и Сапрыкина напоследок орет: «Небось, деньги дать, сволочи, так отпустили б! Пидарасы!». Но тут наконец-то вмешивается тетя Шура: «Леш! Миленький! Погоди! Я сейчас... только погоди, не уезжай... я сейчас...». С удивительной быстротой прохромала она в свою избушку и тут же вернулась, неся в протянутой к ментам руке невероятную красную пятитысячную бумажку.

— Вот, сынок, возьми, пожалуйста. Только нашего-то парня отпусти, а? Он же ничего худого-то не сделал! Отпусти, а?

Все кроме Лады застыли в изумлении.

Даже Пилипенко не сразу нашелся:

— Ну ты даешь, бабка!.. Ишь... Все им пенсии не хватает... Ну ладно... Эй ты, чмо болотное, давай отсюда. Сделай так, чтоб я тебя долго искал!

Это пожелание Чебурек понял без перевода и охотно исполнил, даже не поблагодарив в этот момент Егоровну.

А Лехе стало как-то не то чтобы противно, не то чтоб совестно (как говорил Жора в подобных случаях: «Где была совесть, там х.. вырос!»), но как-то нехорошо, неприятно. И Димона лишать заслуженной добычи не хотелось, да и невозможно было, но и перед односельчанами все-таки было неудобно.

— Ты, баб Шура, чо-то много дала, — капитан полез в толстый лопатник, вытащил несколько бумажек и с кривой улыбочкой сунул их соседке. — На вот сдачу тебе. А то скажешь...

Машина тронулась, но была тут же остановлена заполошным криком Александры Егоровны:

— Стой!! Леша!! Стой!!

— Ну чего тебе еще?

— Да ты обсчитался, Леш! Тут все пять тысяч и есть!

— Дура ты все-таки, баба Шура!.. Ну поехали, чо уставился? Поехали говорю!!

Вот так Александра Егоровна выкупила из неволи праведного иноверца, а капитан Харчевников сделал наконец доброе дело, которое, надеюсь, зачтется ему при подведении окончательных итогов.

Ведь, если разобраться, настоящих, отъявленных сволочей среди нас гораздо меньше, чем принято считать.

## 24. МАРТ

*Мещане! Они и не знали,*

*Что, может, такой и бывает истинная любовь!*

Эдуард Аркадьевич Асадов

Ранняя весна — сколько щемящей, поэтической грусти и прелести слилось в этом словосочетании, и какая же это на самом деле гадость!

И длится она, в отличие от зрелой, благоуханной и благословенной весны, невероятно долго, томительно, выматывая душу ожиданием и не сбывающимися-

ся надеждами, что вот, кажется, и проглянет свет и синева из этих темных и тяжелых, как мокрая вата, туч. Глаза б мои не глядели на медленно гниющий, все более и более грязный целлюлитный снег, на голые и склизкие черные деревья, на шугу (если я правильно употребляю это слово)\* под промокшими окочевшими ногами и особенно на вылезавшие на серый свет безобразные остатки нашей прошлогодней жизнедеятельности.

В общем, никакая не пора любви, а сущее наказание, авитаминоз да мигрень, цинга да озена (это зловонный насморк, которым меня запугивала сестра, если я не дам ей меня лечить), пародонтоз да гангрена с водянкой.

Я решил было вообще пропустить это неприятное время года, но тут вспомнил о Барсике, которому уделено незаслуженно мало внимания. Крылатое выражение «мартовский кот» пришло мне на ум, и — по естественной ассоциации идей — я решил посредством Барсика предать наконец публичному поруганию и уничтожению многовековые усилия деятелей искусства по эстетизации и даже сакрализации самой что ни на есть оголтелой кобелино-кошачьей похоти. В некотором смысле это должно было стать и актом запоздалого покаяния, поскольку и в моей любовной лирике можно при желании найти образцы подобного скудоумия и легкомыслия.

Сквозь магический кристалл мартовская глава представилась мне драматической сценой, вернее диалогом между Ладой и Барсиком, писанной, естественно, белым пятистопным ямбом с вкраплением шекспировских рифмованных двустопных. Лада, удивленная постоянными отлучками блудливого кота, спрашивает его о причинах такого странного поведения и сетует на то, что он, наверное, огорчает хозяйку, и неужели ему не стыдно, и неужели он их совсем не любит. Барсик презрительно фыркает и отвечает:

Любовь?! Да что ты знаешь о любви,  
Убогое (или бескрылое?) домашнее создание?!

И далее следует вдохновенный (по-настоящему вдохновенный и поэтичный) монолог Барсика во славу беззаконной и свободной любви. Как вы догадываетесь, состоять он должен был из цитат и квазицитат из всей доступной автору мировой поэзии — от Сапфо и Катюлла до Цветаевой и Бродского.

Среди зароившихся в моем мозгу строк с неизбежностью зазвучало и блоковское «Приди, бери меня, торжественная страсть!». Полезши во второй том, чтобы проверить свою память, и впервые с пятнадцати или шестнадцати мальчишеских лет прочитав стихотворение «В Дюнах», я просто-таки взвыл от восторга! Какие, к чертям, центоны, какие стилизации! Зачем же пересказывать своими неловкими словами то, что уже так замечательно пропето?! Не надо! Помещаем весь этот поразительный текст с единственной просьбой к читателю — наслаждаясь им, представляйте себе, пожалуйста, не только сомовский портрет «бога в лупанарии» (хотя и это уже достаточно комично), но и четвероногого героя-любовника нашей хроники.

Я не люблю пустого словаря  
Любовных слов и жалких выражений:  
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».  
Я рабства не люблю. Свободным взором  
Красивой женщине смотрю в глаза

\* Нет, неправильно. Шуга — это, по Далю, первый осенний лед, который сплошь несетя по реке, с обмерзлыми комьями снега, незадолго до рекостава; мелкий лед, каша после вешнего ледолома.

И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —  
Сияющий и новый день. Приди.  
Бери меня, торжественная страсть.  
А завтра я уйду — и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер  
Морей и смольный дух сосны  
Ее питал. И в ней — все те же знаки,  
Что на моем обветренном лице.  
И я прекрасен — нищей красотой  
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе  
Финляндии, вникая в темный говор  
Небритых и зеленоглазых финнов.  
Стояла тишина. И у платформы  
Готовый поезд разводил пары.  
И русская таможенная стража  
Лениво отдыхала на песчаном  
Обрыве, где кончалось полотно.  
Там открывалась новая страна —  
И русский бесприютный храм глядел  
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла  
И встала на откосе. Были рыжи  
Ее глаза от солнца и песка.  
И волосы, смолистые, как сосны,  
В отливах синих падали на плечи.  
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд  
С моим звериным взглядом. Засмеялась  
Высоким смехом. Бросила в меня  
Пучок травы и золотую горсть  
Песку. Потом — вскочила  
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далеко. Исцарапал  
Лицо о хвои, окровавил руки  
И платье изорвал. Кричал и гнал  
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,  
И страстный голос был — как звуки рога.  
Она же оставляла легкий след  
В зыбучих дюнах и пропала в соснах,  
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,  
Один, в песке. В пылающих глазах  
Еще бежит она — и вся хохочет:  
Хохочут волосы, хохочут ноги,  
Хохочет платье, вздутое от бега...  
Лежу и думаю: «Сегодня ночь  
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,  
Пока не затравлю ее, как зверя,

И голосом, зовущим, как рога,  
Не прегражу ей путь. И не скажу:  
«Моя! Моя!» — И пусть она мне крикнет:  
«Твоя! Твоя!»

Ну совершеннейший же мартовский Барсик! Этим вольным мыслям только эпитафия недостает из Саши Черного:

Весенний брак! Гражданский брак!  
Спешите, кошки, на чердак...

С удовлетворением и гордостью вспоминаю, что даже в пору моего отрочески-юношеского опьянения блоковскими стихами и даже дневниками и записными книжками эта потная беготня Александра Александровича за своенравной финской красоткой (с неизбежностью возникает образ златовласой прелестницы с крышки сыра «Виола») всегда вызывала у меня чувство мучительной неловкости. Конечно, я не мог тогда признать, что мой любимый великий поэт (действительно ведь великий!) способен написать стихи, безукоризненно и смехотворно гадкие и пошлые, достойные телеграфиста Ятя в исполнении Мартинсона, как не был способен понять сходство этой лирики с публицистической статьей большевистской поблядушки Коллонтай «Дорогу крылатому эросу! Письмо к рабочей молодежи», нет, я просто старался не перечитывать эти удивительные и в своем роде несравненные строки. И если б не Барсик, наверное, и сейчас не вспомнил бы, как прихотливо развлекался А.А. Блок со своей быstroногой Виолой.

Впрочем, боюсь, что мои сатира и юмор запоздали как минимум на столетие, поскольку пресловутая «Проблема Пола», тревожившая предреволюционных барышень и гимназистов, уже давно не кажется нам проблемой («Ноу проблем!» — как говорит Жора), мы за ненужностью сбросили даже этот прозрачный камуфляж и радостно заголились, и нынешних отроков и отроковиц любви учит не «первый пакостный роман», а подробные научно-популярные и веселенькие инструкции колумнистов женских, мужских и розово-голубых журналов.

Как некогда писал Пригов и цитировал ваш покорный слуга: «Да он и не скрывается». Как-то в клубе «Маяк» я слушал и смотрел выступление девичьего ансамбля, специализирующегося на исполнении советских лирических песен. Песни эти я знаю и люблю, пели и аккомпанировали девушки замечательно, да и сами были хороши собой, особенно маленькая прыгучая скрипачка, так что вечер явно удался, единственно, что меня слегка коробило и казалось немного безвкусным, это нарочитая и, на мой взгляд, избыточная ирония, которую всеми доступными им выразительными средствами обозначали юные исполнительницы. Мне казалось, что тексты этих песенок и без того настолько беззащитно-простодушны, что и без всякого нажима и педалирования вызовут у нормально-го человека невольную усмешку.

Но уже в такси, под совсем иные и совершенно невыносимые песни, я подумал о том, что, быть может, ирония-то относилась не только к бесхитростным словам Фатьянова, Исаковского и Лебедева-Кумача, а вообще ко всей этой лирической «черемухе» и к убежденности всей предыдущей мировой поэзии в том, что «жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?», и что так же насмешливо мои молодые современницы воспримут и священное умоисступление Саффо, и катулловское «Люблю-ненавижу», и «Новую жизнь» Данта, и цветаяевский «вечный привкус на губах твоих, о страсть». А вот это было бы печально и, быть может, непоправимо. Потому что основания для смотрения свысока на любовные страсти-мордасти ушедших эпох у нынешнего юношества

очень уж шаткие, и знание того, что оргазмы подразделяются на вагинальные и клиторальные и что отсутствие оных самым пагубным образом влияет на физическое и психическое самочувствие, само по себе, наверное, полезное, не делает нас мудрее и защищеннее пред вечными безднами, ужасами и восторгами того, что мы, несмышлениши, привыкли называть половой жизнью и межличностными взаимоотношениями.

Помните школьников из «Brave New World», ужасающихся и не верящих экскурсоводу, который повествует о жестоких и темных временах первобытной дикости, когда детишкам почему-то запрещали трахаться?

Но иногда закрадываются подозрения в том, что и это антиутопическое вселенское б...ство было бы здоровее, чем эротические свичаи и обычаи нашего времени, потому что вековая борьба с ханжескими запретами проложила дорогу не крылатому Эросу, а более мелкому и унылому бесу, и для юношей, вязнувших во Всемирной паутине, по слову Жорика, «лучшая девчонка — правая ручонка», ведь среди своих одноклассниц и однокурсниц они никогда не найдут таких сисястых, длинноногих и на все согласных красоток, как на сайте devchjonki.ru!

Впрочем, не исключено, что все это я сильно преувеличил от старческой досады на изменяющую жизнь и от той самой не до конца сублимированной похоти, взыгравшей от вида юной и сексапильной скрипачки... Дай Бог, чтобы так...

А все-таки правильно мы сделали, что кастрировали нашего кота Пузыря! Характер у него, при ангельской наружности, остался скверный, трусовато-драчливый и шкодливый, как у Жорика, но зато от неприятных маскулинных запахов и завываний торжественной страсти мы и себя, и его избавили.

А закончить эту сомнительную главу я хочу словами старого мудрого Опосума:

You now have learned enough to see  
That Cats are much like you and me.\*

## 25. ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

*Проснитесь, рощи и поля;  
Пусть жизнью все кипит:  
Она моя, она моя!  
Мне сердце говорит.*  
Антон Антонович Дельвиг

Суетность и условность наших эстетических пристрастий поистине удивительны и смехотворны!

Представим барышню, которая обтянула бедра юбкой из зеленого панбархата в лиловый и пунцовый цветочек, подпоясалась каким-то серо-бурым кушачком, напялила лазурную блузку с белыми кружевными рюшечками, а сверху еще нахлобучила златоблещущую шляпку!

При встрече с подобным чучелом большинство из нас хмыкнуло бы насмешливо и вообразило бы себе, что сказали бы Эвелина и Арина из «Модного приго-

\* Теперь ты знаешь, что Коты —

Они, совсем как я и ты.

(Пер. с англ. С. Дубовицкой)

вора». А я бы вообще, приняв ее за умалишенную, испуганно отвел бы глаза и ускорил шаг от греха подальше.

А ведь именно так наряжается родная природа в свой радостный брачный период, и мы торчим в пробках со своими мангалами и бутылками, чтобы выбраться на ее не такое уж, прямо скажем, девственное лоно, и именно это, как ни странно, зовется неброской красотой русской весны.

Ну а моим маленьким персонажам никуда для этого и ехать было не надо — вышел со двора, сел на починенную Чебуреком скамеечку и сиди, жмурься, грей на солнышке старенькие косточки или носись как угорелый по свежей, пахучей траве, прыгай в еще ледяную, слепящую воду Медведки и ори во все горло песнь — то ли торжествующей любви, то ли просто радости — как Шиллер с Бетховеном и Тютчев с Митей Карамазовым, да и вся объединенная Европа в придачу:

Радость, радость, вот так радость  
 На земле и на душе!  
 Никакого нету сладу  
 С этой радостью уже!  
 Посмотри, как пляшет Лада,  
 Славит Бога глупый лай!  
 Что же ты, моя отрада?  
 Ну, хозяйка, подпевай!

*Хором:*

*Радость, первенец творенья,  
 Дщерь великого Отца,  
 Шлют тебе благодаренья  
 Немудрящие сердца!*

Смертных ропот безрассуден,  
 Бога нечего гневить.  
 Радуйся, душа, покуда  
 Продолжает свет светить.  
 Свет фаворский, незакатный,  
 Теплый-теплый вешний свет  
 Возвращает нам обратно  
 Тех, кого в помине нет.

*Хором:*

*Радость, первенец творенья,  
 Напоет допьяна!  
 Подключился к песнопенью  
 Даже Жорик с бодуна!*

Радость, гадам буду, радость  
 Каплет чистым первачом!  
 Хрена ли еще вам надо?  
 Все по кайфу, все путем!  
 Чита-Рита-Маргарита!  
 Пиво-водка-полежим!  
 Все, что было, — шито-крыто,  
 Все, что будет, — поглядим!

*Хором:*

*Радость, первенец творенья,  
Сводит с гордого ума.  
Заразилась нашей ленью  
И Сапрыкина сама!*

Неустойчивы морально  
Все вы тут как на подбор!  
Ну с чего вы разорались?  
Тоже мне церковный хор!..  
А вообще-то — чем не радость?  
В огороде так и прет!  
К солнцу тянется рассада...  
Чо молчишь, нерусский черт?

*Хором:*

*Радость, первенец творенья,  
Дщерь Отца на небесех,  
Дажь нам всем без исключенья  
Чистый свет, пречистый смех!*

An die Freude! Баба Шура!  
Ньцух вуха! Мук цэхай!  
Ыводалачоуаллеху!  
Хулюм конджо йихедадь!  
Жора туру соу ноу,  
Лада ыводдаллеху,  
Рита, хулюм туру ноу!  
Амэсэгеналлеху!

*Хором:*

*Радость, первенец творенья,  
Попирает смерть и ложь!..  
Вот и все стихотворенье.  
Что еще с меня возьмешь?*

Рады бабы, рада Лада.  
Бога нечего гневить.  
Никогда не буду гадом,  
Постараюсь не дурить!  
К солнцу тянется рассада,  
Тянется рука к перу.  
— Слушай, умирать не надо!  
— Ладно-ладно, не умру!

Ну вот видите — автор сам не выдержал и присоединил свой сугубо лирический баритон к хору псевдоэпических персонажей.

Да что там Шиллер! День стоял такой теплый, лучисто-золотистый, безмозглый и бездельный, что впору было совсем распусться и замурлыкать фофановский, осмеянный и позабытый романс:

Это май-баловник, это май-чародей  
Веет свежим своим опахалом!

А баловник Жора, повалявшись пару часов на берегу и на солнышке с самодельной удочкой (самодельной в смысле сделанной по его приказу Чебуреком, и сделанной, надо сказать, очень ладно), наскучил безрезультатной рыбной ловлей и отправился искать иных развлечений.

— Что, Жора, на уху-то пригласишь? — беззлобно пошутила разнежившаяся на припеке Александра Егоровна над незадачливым рыбаком.

За Жорой, конечно, не заржавело:

— Лучшая рыба — это колбаса. А лучшая колбаса эт что, Егоровна?

— Где ж мне знать?

— Чулок с деньгами!

Шутка Егоровне понравилась. Она вообще в невинности своей считала Жорика очень остроумным и была уверена, что он, хотя, конечно, и охальник, но в то же время необыкновенно талантливый и оригинальный юморист.

— Ну чо, старая, отмучилась?

— Как так отмучилась? — удивилась баба Шура.

— Да до лета-то осталось с гулькин нос! Скоро и твой мент приедет! Ты из него бабла-то за собаку вытряси!

Как гром среди ясного майского неба, как бетховенское па-па-па-пам!, прозвучали для Егоровны эти слова. Она ведь и думать забыла, что Харчевниковы законные как-никак хозяева ее ненаглядной Ладки. А лето, оно ведь и вправду на носу.

Ничего вслух не ответила Жорику баба Шура. Про себя же твердо и бесповоротно сказала: «Не отдам!».

## 26. ЭПИЛОГ

*...Больше ничего*

*Не выжмешь из рассказа моего.*

Александр Сергеевич Пушкин

И она действительно никому и ни за что не отдаст свою подружку.

Да никто и не попытается их разлучить. Зойка Харчевникова в тот год отправит бедную Лизу на все три смены в какой-то эксклюзивный молодежный лагерь — с изучением основ эффективного менеджмента и английского и немецкого языков, кружками латиноамериканских танцев и танца живота, с конкурсами «мисс-лагерь», со встречами с героями МЧС, ВДВ и Администрации Президента и многими другими затеями по воспитанию будущей политической и бизнес-элиты и вообще ВИПов, где Лиза мучительно и безнадежно влюбится в вожатого пятого отряда и, кажется, начнет писать стихи.

Ну а никому другому в этой семейке наша заглавная героиня, конечно же, и даром будет не нужна.

Но вообще грядущее лето ознаменуется в Колдунах событиями волнующими и удивительными.

Во-первых: Сапрыкина в августе уедет на Дальний Восток нянчить новых внучат (двойню) от новой снохи, потому что ее сынок, сделавший какую-то головокружительную единоросскую карьеру и бросивший в этой связи старую непрестижную и ненавистную Маргарите Сергевне жену, женится на молодой пресс-секретарше. На проводах Сапрыкиной Жора будет бит целых два раза — вначале за приставание к пьяной жене младшего Быка, а в конце за попытку слямзить непечатую бутылку самогона. Впрочем, оба раза не очень больно. Дальнейшая же судьба Жорика замечательна единственно тем, что он

при всех стараниях так никогда и не сопьется по-настоящему, видимо, даже для этого ему всегда будет не хватать усидчивости и постоянства.

А вот в жизни Чебурека произойдут изменения прямо-таки невероятные и, можно сказать, сказочные. Однажды его наймут столичные дачники помогать при устройстве грандиозных шашлыков на несколько десятков гостей. Одна же из гостей, одинокая и совсем еще не старая старшая научная сотрудница Института стран Африки и Азии, придет в изумление, услышав Чебуречьи напевы, — никому не ведомый язык окажется тем самым почти исчезнувшим диалектом, изучению которого она отдала свои лучшие годы. Когда же она увидит носителя этого древнего языка, участь ее будет решена, равно как и участь Чебурека. А поскольку дядя пылкой ученой дамы является очень важным эмвэдэшным чином, она сможет выправить своему меджуну не то что заурядную регистрацию, а настоящий новенький российский паспорт и устроить его куда-то на хорошую зарплату работать консультантом. И однажды он с женой приедет на какой-то ослепительной иномарке навестить своих друзей, привезет Жоре ящик шведской водки «Абсолют» — и с перцем, и лимонную, и еще невесть какую. А Александре Егоровне — угадайте что? Правильно! Те самые туфельки, точь-в-точь, как она мечтала, даже еще прекраснее. Ну и уют, разумеется.

Ю.Ф. Миколайчук найдет щедрых и легковверных спонсоров и осуществит переиздание своей книжки, «исправленное и дополненное» биографическим очерком о жизни и творчестве революционера-демократа Ракитина и собранием околочерковных легенд о житии отца Ферапонта. Книгу номинируют и на Шолоховскую, и на Бунинскую премии, которые Миколайчук, естественно, не получит, но страшно заважничает и станет совершенно невыносимым для окружающих, особенно для подчиненных ему тетенок отдела культуры вознесенской мэрии.

Если кого интересует, что станется с романтическими волками, могу сообщить, что после поражения под Колдунами они продолжили свой гибельный путь и были остановлены только на подступах к Вознесенску. Была организована грандиозная облава, но ни один волк не пострадал, поскольку командовал охотниками кандидат биологических наук (а теперь, может, и доктор) А.Д. Поляков и ружья были заряжены такими специальными ампулами со снотворным. Усыпленных хищников отправят в далекий таежный район, где опрометчивые звероловы извели всех волков и лисиц, из-за чего поголовье зайцев катастрофически выросло и эти распоясавшиеся грызуны стали истинным бедствием для местных жителей и народного хозяйства. Вот там-то наши волки и станут работать санитарями леса и восстанавливать экологический баланс.

Да! Чуть не забыл — Юлик после этой истории переквалифицируется и со временем станет светилом российской ветеринарии, его даже будут уважительно называть русским Джеймсом Хэрриотом, и однажды за ним пришлют специальный вертолет, чтобы он спас чем-то обожравшегося президентского ретривера, или кто там у него.

А грозный старший Бык через три года погонится за Жориком, поймает его на мостках, начнет лупцевать, и вдруг схватится за сердце, и отдаст свою неистовую душу Богу.

Ну а Александра Егоровна с Ладой, они-то будут жить долго и счастливо.

И вообще не умрут.

Никогда.

Потому что...

Ну, потому что какое нам-то, в сущности, дело, что все обращается в прах, и над сколькими еще безднами предстоит нам с тобою бродить и верить, коченеть и петь?

Аркадий Драгомощенко

## кто действительно разбирает буквы

\* \* \*

«Когда я... и так далее — приглашу тех,  
кто действительно разбирает буквы, и не только.  
Но и тех, кто относится с приязнью к иному.  
Вероятно даже открою папки, где фотографии.  
Не возражаю, мало кому будут известны лица,  
к которым склонюсь. Письма, записи, прочее;  
их делал за деньги и не только.  
Чтобы увидеть получше, опущу голову (диоптрии).  
Но то, что увижу, — не вымолвить.  
Себе — ничего. Потому что ничего есть ничего,  
если открыть папки, шкафы, столы, мир, мел,  
окна, любые перечисления, перевернуть чашку,  
разбить очки и расколоть раковину».

\* \* \*

Даже если ветер этой страны  
отправит мою золу к разбитым детским шкафам,  
я попрошу об одном, — ни единой фракции этой земле.  
Пусть и нищему... Как бы он ни был.

Сколько раз (дано или давно?) тебе хотелось  
шагнуть за любую, пусть ничтожную надпись, —  
так смотрят вещи на мир из своего потаённого хора,  
следуя за тем, как убывание расстилает ковёр  
любому приближению совпадения в имени.

В предложении «я вхожу в дверь»  
не содержится ничего из предыдущего предложения.  
Дерево слагается из «десяти тысяч деревьев»

**Об авторе** | Аркадий Трофимович Драгомощенко родился 3 февраля 1946 года в городе Потсдаме. Ведет творческий семинар в Смольном институте свободных наук и искусств, СПб., и в SLS (Summer Literary Seminar, Montreal — СПб.). Премия Андрея Белого — 1978 год. Премия журнала P(ost)M(odern)C(ulture) — «Electronic Text Award», 1995. Книги: «Небо Соответствий», 1990; «Ксенин», Борей-Art & Митин Журнал, 1994; «Фосфор», Северо-Запад, 1994; «Под подозрением», Борей-Art & Митин Журнал, 1994; «Китайское солнце», Борей-Art & Митин Журнал, 1997; «Описание», Гуманитарная академия, 2000; «На берегах исключенной реки», ОГИ, 2005; «Безразличия», Борей-Пресс, 2007, etc. Предыдущие публикации в «Знамени» — № 5, 2008; №8, 2009.

и продолжения: здесь нужна воля,  
чтобы в бесчисленных листьях  
потоках, в простынях, хлещущих книзу, когда август,  
как изваянию не растратить то, что назвать не в силах;

и всё же падение непостижимо.

\* \* \*

Есть правила. Они прекрасны. Потому как  
Правила знают язык, в котором сотканы.  
Иначе не было бы горизонта. Законов.  
Вышитых насквозь золотыми мухами.  
Не было бы ни игл, тебя, ни того,  
Кто смог бы прибегнуть к другим гласным.  
Я так и делаю. О, улей! В сторону, сестра.  
Меньше всего — интересуется «метр».  
«Вижу тополя на “закате”»; даже видеть себя.  
Не очень большего размера и возраста.  
Видеть себя и мать, которая за тележкой.  
Везёт овощи, т.е. я — мешок с картофелем.  
Можно видеть себя, не знающего,  
На каком языке говорит тот, кто не знает.  
О боги. В ту пору девочки совсем легки  
К тому, из чего состояло, что касалось трусов.  
Но да... Разумеется, скажи, кого любили.  
Кто остался, — всё помню, конечно. Кто  
Знал бы о соединении лошадиной шеи  
С человеческой головой.

### ***Accidia***

Если ртуть, сворачиваясь, отвердевает во льдах изнанки, и  
зной, встречаясь с иглами ясновиденья, впивается в пугливую  
беглость покрова, следует пройти в зеркало языка,  
роговые врата отражений, скользя вдоль макового отклонения.  
Плохая примета разбитое зеркало. Как-то в летнее утро  
меня разбудил дикий вой мамы — повесился дед. Снежные стаи  
капустниц в то утро без усталости метались над огородами,  
путался шелест в ветвях аравийского света.

Всё начинается с ошибки зрения.  
С распыления вещи, застывшей в обречённом единстве  
(учиться сквозь сон, как другое распознавать очертания и вещи).  
Мак мотылька. Раскалённая глина. Из ключицы растущая мята.  
Звенья ошибок слагаются в зоны зелёного разрушения листа,  
лестница, ведущая из прямого чередования.  
Описывая звезду ветра, её лучи на сорока страницах  
погружения в воду, пересекаешь луч жеста и, если снег  
изъеден рассветом дотла, расширяется вкрапление влаги  
в местах слияния луча со ртутью. Он шёл по улице,  
подобной руслу перечислений, пропорций и соответствий, —  
лица узкий путь, воздушные фонари вихрей.



в недвижимой ряби, сравнимой с черепахой,  
 опрокинутой навзничь.  
 И, растрчивая по петлям сознание, ночь легка,  
 трюится в сетчатке, словно горящая по ступеням к холоду птица,  
     в освобождении полюсов преодоления тяжести.  
 И двойственность покидает монету.  
 Не скажешь по обыкновению: «пора, это — утро».  
 Его краткость понятней с каждой минутой, и внятны круг голосов.  
 Оборачиваясь будто внезапно. Не здесь, бесспорно,  
     хотя так всё и было, непрерывнее ягод и дёрна.  
 Что же открылось в известном?  
     В стенах?  
     В ином применении?  
     Опасность?  
 Пленённые известью трещины, детские пятна солнца,  
     насквозь истончённые чтением,  
 слог пропущен, выпукло веки смежены вне сна о побегах,  
     в которых едва ли по зёрнам прочесть убывание снега.

### **Из поздних «Церемоний»**

Любой камень завершается вспышкой.  
 Твои руки были мне не известны,  
 хотя каждой черты на ладони читал я легко назначение:  
 здесь — о созвездиях августа, проблесках,  
 родниковых ключицах, пыль зенита хранящих ревниво,  
 там — чистейшего круга тлеет тонкий порез.  
 Прохлада в нём поселилась, как слепое растение в зерне...  
 Меднокрылатая лампа за ней. Освещает,  
 словно стократных страниц устрашающий смысл  
 в достоверность нисходит глотка.  
 Разве не это относится к иным временам,  
 когда одежда приносила всем удовольствие?  
 Когда мальчик в молочных глубинах стекла  
 будто за кем-то вслед повторял:  
*ничто — не есть то, что есть или будет,*  
 оно ни за что не станет добычей  
 ни разорителей гнёзд, ни кладбищенских призраков.  
 А вокруг собирали орехи, в мелу мыли цветные шелка,  
 солдат умирал, из жил его соль вытекала свободно,  
 оцепенения дерево глухо шумело в пороге,  
 и filmy прорастали друг в друга. Именно кроны  
 каштанов иллюстрацией никчёмных примеров,  
 того, как срывается лист двойным притяжением.  
 В разрывах ветвей — слоистого неба слюда.  
 Урок был преподан. Выучен. Многое принято к сведенью.  
 Осталась уверенность, что, указав на окно,  
 в памяти сохранишь только жест.  
 Хотя его принадлежность вызовет вскоре сомнение.  
 Ось и вымысел, ловля бесшумных значений.  
 Речь, будто руки немых, в пустоте утренних крыш.  
 Этой порой хитросплетения знаков можно принять  
 за открытку от Скарданелли: дата, слова пожелания,  
 адрес, на который при желании можно сослаться.  
 И подпись. Но, не сверяясь с пейзажем, в средоточье скупое  
 времени, изъятого из собственной тени,



Вадим Месяц

## Первочеловек

рассказ

Годах в 70-х к Черчецкому берегу вместе с прочим таежным тальником-плавником, отцепившимся от лесосплава, прибило гигантского деревянного человека. Дело в том, что выход к морю имел в этих водах некое отстойное горло, куда скапливался промышленный материал на радость береговому люду. Лесосплав был бесхозным, он мог нести в себе все что угодно. Никто не удивился — предмет, в общем-то, деревянный, водоплавающий. Мало ли что плавает по большой воде; почему бы не плавать по ней и деревянным людям? Парень был сделан из какой-то ценной древесины и к тому же хорошей выделки, в работе и быту пригодится. Народ здесь жил пограничный, рыбачий, организованный и неорганизованный, партийный и беспартийный. Про религию думать забыли, хватало других дел. Простые, приятные люди. Держали медведя в пожарке, научили его играть в карты. Поставили у правления доску почета, но портретов передовиков не разместили: не приехал фотограф. Мечтали достроить милицейский участок, но кирпич не плавает по воде... «Достроим как-нибудь» — это как лозунг жизни. Гражданские и военные, женские и мужские, сторожевые животные и малые дети. Перепутают одежду на какой-нибудь свадьбе да и ходят потом по полгода кто в военном, кто в штатском. Буквально так и ходят: кто в погонах, кто в фуфайках. Мне было легко с ними, они считали меня за столичного жителя, хотя я вроде из другого города. Проверки из центра были редки, а если случались, то всегда проходили празднично. Как же еще? Ведь так все хорошо. Люди жили дружной коммуной, в условиях Севера необходимой и естественной, секретов друг от друга не держали, но и себе цену знали. Процветание свое строили из прибудных бревен, доверившись волне и случаю: своим лесом коса была бедна. Дрова на зиму тоже заготавливали из плавника.

Деревянного парня нашли сразу: промысловики отправлялись за лесом с утра. Он лежал на животе, раскинув руки на два песчаных мыска, в узловине ладони трогательно торчала неповрежденная карликовая березка. Голый по пояс, он был одет в короткие холщовые штаны, похожие на армейские, но очень большого размера. Росту в нем было метра три с половиной, при таких габаритах обшиваться нужно у специального портного. Сапог на нем не было, почерневшие деревянные

**От автора** | Книга рассказов, которую я сейчас дописываю, отличается от поэтической прозы «Вок-Вока», «Лечения электричеством», «Правил Марко Поло», от всего, что я писал раньше. Сдвиг в фантастику повседневности происходит от знакомства несопоставимых образов, нарушение правильной экспозиции вызывает движение, заменяющее сюжет. Иногда получается иероглиф, который я и сам не в состоянии разгадать, иногда абсурдная история или анекдот; в лучших случаях — даосское зияние.

пятки возвышались, как круглые, чуть надтреснутые валуны. Ступни зарылись в песок: было видно, что он полз к берегу. Несмотря на качественность древесины, из которой он был изготовлен, распиливать его сразу не стали. Из-за наличия штанов. Штаны почему-то послужили основным признаком принадлежности этого существа к человеческой расе. К тому же прибило его в низинке, неудобной и болотистой, — без багров и веревок не вытащишь. «Отлежится, проспится, вылезет». Решение удивляло циничностью, но главное — полным отсутствием любопытства к необычному явлению. Лес — он всегда лес. Сосновый, кедровый, березовый, пусть даже человекообразный. Говорят, мы произошли от человекообразных обезьян. Верится с трудом. Другие считают, что первый человек был из глины. Тоже странно. У местных народов Адам был сделан из камня. Уверен, что и это возможно. В иные времена я получал в редакции «Пионерки» письма, серию писем от маленького мальчика, считающего, что органическая пища вредна. Это гной, выдавливаемый из тел животных, — писал он о молоке, масле, мясе. Он жил среди камней, флора и фауна казались ему опасными. Приспособился к условиям: считал, что даже сгущенку можно делать из камня. Такое вот решение продовольственной программы. И никаких инструкций, рецептов.

Никто не заметил, как деревянный человек оказался глубоко на берегу. Несколько дней штормило, потом наступила жара, и вода могла отступить. Согласно росту, он должен был быть в своей жизни повелителем деревьев. Особенно здесь, в лесотундре. Великан Севера, хранитель тайного знания, пришелец с Полярной горы в потертых штанах. Если он был пьян, то мертвецки. За неделю не пошевелил ни рукой, ни ногой. Некоторые высказывали соображения, что он помер. В основном помалкивали, но соображения высказывали, даже не особенно об этом думая. Поляна вокруг его лежбища заросла погаными грибами и каким-то фиолетовым мохом. Цветочки — синенькие и желтенькие. Они в это время растут повсеместно. Мужики и раньше подплывали к нему на лодке, тыкали в спину рогатиной, но он не отзывался. Однако при всей затопленности было в нем что-то живое и теплое, не позволяющее для проверки пальнуть в голову из дробовика, закидать горячей паклей. Он был не совсем мертвец хотя бы потому, что был деревянным. Вскоре обнаружилось, что мох у его изголовья вытоптан, грибы повыкорчеваны или съедены. Положение рук бедняги тоже изменилось: карликовая березка торчала теперь между указательным и безымянным пальцами. На лице, густо измазанном илом, виднелись следы какой-то пищи. То ли подурчались дети, то ли большой человек начал приходить в себя.

Все в мире имеет свою скорость передвижения. Медленнее всего передвигаются континенты, горы, заброшенные города. Мы можем наблюдать за ростом деревьев, отсчитывать по распилам кольца зим. Если деревянные люди передвигаются со скоростью роста деревьев, то великан мог идти через тайгу со дня сотворения мира, пока не поскользнулся на берегу Западной Двины и не попал на наш берег. По простым расчетам, он должен был передвигаться со скоростью три сантиметра в год (если исходить, например, из скорости роста секвойи гигантской). Породы его, как и природы, мы не знали. Так, прикидывали. Чтобы вымолвить вразумительное слово, ему требовались годы. Чтобы поговорить с кем-нибудь, ему было нужно найти подобного себе человека. Даже деревянные, привычные в наших местах церкви не подходили. Проблемы возраста: судя по всему, он был намного старше. Он искал жену, потерянную когда-то в первоначальной мгле. Представить их соитие невозможно: целое поколение должно было следить за движениями любви наших пращуров, пока таинство не свершится. Планета несколько раз изменила бы свой лик, пока страшная сучко-

ватая дриада не разрешится от медлительных родов мокрым лесовиком, непонятно для чего явившимся на свет.

Все могло быть гораздо проще. Его могли сделать от тоски и отчаяния беглые зеки. В их артелях попадались отличные краснодеревщики. Не все ли равно, на что тратить бессмысленные усилия? Назвать его «буратино» не поворачивался язык. Слишком монументален, архаичен, подлинен. Он лежал в позе предельно усталого, изнемогшего человека, и, когда начал подавать признаки жизни, бабы потянулись к нему со своею неистраченной заботой. Он благосклонно принимал их дары, но пил в основном молоко. Такого диковинного напитка он еще не пробовал. Ему нравилась его плотная белизна, непрозрачность, которую он хотел растянуть в своих пальцах на манер стекла и посмотреть на свет. Фокус не получался, но «мавр» (кто-то дал ему собачью кличку) не расстраивался. Он вообще был не очень-то эмоционален, и лишь особенно внимательные девушки могли уловить перемены его настроения. Любимых девушек у него было три или четыре. Знаки внимания, которые он им оказывал, были не всегда понятны. Обычно он демонстрировал какие-то древние складки на своей руке, беззвучно шевеля губами, позволял расчесывать нормальную вполне бороду, причем улыбался при этом омерзительно. При некотором допущении, «мавра» можно было считать красавцем. Серокудрый верзила на длинных ногах, обходительный, имеющий некоторое представление о любовной прелюдии, не то чтобы совсем дикий зверь... В минуты сладострастия его харя расплывалась слюняво и неопрятно, дыхание отдавало ядом грибов и змей, но женщины привыкли и к этому. Теперь, когда его уже нет, этот запах, иногда появляющийся на болоте или в лесу у гниющей волчьей туши, стал единственным, что зовет нас к возвращению в прежнюю, счастливую жизнь. Нам не хватает теперь этого Гулливера, а ведь он мог бы представлять наш поселок в выборных органах лучше любого депутата. Видный мужчина, немногословный, умудренный жизнью, свидетель нескольких геологических эпох...

С нашими мужиками его отношения не складывались, но он резонно не ввязывался в лишние передраги. Посидел с рыбаками на берегу, попробовал пива — не понравилось. С пивом он попытался проделать ту же глупость, что и с молоком, и только в очередной раз рассмешил односельчан. Пограничники грозилась проверить его документы и вообще сообщить куда следует. Участковый предположил, что деревянный парень — троянский конь, укрывающий диверсантов. Взаимопонимания не получалось. Однажды притащил к нам баржу, застрявшую когда-то в протоке. Приволок ее в поселок практически один, оставил у сельсовета. Ребята брели сзади, потирая руки. Ее теперь выдраить, выкрасить, вставить иллюминаторы: и готова гостиница на двенадцать мест. Мужики шутили, что баржа эта была ему лучше любой супруги. Предлагали венчаться, но он все равно ничего не понимал или не слышал. Кто-то написал на борту посуды масляной краской слово «баба». Думаю, «мавр» знал, что такое «баба», лучше всех нас. На этих утехах «человеческие» отношения деревянного человека с людьми заканчивались. Встречу с ними он воспринимал как забавное недоразумение. Одно из недоразумений, встреченное им на его бесконечном пути. Первочеловека ждали новые города, страны, материки. У нас скучно. Лишь один книжный магазин с подпиской на Драйзера. Медведь в пожарке, баржа, маловато для масштабной личности. Исчез он так же неожиданно, как и появился.

В теле березового Адама заключалось все человечество: душа каждого, кто будет рожден на земле. Капилляры, волокна — он был устроен сложнее любого из нас и усыновил поэтому Черчецкий берег без моральных усилий. Смешно, что некоторые человеколюбивые бабы из поселка пытались взять его на поруки. Гигантский фитиль рожденных и нерожденных человеческих душ роился в его сердце, не давал покоя и вел его все дальше и дальше. Он знал свою медлительность и поэтому искал любую возможность ускорить свой ход: забирался в баржи, платформы товарных поездов, пользовался течениями рек и океанов. В Черчецке мы встретились с ним, нашли контакт, вернулись к его временной точке отсчета и незаметно для себя приняли ее навсегда. Теперь, чтобы сказать слово, и нам требуются годы. Столетия, чтобы зажечь спичку и прикурить на ветру. Я до сих пор стою, приподняв ногу, чтобы сделать шаг по лестнице у причала. Моя правая рука сжимает перила, обмотанные синей изоляцией, чтобы не занозить руку. Я не знаю, сколько пройдет лет, пока мне удастся достать из кармана спички. Моя жена вышла из сельпо и склонилась в манекенной стойке, произнося «до свидания» своей подруге. Сколько Господних дней мне ждать, когда она наконец повернет голову в мою сторону и улыбнется? Сколько длится этот Господень день? Чтобы договориться с кем-нибудь, мне нужно найти подобного себе человека. Я почти дерево, несмотря на нормальный облик, здравость мысли и благородство намерений. Неужели теперь и мы, как он, будем без конца искать своих жен, потерянных когда-то в первоначальной мгле? Стоять в оцепенении, под густыми осадками лет и зим, судорожно ожидая, когда твой язык выговорит обычнейшую фразу «привет, Маруся».

2007

Александр Левин

## на Орловщине, то ли Смоленщине...

### *Мгновение победы*

В музее войсковых фигур  
стоят фигуры войсковые,  
висят раскаты полковые  
застыл вприсядку балагур.  
Взлетел и замер гордый флаг,  
под ним осыпался Рейхстаг.  
Рычат приваренные танки.  
Взошли салюты и кометы.  
Над неподвижною победой  
парят солдатские ушанки

\* \* \*

Идут по полю,  
едут поездом.  
Эта баба ест его  
поедом.  
Он повёртывается  
к лесу передом,  
к бабе задом.  
А там за городом  
ждёт-пождёт его яма тёмная,  
в ней растёт повилика томная,  
ежевика,  
малина-ягода  
и большая от этого выгода.  
Там трава колосится  
сорная.  
Там водица дымится  
серная.  
Но когда соберёшь всю ягоду,  
заплетёшь повилику в бороду  
да воды попьёшь,  
не поморщившись,  
да травы накопишь,

не скрючившись,  
 всё случится так, как захочется,  
 засмеётся, а не заплачется,  
 станешь жить без забот до пенсии.  
 И потом ещё,  
 после пенсии.  
 Так сказала ему одна женщина  
 возле станции, что на Брянщине,  
 на Орловщине, то ли Смоленщине,  
 так сказала и глазом зыркнула.  
 И его, мужика, как торкнуло!..  
 Всё сидит он, про яму думает,  
 яму тёмную, воду серную,  
 повилику, малину-ягоду  
 и про страшную,  
 страшную выгоду.  
 Уж он бабы своей не слушает,  
 чай не пьёт,  
 бутерброд не кушает,  
 за вещами не смотрит брошенными,  
 не бежит за девками крашеными,  
 только смотрит в окно вагонное  
 и молчит как чучело сонное.  
 Ночь проспал, а утром получше,  
 вроде, что говорят ему, слушает,  
 отвечает, сумки таскает.  
 Не похоже на то, что тоскует,  
 что по ком-то, по чём-то скучает.  
 Ну, иногда невпопад отвечает,  
 пошевелит губами,  
 башкой покачает,  
 да и делает то, что велено.  
 Вот вернулись опять на Брянщину,  
 на Орловщину, то ли Смоленщину,  
 походил три дня, в лес поглядывая,  
 да поплеывая, да посвистывая,  
 и пошёл искать яму тёмную,  
 воду серную, выгоду страшную.  
 Эта баба ждала, ждала его,  
 в церкви тамошней свечки ставила,  
 да уехала к дочке в Кинешму.  
 С той поры о них и не слышали.

### **Декларация: прав человека!**

*Все правы, все! Виновных в мире нет!*

Шекспир, «Король Лир»

Прав человека, прав! —  
 когда он юн и минздрав,  
 когда он стар и сортир,  
 беженец, дезертир,  
 голоден и пожрав.  
 Прав человека, прав! —  
 когда он что-то соврав,

когда он кого-то кинув  
или, напротив, разинув,  
раззявив и проморгав.  
Прав, человека, прав! —  
когда торчит, как жираф,  
голову к небу задрав,  
когда ревёт, как ишак,  
когда стоит на ушах,  
как волшебный кролик-уда, —  
всегда человека прав!  
Когда улепётывает стремглав,  
когда сражается аки лев,  
когда лежит с дырой в голове,  
когда стоит на своём  
или когда приходит с ружьём  
и говорит: я прав,  
а ты, говорит, неправ,  
а ты, говорит, слазь,  
передержавший власть,  
так уж некуда,  
так что уж некуда класть...  
И он, как всегда, прав.  
Такой у него нрав,  
такие у него понятия  
и особенности восприятия,  
такие у него представления  
о себе как о смысле творения.  
И как бы он ни был бурав,  
углублён или, может, возвышен,  
усмирён или, может, задушен,  
озверев, одурев, заорав,  
взлетев или убежав,  
он прав, человека, прав.  
Ведь нет никого другого,  
третьего и даже второго,  
кто сказал бы, не просто ав-ав,  
му-му, чик-чирик и мяв-мяв,  
а что человека, к примеру, мудрав,  
или, там, перелев, переправ,  
или же он пережив, перемёртв,  
и потому проиграв.  
А значит, он прав, прав,  
что бы он там ни сказав...

### ***Стихотворение на двух перфокартах\****

Как много снега в этом декабре!  
Какая в этом всё́м необходимость? —  
и в декабре, и в снеге, и вообще...  
На улицах депеши и бумаги:  
метёт из приоткрытых канцелярий.  
Но девушки, приправленные перцем,

\* Третья затерялась...

гуляют по таинственному саду.  
Они несут зонтичные охапкой  
и кипы розоцветных бесконечных.  
А юноши с орехами и тмином  
в лице и теле  
смотрят непотребно.  
У них зима, а девушки в цвету,  
и всё несоответствие двоится,  
троится, умножается на два,  
на три, на пи — и тем тревожит власти.  
Властям легко ли? Меры принимать,  
когда одним принять хотелось водки,  
другим валокордину и еще —  
поехать в Диснейленд и умереть.  
И власти смотрят грустными глазами:  
бумаги завалили нас по горло,  
пусть Моссовет грузовики выводит  
и дворников с уборочным комбайном —  
пусть чистят снег и возят документы.  
И дворники выходят постепенно.  
Но столько снега — это чересчур.  
И нечего ссылаться на Госплан,  
Минфин и то же метеобюро...  
В сердцах и лицах полыхает лето,  
а ветви голы. Кружатся бумаги  
да валит снег.  
Какое время года?  
Конец какого-то, какого-то начало,  
точней не сформулировать пока.

декабрь 1991

### **Угомон**

Угомонилась птица Гамаюн,  
умаялась и надоела публике.  
Разговорила птица Говорун —  
о мире, вере и моральном облике.  
Раздухарилась птица Какадуй.  
Поёт и скачет. Поёт и скачет.  
В большом почёте птица Козодой:  
берёт и доит, кого захочет.  
С оттяжкой тарарахнул Зензивер.  
Привычно опечалилась Зегзица.  
В дымящейся золе от барбекю  
опять зашевелилась Феникс-птица.  
Ушёл куда-то страшный кот Баюн,  
не бает песен, баек не лабает.  
Пришёл из лесу серенький Молчок,  
молчит и скалится, рычит и лает.  
И пристальная птица Карачун  
круги сужает.

Андрей Васильев

## Ванька Рыков

рассказ

— Это что за на х...?.. — заглядывая в кузов, сержант выпучил голубые глаза. По неровному строю новобранцев пробежал смешок.

— Это Ванька, — неуверенно произнес кто-то из вновьприбывших...

— Какой, на х... Ванька? — сержант напряженно вглядывался в темный, с непроницаемым верхом, кузов машины.

— Ванька. Рыков.

— Умер?.. — осторожно спросил сержант.

— Спит.

— Что?.. — на мгновение суровое сержантское лицо осветилось недоумением.

— Он всю дорогу спит. Пьяный он.

Сержант замер, ощутив мгновенную усталость, дернул шеей, чувствуя, что может заплакать в любую минуту, не находя в себе ни сил, ни злости.

— Вынимайте, — выдохнул он наконец, — чо встали...

Двое, охнув, влезли в высокий кузов «Урала», передали вниз безжизненное тело.

Ванька очнулся лишь к утру. Сухое, узкое старушечье лицо, острые плечи, длинные, словно чужие руки. Он напоминал детеныша орангутана, пойманного в редущих лесах Суматры, после того как добрые улыбчивые суматранцы застрелили его наивную рыжую мать.

Он не знал, где он. Когда спрашивал — все смеялись. Никто не верил, что не знает, что можно не знать.

Он сидел в огромной, с заломами, новенькой форме, белыми пальцами вцепившись в прутья солдатской кровати, и на сухом лице его отражалась забота. Забота и больше ничего. И лишь изредка за заботой вдруг показывалась тихая надежда.

Он ждал, что все это кончится так же внезапно, как и началось.

Ванька рос в вымирающей дальней деревне, затерянной где-то в лесах необозримой и дремучей Вятки, и сам он с самого своего рождения тоже был вымирающим. Потому что деревня пила. Пила всеми своими ртами, щелями и порами. Пили молодые, пили старики и старухи, младенцам, ежели таковые

**Об авторе** | Андрей Васильев родился в Свердловске в 1960 году. Служил в строительных войсках Тихоокеанского флота. Закончил ГИТИС. Режиссер. Драматург. Работал актером, журналистом, редактором. Начал печататься в 2009 году: в журнале «Урал» опубликован роман «Премьера». Живет в Москве.

случались, прежде чем сунуть в беззащитный, беззубый рот — угол несвежей простыни густо смачивали самогоном.

Ванька пил с детства.

Больше он ничего не знал.

Он не учился в школе, и если учился — об этом не помнил. Он помнил только, что пил, и считал это делом, которое ему и положено делать. Ему и его матери.

И еще он знал, что самым важным предметом в избе был куб, который они так и называли «куб». Это был самогонный аппарат. Он стоял на печи, потому что всегда должен был кипеть, потому что самогон поддерживал жизнь.

Его мать давно уже не вставала с постели. Она лежала в углу и просила самогону. Он приносил. Она пила и лежала, лежала и пила.

И все.

И больше ничего.

Она молчала целыми днями, когда ей нужно было позвать его — она стучала палкой. Он слышал, он всегда приходил.

Когда он вспоминал о ней, глаза его наполнялись нежностью.

— Матерь... — говорил Ванька и, опуская голову, неловко, по-орагутаньи, длинным предплечьем смахивал что-то с лица.

Первые сознательные сутки он мучился похмельем, о котором, кажется, не имел никакого понятия, с которым не встречался с самого детства. В доме всегда был самогон. Если по какой-то причине самогон в доме кончался — шли в другой дом и пили там. Вот и все. Кубы были у всех.

Правда, время от времени кто-то пытался продавать самогон, и даже объявлял об этом, но в деревне этих слов всерьез не принимали. Просто приходили и пили. И все. Обсуждали, потом шли и пили. И никто не платил.

— Ак нечем... — говорил Иван, застенчиво, по-детски улыбаясь, выставляя вперед два крепких желтых зуба, — денех-то нету...

— Совсем?..

— Зочем? Кода-никода ак будут...

— А откуда они возьмутся, деньги-то?.. — допытывался, одного с ним призыва, городской детина.

— Ак роботам, — говорил Ванька добродушно щурясь.

— Работаете? — удивлялся детина.

— А ты думал.

— Так вы же пьете? — напоминал детина.

— Ак сомо собой, — соглашался Иван. — Ак и деньги нужны. На сахар-то. Без сахару-то не сварить.

— И ты работал? — все еще удивлялся детина.

— Роботал. На трахторе.

— Пьяный?..

— Ну. Заведу и спать лягу и тепло. Его заглушишь, ак потом не заведешь.

— Почему?.. — изумленно спрашивал детина.

— Иди знай.

Детина сокрушенно вздыхал.

— Огород спяхать или дров привезти — руками не ноносишь, — обстоятельно продолжал Иван, — один утопил в реке, ак мне другой хотели...

— И дали? — с подозрением спрашивал детина.

— Ак нет... Ак и шишку бьем. Шишки много. Наберем да продаем. Вот и все деньги. Матерь-то ничо не получают.

Никто не знал, что с ним делать. Он был слаб, жалок и невозможно тощ, напуганный своей фамилией, доставшейся ему словно в насмешку, и было неяс-

но, как в областных и районных медицинских комиссиях кто-то додумался отправить его служить.

Прапорщик Шейгус, плотный краснорожий литовец, который никак не мог примириться с тем, что солдат все время сидит в роте, держась за прутья кровати, хотел было пристроить Ваньку к делу и даже отправил его в подсобное хозяйство, что откармливало свиней для офицерского стола, полагая, что деревенскому там будет привычнее и сытнее, однако из этой затеи ничего не вышло. Ванька сходил на скотный двор, но скоро вернулся и сел на прежнее место.

— Я зо скотиной ходить не буду, — сказал он, все так же по-детски улыбаясь.

— Почему?.. — опешил Шейгус.

— Не хочу, — простодушно отвечал Ванька.

— А чего ты хочешь? — спрашивал Шейгус, нервно прищуриваясь, широко расставляя ноги, словно боялся, что Ивановы ответы свалят его с ног.

— Я домой хочу, — отвечал Ванька, — к матери. Мать там, дожидает... Мне тут нечего и делать...

— Тебя призвали, понимаешь, в армию, служить, — багровел Шейгус, едва удерживаясь от привычного рукоприкладства.

— Ак понимаю, — отвечал Иван, — ак ношто?.. У меня мать... Она даже не знат...

— Узнает, — уже визжал Шейгус.

— Ак как? — упорствовал Ванька, — кто скажет-то?..

— Председатель колхоза!.. — выкрикнул Шейгус.

— Нету там никакого колхоза, — вздохнул Иван, — и не было никогда. Некому и сказать... Все пьяны... И я б не знал...

— Я убью тебя! — вдруг взревел Шейгус и двинулся на Ивана.

Однако Иван не испугался, даже не переменялся в лице, только руки, которыми держался он за спасительную кровать, стали блеее.

— Я и сам помру, — тихо сообщил он рассерженному прапорщику, — когда не отпустят...

Из дому взяли Ивана таким же, каким и привезли в часть, — бездыханным, то есть мертвецки пьяным. Пили в деревне всегда, но так сильно — только на праздники, о которых помнили, которых ждали, и тут накатили майские.

Когда за ним пришли — он валялся во дворе, запрокинув маленькую, чуть больше кокосового ореха, русую голову, раскинув длинные руки, словно собирался взлететь.

Начальник патруля, рослый красноглазый офицер, долго смотрел на Ивана, пытаясь угадать возраст, и наконец, махнув рукой, приказал грузить.

Ивановых документов солдаты не нашли. В районе ему выписали новенький военный билет, сфотографировав пьяного, почти мертвого Ивана с закрытыми глазами. Десять часов спустя он был уже на Дальнем Востоке, в распоряжении прапорщика Шейгуса. Он ни о чем не догадывался. Призыв, как и перелет через всю страну, прошли для него незаметно. Когда он протрезвел и открыл глаза — дело было сделано.

Офицеры части по очереди приходили смотреть на Ивана. Им хотелось отправить его назад, отправить немедленно, выдав категорическое предписание обращаться с ним бережно, даже нежно, но сделать этого они не могли. Для того чтобы отправить домой, Ивана сперва нужно было комиссовать, то есть по той или иной причине признать негодным к воинской службе. Этому предшествовала длительная бюрократическая процедура, основанием к возбуждению которой должен был явиться какой-нибудь вопиющий медицинский факт. Одна-

ко, согласно документам, выданным призывной комиссией, Иван был абсолютно здоров.

Над ним не смеялись, даже не обижали.

Он все так же сидел на кровати, держась за тонкие прутья, глядя перед собой. Изредка кто-нибудь из своих, забавы ради, задавал ему вопросы о деревенском житье-бытье, на которые он охотно отвечал, скоро сбиваясь на разговоры о матери, время от времени смахивая что-то с лица.

Он думал о ней каждую минуту, впервые оторвавшись от нее, оставив ее одну, лежащую в избе рядом с погасшей печью и простывшим кубом.

Он видел ее, иссохшую, косматую и родную, он чувствовал тяжелый удушливый запах, вечно царивший в избе, казавшийся ему запахом счастья, он был там, оставаясь здесь, и это изматывало его.

И всякий раз после целого дня раздумий он засыпал так крепко, словно минувшим днем совершил какую-то огромную работу.

Он засыпал, чтобы утром думать опять.

Его никто не тревожил, а осунувшийся Шейгус, остервенело стерег его покой, грозя всякому, кто задумает посягнуть на Ивана. Но никто не посягал, и Шейгуса это злило.

— Хоть бы ты, Иван, написал матери-то, — время от времени говаривал прапорщик, как бы невзначай выкладывая на Иванову кровать готовые конверт и бумагу.

— Ак кто читать-то будет?.. — неизменно отвечал Иван. — Матерь-то слепая.

— Неужели некому?.. — щелкал языком Шейгус.

— Пьяные оне.

Иван вздыхал и, собравшись с силами, обыкновенно спрашивал напоследок:

— Ак не отпустят меня-то?..

— Нет... — мотал головой прапорщик, пряча глаза.

— Напишу, — подумав, говорил Иван.

Единственной Ивановой обязанностью, с которой он примирился, которую отправлял регулярно, было выходить на построения и поверки, чтобы, услышав свою фамилию и басовито выкрикнув «Я!», вернуться на прежнее место.

Его голос успокаивал всех, сержанты удовлетворенно курили, Шейгус бойко покрикивал на солдат — все понемногу привыкли к нему, к тому, что он есть, что это неизбежно, как старость, и непоправимо, как рождение детей.

И в самом деле — со стороны могло показаться, что в роте завелся ребенок, которого берегут, о котором пекутся, проделкам которого рады. Бережное это отношение понемногу передалось солдатам, и теперь все как-то особенно радовались, когда Ванька, помявшись в строю, пробросит свое шершавое «я».

Не радовался только Иван.

Он тосковал.

Худоба его, и прежде бросавшаяся в глаза, теперь сделалась невыносима, и когда он, стесняясь и краснея, то и дело обмахивая лицо, попросил у Шейгуса узенький, плотного брезента, солдатский ремешок, чтобы вдернуть его в сползающие штаны, Шейгус, чуть не плача, вместе с ремешком дал ему полкилограмма шоколадных конфет, банку драгоценной сгущенки и две банки тушеной говядины.

Иван поблагодарил и отказался. Есть ему не хотелось.

По воскресеньям построения случались чаще, чем в будни, командиры боялись, что солдаты разбегутся в самоволку или затеют что-нибудь вроде азартных игр или накалывания татуировок, которые считались в солдатской среде особым шиком, с которыми начальство вело непримиримую и безуспешную борьбу.

Вскоре после обеда, в половине второго, объявили построение, через четверть часа прапорщик начал выкликать.

— Рыков! — осторожно выкрикнул прапорщик.

Никто не отозвался.

— Рыков, мать твою!.. — словно предчувствуя неладное, выкрикнул он еще раз.

И снова тишина.

— Где Рыков?! — рявкнул он дневальному.

— Не знаю, — вздрогнув, отвечал тот.

Повисла пауза.

Раздувая ноздри, дико ворочая глазами, прапорщик оглядел строй, облизал губы, мотнул головой, и вдруг: «Искать, б...дь!!! Всем искать Ваньку!!!» — страшно заревел Шейгус.

Бросились искать.

Его нашли под вечер, на пыльном сухом чердаке.

Бледный и умиротворенный Ванька недвижно висел на низких стропилах. Тонкая шея была перехвачена узким брезентовым ремешком.

Дмитрий Веденяпин

## Описанья бессмысленны

\* \* \*

Автобус уехал, мы остались у входа в лес.  
 Было тихо, пахло цветами.  
 По шоссе процокал всадник — неужто без?  
 Так и есть! — улыбаясь плечами,  
 И пропал... И опять закружилось: чык-чык, фьють-фьють,  
 Зазвенело, ожило.  
 Мимо поля и луга идти было сорок минут,  
 Через лес — двадцать, тридцать от силы.  
 Мы пошли по шоссе мимо луга с далёкой козой.  
 Описанья бессмысленны — это понятно,  
 Как, допустим, Шаламов в Монтрё, а Набоков в СИЗО.  
 Завтра едем обратно.

\* \* \*

*It's a nice, warm evening*, — сказал Бернард  
 Хартли Питеру Вайни.  
 Автобус уехал; мы остались у входа в парк  
 В отсветах тайны.  
 Описанья бессмысленны — даже стручков  
 Акации, даже ступеней  
 В бликах, даже сучков  
 И задоринок, света и тени.  
 Это поразительные места:  
 Море, сосны...  
*That was the last bus home...* Деталь пуста —  
 Вывернись наизнанку, пока не поздно.

\* \* \*

Снег выпал и затих.  
 «Нет, весь я не умру»,  
 Немножко грустный стих  
 Кружится по двору...  
 Вот Лёва Бромберг, вот  
 Мы с ним хохочем, лёд  
 Блестит, и жизнь идёт...  
 Идёт, идёт и — ах,  
 И — оорс, и в ямку — бух!  
 Под фонарём в слезах  
 Над вымыслом из букв.

Виктор Коваль

## О вещи бесхозной

### Ветка

Пурпурно-алые яблоки, думаю, что — Джонатан,  
Скачут по лестнице вниз на «Отрадном».

Север. Серая ветка.

Эка печаль, что — побитые,  
На кольцевой — всё б раздавили!

Думаю,

Что же такое на «Бунинской» скачет «аллее»?  
Ясно — антоновка, жёлто-зелёная!

Серая ветка. Юг.

### Ёшкин кот

1. Скачет лягушка по нашей садовой дорожке,  
Ёжик за нею бежит, никак не успеет.  
Тут появляется Лакки (Lucky — удачник).  
Как чёрная молния, он настигает лягушку,  
Чуть придавив, отступает:  
«Ёжик, твой теперь ход!»

Ёжик — к лягушке. Но та  
Живо в тройном прыжке сиганула  
В кадку с водой дождевою и грязной посудой — плюх!  
Скрылась, как в омуте. Двух  
Теплокровных надула амфибия.  
Слава лягушке!

**Об авторе** | Виктор Станиславович Коваль — поэт, прозаик. Родился в Москве 29 сентября 1947 года. Закончил Московский полиграфический институт по специальности «художник-график». Автор двух поэтических книг: «Участок с Полифемом», (СПб., «Пушкинский фонд», 2000), «Мимо Риччи» («ОГИ», 2001). Стихи в «Знамени»: «Проверка зрения и слуха» (№ 12, 1999), «Личные песни об общей бездне» (№ 8, 2000), «Приключение» (№ 6, 2001), «БетУла пендУла» (№ 6, 2002). Проза: «Разговор о понятиях» (№ 6, 2006). Член Союза художников России, член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

Слава Лакки, коту,  
Вступившему с ёжиком чуждым в совместную ловлю  
Не ради корысти!

Гостю спасибо, ежу, за то, что уважил  
Мой садовый участок нашего общества «Дружба»!

Мне — не успевшему переоформить  
Право своё на собственность эту —  
Позор!

2. Трудно качаться на даче в своём гамаке,  
Если земля не заверена  
В Дмитрове нотариально.  
Если тут каждая яблоня шепчет:  
«Как же тебе не поздно!»

Впору сказать наконец:  
«Ёшкин кот!»  
И — двинуться в Дмитров

3. Двинулся только — но тут — ёшкин кот! —  
Вдруг ураган налетел!

Двенадцатибальный. Со шквалом.

Если бы Лакки совсем её придушил —  
Баллов было бы больше, и крышу, наверно, снесло,  
А так —  
В кадке вода обновилась, ну и посуда. И ладно.

Тучки небесные высохнут — двинемся снова:

Не унывая — как ёжик,  
С силой витальной — как у лягушки,  
Как Лакки — играючи!

4. В строгих словах о нелёгком труде садовода,  
Помнится, тщетно к земле меня приучал  
Папа, когда-то хозяин участка, участник  
Финской компании в тридцать девятом, а дальше —  
В танке проехавший через Европу — в Китай.

— Всё это — глупости, — так говорил недовольно  
Папа, когда я просил: — Расскажи про кукушек!

### **Направление**

Парень, видать с бодуна,  
В тамбур вбежал. Спросил у народа:  
«Верное ли это направление?»

Двери закрылись, вагон покатился.

Парень, подумав, с обидой сказал:  
«Нет, это неверное направление!»

Дескать, ну что же вы, люди, молчали?

А чего говорить?  
Если стоим и курим,  
Значит, уверены — верное!

### **Воробей**

К нам в электричку влетел воробей.  
Так же вылететь прочь ему уже невозможно.  
Не объяснишь ему: вот приоткрыто окошко.

Путь от «Морозок» до «Тимирязевки» — час  
Без малого.  
А с малым сим — совсем ничего.

То по вагону он в ужасе мечется,  
То он бесстрашно садится на плечи и головы.  
Юркий! Нет, не ухватишь такого!

Один ухватил. Крепко, но бережно.  
Резко бросил его (иначе — нельзя) в окошко — гуляй!  
Прямо навстречу идущему поезду.

— Юркий! — подумал вагон, — наверное, вырулил!

### **Зять**

Как-то в Свистухе мой зять захромал на левую ногу — артрит.  
С палочкой двинулся он за продуктом  
В ближний ларёк, где какая-то сука  
Хворую ногу ему искусала, собака.

Ибо с палкой пришёл, а у суки — щенки.  
Да и нечистый — тоже хромает на левую ногу.  
Не избежать тебе, зять, превентивной атаки,  
Если в деталях ты, зять, не продуман,

А в ближнем — всяко бывает. Свистуха!

Через неделю — крестился. Рядом, в Ильинском,  
Именно в день пророка Ильи. Ну, посмотрим

### **Вещь**

О вещи бесхозной я доложил шофёру маршрутки:  
— Там кто-то оставил портфель на заднем сиденье!

— Ты — первый увидел — и забирай его — ты!

### **Трубы**

— В доме стандартном, но сделанном наспех  
Ваши трубы по-своему согнуты и перекошены.

На всех этажах  
Нет и двух одинаковых! —  
Мастер сказал, установщик у нас водосчётчиков.

Ушёл, не установив.

Внешне — безликая типовуха,  
Внутри — труб личные судьбы.

### **Вектор**

Шолохов в лодке сидит поперёк людского потока.  
Пара гребков — и упрётся в ограду чугунную.  
Лучше б ему от «Кропоткинской» в сторону Гоголя  
Вдоль по бульвару свободно направить движение.

Нет, вектор к Сивцеву Вражку здесь тормознул.  
Отдыхает —  
Писатель,  
А вектор —  
Всё же стремится.  
Нет, не наедет.

Но мимо — как ни пройду — спотыкаюсь.

### **Закуска**

Он завязал.  
Но ему из Ростова прислали стерлядку.  
Он развязал. Зовёт Антонину:  
— Закуска такая, что жалко испортить! Придётся?

А ведь всего-то:  
Остренький носик и репутация.

### **Прохожий**

Каждый прохожий держится за ухо.  
Что, получил оплеуху?  
— Да! Это я! — говорит сам с собою. — Алё!

Сотовый, тысячный. Миллионный.

Александр Нилин  
**Линия Модильяни**  
мой ордынский роман

*«Модильяни везет Александр Павлович Нилин».*

Из письма Анны Ахматовой Николаю Харджиеву

1.

Хоккей тогда смотрели все — и даже Ордынка не всегда составляла исключение из нового обычая.

Правда, глава семьи именовал упорно игру «хаккэй», но, когда бы мы ни сидели за хоккеем на ардовской кухне, Виктор Ефимович — так ни разу и не взглянувший на телеэкран — спрашивал непременно (и заинтересованно): «Какой счет?».

Он и не старался запомнить фамилии игроков или названия команд — и тем не менее спрашивал: «Какой счет?».

В чью пользу, его уже не занимало.

(Так мне казалось.)

Я вижу теперь (а может быть, и тогда видел, но уж точно не понимал, зачем мне это знать) за интересом Ардова-старшего к хоккею на кухне некоторые особенности его характера. Более того, теперь я и некоторые особенности своего характера улавливаю — когда, достигнув лет Виктора Ефимовича Ардова, стараюсь, не вникая подробно в пристрастия молодых, тоже узнать: «Какой счет?».

Но мне совсем не все равно, в чью пользу.

Может быть, и старику Ардову было не все равно?

Виктор Ефимович в момент нашего с ним знакомства вплотную приблизился к пятидесяти семи, а мне — в данную минуту — шестьдесят девять (полных, как пишут в медицинских картах, тактично отодвигая следующую цифру) лет.

Надеюсь, что понимаю его сейчас правильнее, но мне легче на душе, когда я продолжаю смотреть на Ардовых теми же глазами, какими увидел их семью осенью пятьдесят седьмого.

**От автора** | Я родился в 1940 году. Дальше — не столь уж важно. Учился — и по сей день надеюсь, что учусь — у кого, где, чему — не всегда знаю. Но теперь уже смутно догадываюсь. Хотел бы как можно лучше распорядиться временем до следующей, тоже не зависящей от меня даты.

**Об авторе** | Александр Павлович Нилин — прозаик. Среди его книг — «Преждевременная звезда» (2000), «Последний классик» (2001), «Стрельцов. Человек без локтей» (2002), «XX век. Спорт» (2005). Живет в подмосковном Переделкине. В «Знамени» публикуется впервые.

Менее всего хочется менять хоть что-то в своем отношении к Ордынке как явлению московской жизни — ко всей семье Ардовых и каждому из семьи в отдельности.

Однако характер у меня не то чтобы портится (куда уж больше), но отчасти меняется, — и я все реже понимаю себя в прошедшем. И в моих воспоминаниях об Ардовых эгоизм боюсь что превалирует — я не столько Ардовых вспоминаю, сколько себя у Ардовых.

Из всего многого, о чем мы только не переговорили у телевизора с «хаккэ-ем» на экране, мне запомнилась реплика Анатолия Антоновича — дяди моих друзей, брата их мамы.

Вынужден уже в самом начале повествования прибегнуть к справочного характера объяснениям — без них, похоже, не обойтись.

Сам Виктор Ефимович смеясь рассказывал, как изумился забредший на Ордынку немец, услышав от него, кто есть кто из собравшихся у Ардовых за столом.

Немец не мог понять в буквальном переводе хозяина, что значит «второй муж первой жены» или «вторая жена первого мужа» — и так далее (за счет подобной номенклатуры и расширялась до бесконечности ардовская родня).

Для Ардовых бывших родственников не существовало.

Скажем, разводы и последующие женитьбы сыновей никак не исключали мирного существования внутри семьи Виктора Ефимовича и его жены Нины Антоновны Ольшевской старых и новых невесток.

Более того, новый муж первой жены их младшего сына Бориса — известный артист кино Игорь Старыгин — не только органично вошел в семью Ардовых, но и жил на ордынском дворе во флигеле, заняв Борину квартиру.

Ардовы любили родню (и мне жаль, что избранный мною формат повествования не позволяет мне перенаселять, как и было оно на самом деле, Ордынку — и подробно представить каждого из родственников).

Ардовы, повторяю, любили родню, но подшучивать ни над кем из нее не взбранялось. Даже, если круг бывал уж совсем узко семейным, — над знаменитым Алексеем Баталовым, — пасынком Виктора Ефимовича и сыном Нины Антоновны от брака с актером Художественного театра Владимиром Петровичем Баталовым.

Широкому читателю Алексей Владимирович Баталов наверняка особенно интересен — и, танцуя от печки такого рода интереса, представлю под марку Баталова, нарушив ожидаемую субординацию, его родного дядю по материнской линии — инженера Анатолия Антоновича Ольшевского, чья реплика, когда смотрели мы хоккей, навсегда, как это иногда бывает, застряла у меня в памяти.

Об Анатолии Антоновиче Ольшевском замечу, что в известном всей стране облике и, главное, пластике (свойственной красиво и ломко худым и при этом рослым людям) нашего самого долгознаменитого киноартиста Алексея Баталова я узнаю иногда черты его дяди по материнской линии.

Вместе с тем единоутробный брат моих друзей (Миши и Бори Ардовых) Алексей Владимирович похож и на своего папу, Владимира Петровича.

Я и Владимира Петровича Баталова — любимого помрежа Станиславского (и родного брата Николая Баталова из «Путевки в жизнь») застал на Ордынке, — он заходил туда не так уж часто, но в доме считался своим.

Имел удовольствие вместе с ним смотреть в Художественном театре спектакль, где двоюродная сестра Алексея Владимировича Светлана Николаевна Баталова играла медсестру в белом халате — и по сюжету ставила укол главному герою пьесы.

Главный герой — академик и депутат — совсем уж неважно себя чувствует. Собственно говоря, ближе к завершению спектакля он и вообще должен умереть. Но перед смертью успевает — в чем и весь смысл (если можно считать это смыслом) пьесы — произнести длиннющий монолог, в котором и сообщает зрителям, что все накопленные им знания остаются людям (пьеса так и называлась — «Все остается людям»), по ней и фильм был снят, где академика играл знаменитый Черкасов, но и у нас во МХАТе роль героя исполнял очень хороший — и тоже народный СССР — артист Василий Александрович Орлов). Задачей изображаемой Светой Баталовой медсестры было поддержать в больном ученом своим уколом последние силы, необходимые ему для монолога.

Пьеса, если кто не знает, скажу, примечательна бывает не словами, которые всем актерам тяжело заучивать, а теми положениями, в которых актеры оказываются. В сегодняшнем театре эту сцену раздраконили бы так, что роль для Светланы смотрелась бы наиболее выигрышной, а сам эпизод — пулевым.

Академик обязательно — под смех и аплодисменты публики — снял бы по-настоящему штаны. Современный режиссер из уважения к себе обязательно выстроил бы мизансцену так, чтобы голая попочка великого ученого оказалась у самой рампы, а уж более тонко эстетически подкованный постановщик прибрег бы и к гомосексуальным аллюзиям.

Но в тогдашнем реалистическом (и пуританском) Художественном театре о возможности такого решения никто и не подозревал. Укол подавался с мейерхольдовской (но без аттракциона) условностью, дабы не отвлекать зрителя от сентенций больного — и белый халат медсестры мелькнул на самом заднем (пардон) плане.

Допускаю, что и Ермолова вряд ли проявила бы себя в такой ролишке талантливее нашей родственницы Светы.

Но Владимир Петрович сказал мне в антракте, что ему все время, пока шел эпизод, хотелось выйти на сцену — и немедленно задушить племянницу за бездарность (представляете, что было бы с отцом Алексея, сыграв Светлана неудачно Дездемону, — слава Богу, что в послевоенном МХАТе главных ролей молодым не поручали да и вообще не ставили столь серьезных пьес, как «Отелло»).

Вот такие требования к искусству были у папы народного артиста; сам Владимир Петрович был менее удачлив, чем брат и сын, но МХАТ, на который у него накопилось обид, званием заслуженного ошастливил и его, уравнивая титулом с рано умершим Николаем.

Высокие требования — причем ко всему на свете — отличали и Анатолия Антоновича, чья сестра в первом браке жила замужем за Владимиром Баталовым.

Откуда-то мне известны некоторые трагикомические эпизоды из эротической жизни Анатолия Антоновича.

Однажды дядя моих друзей отправился в поисках любовного уединения с дамой на пустой по осеннему времени спортивный стадион, вид на который соблазнительно открывался из окон близлежащего дома — и один любознательный жилец, пожелавший рассмотреть все подробности сексуального акта, высунулся из своего окна — настолько, что выпал и разбился насмерть.

В другом эпизоде рисковал своим здоровьем — опять же ради, как теперь бы дежурно сказали, секса — сам любимец женщин Анатолий Антонович.

Дело происходило на фронте — и ложем любви для баловников стал кузов мчащегося (надеюсь, что в бой) «студебеккера». Военная дорога не слишком приспособлена для любовных свиданий — и на одном из крутых ухабов соитие неожиданно прервалось, служивший не в авиации наш дядя взлетел в прифрон-

товое небо — последовавшее приземление смогло доставить храброму офицеру исключительно мазохистское удовольствие.

Я, кажется, увлекся — худая, пусть и высокая дядина фигура грозит отвлечь нас от моих друзей с их уважаемыми родителями.

Но, чтобы завершить рассказ про бедового Анатолия Антоновича, приведу наконец его реплику, произнесенную в разгар хоккейного матча.

Дядя выразил озабоченность тем, что у нас зачастую смотрят хоккей граждане, никогда не встававшие на коньки, — Анатолий Антонович сомневался, доходят ли до них в таком случае нюансы такой сложной игры. «Я-то хожу на коньках очень прилично, — заверил нас дядя, — и мне в хоккее как раз все понятно».

Сразу же после хоккея мы вышли с Борей в соседний двор, чтобы сделать по глотку вина на свежем воздухе — термин «глоток» заимствую у Ахматовой, Анна Андреевна как-то насмешила меня вопросом: «Не хотите ли, Саша, глоток вина?».

К беседе, куда мы несли вино, просто невозможно было подобраться из-за гололеда — и я предположил, что выпивать в подобных условиях всего сподручнее было бы Анатолию Антоновичу либо Альметову — славному хоккеисту того времени (я с ним тоже был знаком и рассказывал про него Борису).

Моя жизнь по-настоящему — в избранном мною — навсегда ли, утверждать рано (что-то же и в моем возрасте рано) — сюжете началась на Большой Ордынке.

Сложись она вовсе без Ардовых, я бы мог стать другим — лучше ли, хуже, кто теперь со всей очевидностью скажет (кому, вернее, теперь интересно: лучше или хуже).

Но сам я уже с трудом вспоминаю себя доордынским — доардовским.

Конечно, что-то же со мною примечательное происходило, и был же я кем-то до встречи с Ардовыми.

А то зачем бы я Ордынке?

Ордынка (в ардовской ее интерпретации) привечала многих, порой и слишком многих. Но не каждого.

Хотите, считайте нашу встречу судьбой, хотите — совпадением. За долгую жизнь я перестал различать грань между совпадением и судьбой.

«Всежки», как произносил вместо «все ж таки» наш с Борей наставник Вениамин Захарович Радомысленский, есть и совпадение, и судьба в том, что очень скоро после начала нашей совместной с младшим сыном Виктора Ефимовича учебы в Школе-студии МХАТ семья Нилиных переехала с Беговой в Лаврушинский переулок, и жить я стал по соседству с Ардовыми.

А дали бы отцу квартиру на Ломоносовском проспекте, куда шло основное поселение-переселение писателей, — и не жили бы мы с Борисом рядом, не возвращались бы с вечерних занятий вместе пешком по Горького, через Красную площадь, не всходили бы на мост через Москва-реку, — неизвестно еще, как бы все и сложилось в моих отношениях с ним и с Ордынкой.

Раз уж вспомнил директора Школы-студии, скажу заодно слова моей ему благодарности — без Радомысленского не получить бы мне высшего образования.

Конечно, с моими школьными отметками глупо бы и пробовать поступать в какой-либо институт. Когда уже в университете декану факультета журналистики Элеоноре Анатольевне Лазаревич (все теперь помнят только Засурского, а про нее забыли, но я-то ее помню и люблю) попал каким-то образом в руки мой аттестат, то чуть не пришлось вызывать на Моховую «скорую помощь». Но выгонять меня было поздно — и, в общем, не за что: курсу к четвертому я к занятиям привык и даже получал повышенную стипендию.

В Школу-студию поступали ребята с аттестатами не лучше моего. Боря Ардов доучивался в школе рабочей молодежи — на дневную времени не выбралось (притом что Борис на заводе — и вообще нигде — не работал). Перед Борей, однако, был пример старшего брата Алексея. Алеша из-за войны — в Бугульме он помогал маме организовывать театр (теперь имени Алексея Баталова) — от школы отбился.

По семейной легенде, Виктор Ефимович аттестат Баталову купил на базаре — и сам его заполнил. Вместо учебы в девятом классе пасынок Ардова пошел на экзамен в Школу-студию (с того момента и, мне показалось, до самой смерти Виктора Ефимовича в семьдесят шестом говорил, когда оказывался в трудных обстоятельствах: «Виктор мне это устроит»). Но тетя Лена Нарбекова (одна из самых любимых мною в ардовской родне), Алешина сверстница, уточняет легенду подробно: что усилий Виктора Ефимовича по изготовлению фальшивого аттестата оказалось недостаточно — и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова ездила хлопотать за племянника Николая Баталова к Ворошилову.

В Школе-студии мои слабые академические успехи по первым семестрам дирекцию не волновали. Но когда на втором курсе на меня ополчились буквально все педагоги, Вениамин Захарович насторожился. Меня, правда, пытались спасти Кедров, Ефремов и Виленкин, друживший тогда с Ефремовым (меня тогда мало знал). Но их аргументы в защиту звучали для директора неубедительно — ходатаям было просто жаль меня, уверенности в моем артистическом будущем не было и у них. Я спросил у Ефремова: «Может быть, мне самому уйти, раз все меня ругают?». Ефремов был не в настроении: «Ну если ты спрашиваешь, уходи!». Позднее он спокойно объяснял мне, что в актерах никто никого не удерживает. Засомневался в себе, сам и решай — быть тебе здесь или не быть.

И я пошел к Радомысленскому. Он спросил: «А куда же ты, дружок, пойдешь?». Я ответил, что собираюсь в Институт кинематографии. На самом деле я никуда не собирался — был в растерянности, что делать.

Директору мысль о ВГИКе почему-то понравилась. Он только поинтересовался: «Но, надеюсь, ты на режиссерский факультет идешь, не на актерский?». И выдал мне специальную бумагу — напечатанное на бланке Школы-студии обязательство Министерству высшего образования, что оторвет от себя штатную единицу учебному заведению, которое согласится взять меня к себе переводом.

С Институтом кинематографии — из-за пьяной глупости моей (сначала) и нетерпения (потом) — не выгорело.

А с факультетом журналистики МГУ, куда мне совершенно не хотелось поступать, получилось.

И вот теперь я козыряю университетским образованием.

Кем бы я, интересно, стал без Вениамина Захаровича, Царствие ему Небесное?

Мне это еще и потому приятно вспомнить, что опрометчивых решений наш директор не любил.

Нам рассказывали про случай с ним, когда он служил в чине капитана третьего ранга начальником Театра Северного флота, носил на боку кортик, — он и появился, по преданиям, впервые в Школе-студии в форме. Номер во флотской гостинице делил с ним поэт Сергей Островой, прикомандированный к газете. Ночью — тем более что стояли белые ночи — Островой, как поэту и положено, не спал, сочинял стихи. И увидел из окна, как поднимается на сопку член военного совета, контр-адмирал, — и катит в горку велосипед. Поднялся на сопку — и съехал. Снова поднялся — и снова съехал. Островой увиденную сцену досуга флотоводца немедленно переложил на стихи. И не мог дожидаться утра, чтобы поскорее прочесть новое стихотворение редактору газеты...

К пробуждению Вениамина Захаровича поэт уже вернулся из редакции буквально в слезах — стихи к печати не приняли. Он бросился за утешением к Радомысленскому. Но тот, внимательнейшим образом изучив текст, резюмировал: «Они правы. Ты, Сергей, недооцениваешь роль командующего. Ну вот что ты пишешь: “И ведя велосипед, член военного совета сам с собой ведет совет”. Плохо. Что значит сам с собой? А командующий флотом?».

Я знал театральный мир больше понаслышке (и книгам, конечно, я много слишком книг прочитал о театре), а Боря происходил из актерской среды (мама — актриса и режиссер, папа — эстрадный автор, сам читающий свои юморески со сцены). Вся Москва в афишах фильма «Летят журавли», и с них смотрел на столицу Баталов, а столица (как и вся страна, сто миллионов советских женщин, по выражению Ахматовой) смотрела на Баталова.

Когда в те дни Виктор Ефимович спустился на подвальный этаж нашего дома на Лаврушинском, куда поместили управление авторских прав, всех радостней его приветствовал юрисконсульт. Он напомнил Ардову-старшему, что тот приходил в свое время к ним в школу, где в одном классе с будущим юрисконсультом учился и ардовский пасынок Баталов. Из вежливости юрисконсульт поинтересовался, как сложилась дальнейшая судьба пасынка. Отчим был, разумеется, изумлен вопросом — вся же страна знала, как... Но тут выяснилось, что юрисконсульт никак не связывал своего однокашника-двоечника с тем знаменитым Баталовым из кино.

Борис каким-то образом сориентирован был на лидерство среди сокурсников, а я скорее обречен на аутсайдерство — слишком уж чужеродно выглядел я в театральном вузе. (Свидетелей моего успеха на вступительных экзаменах среди однокурсников почти не было — я экзаменовался в осеннем потоке, когда курс в основном был набран.)

До сих пор чувствую себя виноватым перед Борей за то, что наша с ним окрепшая к зиме дружба отвлекала его от общения с теми, кто в дальнейшем сделались заметными артистами. Могло бы и Борису найтись место в их, отчасти и во время студенчества сложившейся, стае (но и не наверняка, будем объективны, шанс ему давался, он им плохо воспользовался). Главная наша жизнь — притом что в Школе-студии мы проводили целый день, с утра и до вечера, дружили не только с однокурсниками, но и со многими из старших студентов, — «всежки» протекала на Ордынке.

К Ордынке — с Ахматовой, с Баталовым — влекло, судя по их позднейшим воспоминаниям, большинство наших однокурсников.

Правда, и Ахматова, и Баталов бывали на Ордынке наездами — и Борины гости не всегда их заставляли. Приходилось потом фантазировать, что простиительно. На самой-то Ордынке они бывали — и где бы еще увидели таких людей, как Виктор Ефимович и Нина Антоновна?

Я же приходил на Ордынку ежедневно — с утра заходил за Борей, чтобы идти на занятия, а по вечерам, когда возвращались с уроков, не всегда торопился домой...

Думаю, что благодаря своей негаданной укорененности на Ордынке, приобретенным там навыкам в разговорах я занял к первой своей в Школе-студии МХАТ зиме вряд ли положенное мне по весьма скромным успехам место.

Держался с почти такой же — временами — свободой, как Борис. Хотя не умел рисовать (а он рисовал прекрасно), не умел смешно изображать окружающих, не умел рассказывать анекдоты (да и не знал я их никогда в таком множестве, в каком обрушили их на меня Ардовы).

Я бы сказал, что на Ордынке меня в первую очередь приняли младшие.

Но в доме Ардовых возрастная иерархия была размытее, чем в какой-либо из семей, мне по сегодня известных, — и, странное дело, я, при всей мешающей мне иногда и сегодня скованности в начале знакомства с новыми людьми, проявлялся в разговорах с Виктором Ефимовичем и Ниной Антоновной смелее и откровеннее, чем у себя дома, хотя вроде бы и со своими родителями оставался в доверительных отношениях.

И в доме у Ардовых все — а не только я — чувствовали себя свободнее, чем где бы то ни было.

Отец мой в ту пору переживал свой первый — и единственный — примечательный успех: зимой пятьдесят седьмого года он вызывал к себе интерес, казавшийся нам, его семье, всеобщим.

Но вряд ли отцовский успех до такой уж степени сказывался на приеме, оказанном мне на Ордынке.

Ардовых не удивить было громкими именами — с мальчиками Ардовыми дружили дети знаменитостей. Максима, например, Шостаковича — очень, к тому же, располагавшего к себе разными талантами юношу — любили и привечали на Ордынке как младшие, так и старшие.

Максим как-то в Коктебеле мне признался, что очень противился моему проникновению в компанию, сложившуюся у них года за два до моего появления на Ордынке. Но ему пришлось постепенно сдаться и примириться с моим присутствием — не хотелось Максиму огорчать привыкшего ко мне Бориса.

По утрам, пока Борис — с завидной для меня легкостью и медлительностью — собирался на занятия, я беседовал с Мишей, студентом редакторского отделения факультета журналистики МГУ. Почему-то он в свой университет никогда не торопился, ко времени моего прихода обычно еще и не вставал с постели.

С Мишей — он был старше брата и меня на три года — я говорил обычно на другие, чем привык с Борисом, темы. И шел в этих разговорах, как учили нас во МХАТе, от партнера. Миша тоже не умел рисовать и не намного лучше меня мог в лицах изобразить кого-либо, но в разговоре он выглядел сильнее и Бори, и меня, был более прицелен в той насмешливости, которая и Борю отличала, интенсивнее в подборе точных слов, убийственнее в иронии оценок, быстрее (а то и слишком, на мой слух, быстро) думал, но и вместе с тем, как вскоре понял я, был дипломатичнее.

Не оттого ли мне это показалось, что, рассуждая по-взрослому, он в разговорах со взрослыми выглядел почти на равных — и умел говорить, как они, а я часто попадал впросак, выражаясь для нетерпеливых взрослых слишком уж путанно, по-детски.

Чувство юмора — разобрался я позднее — оказывалось у Миши именно чувством, вступающим в противоречие с бродившими в нем страстями, не всегда на злой язык юмора переводимыми, — и оттого в Мишином веселом взгляде я прочитывал (сейчас прочитываю реже) и неизъяснимое страдание. Теперь я считаю, что он и чувствовал слишком быстро — и смирить нетерпение удалось ему не сразу. Но удалось.

Уважение к признанным художественным авторитетам и миру устоявшихся ценностей (и правил) проявлялось у Миши отчетливее и чаще, чем у Бориса (все же более тогда информированного, чем я), — особенно у раннего, не узнавшего еще чувствительных неудач.

Не знаю, дано ли мне право судить Бориса, ушедшего раньше, но на всей его не сложившейся так, как обещало начало биографии, судьбе сказались, на мой взгляд, драмы личной жизни, которых он сам для себя честно не квалифи-

цировал. Остальным же дела не было до частных проблем красавца и любимца женщин, чьих трудностей никто, да и сам он, не собирался замечать.

Он казался — и мне тоже — созданным если не для легкой жизни, то уж совсем не для жизни неудачника, которым он долго-долго не соглашался себя считать — и может быть, так и не согласился, чему я могу только позавидовать.

Миша, на мой взгляд, бывал смелее в суждениях. (Хотя в его суждениях я иногда и чувствовал хорошо усвоенное, хорошо, я бы сказал, прочитанное.)

Но у Бори в такого рода суждениях и не возникало потребности.

И меня поначалу Борино незнание привлекало большей независимостью, чем Мишина эрудиция, тогда особенно выделявшая его среди нас.

Борис — возможно, из чувства самосохранения (он интуитивно берег свой внутренний покой, что удавалось ему, однако, до поры) — и не старался расширить круг знаний. Он не сомневался — и по-своему был прав — в своей способности попадать совершенно органично в тон разговора со всяким собеседником, всегда без напряжения улавливая, о чем идет речь; и в тех, не поверите, случаях, когда за минуту до того и приблизительного понятия не имел о предмете разговора. Это — в гораздо меньшей степени и с меньшей органикой в применении — есть и у меня.

Наверное, эта общая наша с Борей особенность и помогала мне в занимательных беседах с Михаилом по утрам.

Я и сегодня приверженец исчезнувшего МХАТа (Камергерский переулок — любимое место мое в Москве) — не судьба ли моя быть приверженцем навсегда исчезнувшего? Но с первых же дней занятий в Школе-студии дежурный пафос в будничных отношениях нашего учебного заведения с угасающим театром не соответствовал тем чувствам, с которыми я туда стремился.

И так получалось, что, развлекая Михаила, я вовсю иронизировал над принятой апологетикой МХАТа — красиво ее *лажал*, как перевел мои высказывания на сленг Миша, которого я позабыл. Миша перенял у Виктора Ефимовича умение слышать смешное, а не только шутить самому. Кроме того, мои наскоки оказывались более чем кстати в семье, где у Нины Антоновны были свои обиды на Камергерский, а Виктор Ефимович вообще тяготел ко все еще (и в пятьдесят седьмом) не вполне восстановленному в правах великому Мейерхольду, с которым был к тому же и знаком.

Однажды я рассказал Ардову-старшему, что встретил на улице Горького бывавшего на Ордынке саратовского эстрадника Горелика — и он меня узнал, ответил на мой поклон. Виктор Ефимович рассмеялся: «Это что! Я был еще моложе тебя — и тоже шел по Тверской. А мне навстречу — Мейерхольд. И он — не я с ним, а он со мной — поздоровался. Я долго ломал голову: зачем ему было здороваться с каким-то мальчишкой? И только узнав Всеволода Эмильевича поближе, понял, в чем дело. Мейерхольд по всему складу своему был вождем. Заметив мой восторженный взгляд, он мгновенно понял, что осчастливит сейчас этого юнца своим приветствием — и тот по гроб жизни будет помнить широту демократичного Мейерхольда».

Красавице Нине Антоновне я первоначально нравился меньше остальных товарищей Бори и Миши: уже упомянутого Максима или Андрюши Кучаева.

Но моего существования на Ордынке это не омрачило и не усложнило.

Нина Антоновна умела вдруг и озадачить разбежавшихся на ордынский огонек неприятных ей людей застывшим — в не ожидаемой гостем от нее строгости — выражением лица. Я не сразу после своей (менее артистичной) семьи привык к приподнято-преувеличенной фразировке речи и четкости театрального жеста (и в тех случаях, когда такой жест по бытовому уровню разговора необходим не был), но очень скоро догадался, что резковатая до грубости —

впрочем, обаятельной — мама моих новых друзей добра по-настоящему и по-настоящему участлива.

Позднее я понял, что Нина Антоновна еще и терпелива необыкновенно (недаром же Ахматову восхищала ее стойкость перед жизнью).

Боря унаследовал от матери терпение, что скорее повредило ему, чем могло, — в его случае терпение бывало и неотличимым от нерешительности, слабохарактерности.

Нина Антоновна заметила расположение ко мне сыновей — и в общем приняла меня таким, каким я был в свои семнадцать лет, — очень далеким от ее представлений о мужской привлекательности (в ее глазах я очень проигрывал внешне почти всем молодым людям, к ним приходившим). Однажды даже поделилась — при мне — с Анной Андреевной своим сочувственным удивлением неправильными, по ее мнению, чертами моего лица. Но Ахматова меня защитила — и с такой поддержкой можно было жить.

Впрочем, теперь уже не так, наверное, и важно, которая из дам была более права.

Тем не менее ведь вспомнилось через столько лет...

Виктора Ефимовича моя внешность тоже забавляла — и хотя никто из русских классиков не защитил меня от его насмешек, я их как-то легче, чем по моей обидчивости можно было ожидать, перенес. Затрудняюсь и сейчас сказать, так ли Ардов-старший был добр, как Нина Антоновна. Но Виктор Ефимович бывал сентиментален, — помню, как плакал он на спектакле в «Современнике» с участием Бориса, плакал от сознания, что сын вышел на сцену ставшего уже знаменитым театра. Конечно, такая реакция могла быть и возрастной. С годами и в себе замечаю сентиментальность.

Как требовательный слушатель Ардов воспитывал и в нас рассказчиков. Любой рассказ он слушал с нетерпением (узнать, что дальше), подхлестывая — «ну», понукал он, «ну»... «ну»... «говно» — резюмировал: «история»... Зато, если рассказ ему нравился, он не скрывал изумления, говорил (протяжно почему-то): «Ты шу-у-у-тишь!».

Ардовы не то чтобы удержали меня от стремления идти в актеры — хотя Виктор Ефимович отговаривал от актерства до огорчения убедительно, — скорее отвлекли.

Они, как смело я могу сказать сегодня (массу разочарований в себе и других пережив), заменили мне образом своей жизни на Ордынке театр — со всем (кроме славы), что искал в нем я, семнадцатилетний.

Годы и годы я надеялся, что напишу про Ордынку в бальзаковском роде роман из нескольких книг, где и Боре, и Мише, и Алексею, не ставшему за полвека нашего знакомства ни дальше и ни ближе мне, чем при первой встрече (но, тем не менее, и о нем, поскольку занимала меня его от Ордынки отдельность, им, уверен, и обретенная на Ордынке, где так любил его отчим, а он — отчима), и, конечно, Нине Антоновне с Виктором Ефимовичем посвятил бы по книге.

Но слишком уж долго размышлял-собирался — и времени на такой роман у меня не осталось...

Или, может быть, лучше — пьеса?

По-моему, невозможность сочинения пьесы про Ордынку (с Ардовыми — действующими лицами) вызвана тем, что я с первого дня у них дома воспринимал их жизнь уже готовой пьесой или, лучше сказать, поставленным кем-то спектаклем, а не частью течения общей жизни. В реальной жизни вокруг я за первые «сезоны» у Ардовых очень многое упустил, — это и до сих пор сказывается.

Но я не жалею. Вот сию минуту твердо могу сказать, что — не жалею. Иногда зову — знать бы кого? А если плачу, то разве что когда один остаюсь — никто не увидит.

Иной бы записал на всякий случай эту жизнь с натуры. Но я-то, когда гостевал на Ордынке, от попыток сочинительства еще очень был далек — и в реальной пьесе «Ардовы» надеялся сыграть одну из центральных ролей, завышая самооценку, что в молодости неплохо. В старости тем более не помешает.

Пьес про Ардовых и про Ордынку и никто другой не сочинил. Но оставлена масса свидетельств — и я не нахожу в них того, что, казалось бы, сам видел (или «всежки» чувствовал, только чувствовал?)...

У Ардовых была небольшая, но удачно спланированная квартира из четырех комнат.

Самая большая из комнат — столовая — окнами выходила во двор с гаражами (в одном из которых держал Алеша свою машину, где бы он потом ни жил).

Столовая (когда пустовала) и напоминала мне сцену.

Комната детей — Миши с Борей — отодвигалась вглубь квартиры довольно длинным для некоммуналки коридором. До ремонта дверь из коридора выводила прямо в столовую. Дверь занавешивалась зеленой, надвое раздвигавшейся портьерой. И выходом через эту портьеру компенсировалось так и не доставшееся мне ощущение выхода на большую сцену.

А за кулисами — в детской — я готовился к выступлениям и на иного рода подмостках.

Самая большая комната в квартире Ардовых все равно и осталась для меня сценой, — когда снится (иногда и наяву, — что как не сны наяву наши воспоминания?) Большая Ордынка, большая (вне зависимости от количества квадратных метров) квартира, и никто внутри сна моего не умер. Во сне мы все заявлены, действуем на равных, живые и мертвые, как в романе Симонова про войну, — и разветвленный сюжет отношений наших длится.

И реальность — теперь уже только сна — единственная реальность, в которой я не хочу усомниться.

Вспоминания об Ордынке в связи с многолетним постоем у Ардовых Анны Андреевны превратились в общее место, и я от своего личного мемуарного штришка временно воздержусь.

Удержусь от соблазна мизансценировать эпизоды на ардовской комнатной (по жанру, а не по исторической ретроспективе) сцене, отталкиваясь от фигуры Ахматовой в лиловом халате, широко занявшей диван, вмещенный между стеной с круглым зеркалом и столом, — зеркало остается у нее за спиной; но есть и другой вариант отражения — портрет Анны Андреевны работы Баталова, написанный маслом в пору увлечения Алексея живописью.

Моя мизансцена строится сейчас вокруг Виктора Ефимовича Ардова, занимавшего кресло во главе стола, — по правую руку телефон, поставленный для удобства на приступочку высокого трюмо.

В первой попытке организации музея на Ордынке табличка на двери в квартиру, сделанная от руки, анонсировала: «Музей Ардова и Ахматовой».

Она царапнула меня сначала бестактностью. Но в следующую минуту я понял, что все декларировано правильно.

Это не музей *поэта* (по принятой литературной иерархии).

Это музей быта.

И хозяин такого дома важнее для внутреннего сюжета, чем любой величины гость.

Когда Виктора Ефимовича не стало, не стало и дома в прежнем понимании. Народ сюда по-прежнему тянулся — и Борино гостеприимство, которому Нина Антоновна, конечно же, способствовала, возможно, не уступало (а то и превосходило за счет Бориных кулинарных способностей) отцовскому. Но что-то главное — ритуальное — пропало.

С красиво старевшей Ниной Антоновной наши отношения улучшались — она привыкла ко мне за прошедшие годы, и мы чаще с ней разговаривали. Повзрослев, я глубже проникся ее судьбой.

С Виктором Ефимовичем в его последние годы взаимопонимание, наоборот, исчезло — он, по-моему, беспричинно сердился на меня — и я старался реже попадаться ему на глаза. (Сейчас вдруг всей кожей почувствовал одиночество Ардова. Каким оно бывает — я теперь знаю — в неизлечимой болезни, когда раздражение трудно сдерживать, а выплеск раздражения, наоборот, приносит облегчение.)

Но почему я должен задерживать в памяти неприятное — это, кстати, и не по-ардовски, не по-ордынски, — а не вспомнить дни доверия и откровенности со стороны Ардова-старшего?

Алексей жил в Ленинграде — и талоны на получение продовольственного заказа по сниженным для номенклатуры (Баталова ввели в коллегия Госкино) ценам оставил в Москве маме и отчиму. И вот однажды Виктор Ефимович позвал меня съездить вместе с ним за Алешиным заказом. Я предложил, что съезжу и один — от Ордынки до Дома на набережной, где заказы выдавались, два шага. Но Ардов велел мне взять на кухне большую корзину, и мы двинулись вдвоем за дефицитными харчами.

У Виктора Ефимовича был диабет, и сладкое ему запрещалось категорически. Поэтому первое пирожное из заказа он съел прямо в Доме правительства. Второе — в такси. А когда такси свернуло на Ордынку, Ардов велел остановить машину. Мы пошли пешком — и он получил возможность съесть третье.

Сладкое располагает к исповедальности. И на оставшемся до дома пути Виктор Ефимович рассказал мне о своей любви к одной молодой даме — дочери знаменитого певца, ровесника Ардова.

Клянусь вам, меня в рассказе не возраст рассказчика удивил.

Удивил поворот темы.

О женщинах мы не раз и не два беседовали с Виктором Ефимовичем на Ордынке. Он вроде бы наставлял нас. Но мне, романтическому молодому человеку, рассуждения старшего товарища не нравились. Женщины в ардовских рассуждениях выглядели слишком уж элементарными. К сожалению, сейчас, когда мне уже больше лет, чем Виктору Ефимовичу в ту минуту его откровенности со мной, тащившим корзину вкусной еды, и я кое в чем — кое в чем — с ним почти согласен.

А тогда он сказал: «У меня такая любовь, Сашка, что все остальное кажется ерундой».

Что было со всеми нами потом?

То и было, что со всеми бывает.

Но не у всех оставалась за плечами та Ордынка, где на вопрос, со временем вытеснивший остальные гвоздевые вопросы дня, — «Какой счет?» — еще так легко было отвечать, что в нашу пользу.

В чью же еще?

## 2.

«В зеленой лапше травы», — подумал я, взглянув на стоптанные ботинки Олеси, словами, которые вполне бы мог и у него прочесть. Но тогда я еще ни

строчки из сочинений Юрия Карловича не прочел. Не слышал даже про сказку «Три толстяка».

С того дня прошла моя — совсем уж не короткая — жизнь.

Тогда, летом сорок девятого года, она простиралась от околицы леса и до самого, заслоненного, казалось, лишь соснами и елками горизонта.

Летом сорок девятого года на участке у соседей Петровых, семь лет как потерявших на войне главу семьи — Евгения Петрова, того, кто вместе с Ильей Ильфом сочинил «Двенадцать стульев» и «Золотого телят», — стоял на коротковатых ногах большеголовый человек.

Соседский мальчик Илья (сын не Ильфа — Петрова) сказал мне про него: «Дядя Юра играл в футбол за сборную Одессы».

А дядя Юра, о чем-то задумавшись, молчал.

Так я впервые увидел Олешу.

Мне должно было скоро исполниться девять лет, Илье стукнуло уже одиннадцать.

Мои ранние мысли о футболе напрямую ассоциируются с дачным Переделкином, где увлекся я этой игрой отчасти под влиянием Ильи Петрова. Сейчас понимаю, что его старший брат Петя — тогда студент Института кинематографии — ходил, наверное, на футбол еще до войны. С отцом, известным писателем.

Петя болел за «Спартак» — и младший брат, конечно, тоже.

До сих пор помню крик его на весь дачный поселок: «Спартак» на Кубок выиграл!».

Не «Кубок» он орал, а «на Кубок».

В моей семье никто футболом не интересовался.

Отец с детства предостерегал меня от слепого подражания — и сам никому не подражал. Поэтому я не стал болеть за «Спартак», как все свободомыслящие люди. Я стал болеть за клуб Армии.

Но меня притягивала не принадлежность футбольной команды к армии (что после войны было более чем естественным) — меня притягивала звучность аббревиатуры: ЦДКА. В смысл названия — Центральный клуб Красной армии — я тогда и не вдумывался (возможно, в душе я бескорыстный филолог — на филологический факультет меня бы никогда не приняли, да я и не знал до поступления на журналистику, что такой факультет у нас на третьем этаже существует, пока не увидел во дворе девушек-филологинь).

Илья увлекался футболом и в дальнейшем. Однажды на Ордынке Ахматова при нем произнесла, разговаривая с кем-то по телефону: «Меня навестил Шток. С ним был его свояк — Старостин».

Илья тут же отбросил журнал, который от скуки листал, не обращая на Анну Андреевну никакого внимания, — он часто бывал у Ардовых, привык к ее присутствию и к тому же, даром что назван был в честь Ильфа, литературой не интересовался, только музыкой, Гнесинское училище заканчивал.

Он воскликнул возбужденно-вопросительно, словно не доверял словам Ахматовой: «Вы знакомы со Старостиным?!». Анна Андреевна прокомментировала потом возбуждение Ильи следующим образом: «Если раньше Илья относился ко мне, как жук к задвижке, то, узнав про знакомство со Старостиным, обратил наконец на меня свое благосклонное внимание».

Юрий Карлович Олеша был влюблен в Ильюшину и Петину маму Валентину Леонтьевну. Она у него в романе «Зависть» — та трепетная Валя, которая прошумела мимо Кавалерова (альтер эго автора), «как ветвь, полная цветов и листьев».

Он любил ее в молодости — знаменитым писателем, любил и пьяным, элегантно неряшливым стариком.

Олеша был ровесником века. Не могу лишиться себя удовольствия и не привести длинной цитаты: «Ты был ровесником века. Помнишь? Блерио перелетел через Ла-Манш? Теперь я отстал, смотри, как я отстал, я семеню — толстяк на коротких ножках... Смотри, как мне трудно бежать, но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги, — бегу за гремящей бурей века».

Он умер сразу после шестидесятилетия, но мы были слишком намного моложе — и от впечатления старости Юрия Карловича я и в собственные почти семьдесят никак не могу отделаться.

Олеша вел себя по-иному, чем остальные обитатели писательского дома на Лаврушинском. Стрельнув трешку-пятерку у соседа или у тех, кто получал в дни выплат деньги в подвальчике управления авторских прав, он не чувствовал себя униженным (круглосуточно помнил, что он — Олеша).

Ему в том подвальчике и получать было нечего — пьесы не шли, как не переиздавались и книги (Ильфа и Петрова, кстати, тоже до смерти Сталина не переиздавали).

Но каждый из стоявших в очереди мог испытывать только неловкость перед Олешей — это он, ныне высокопарно изъясняющийся нищий, сочинил книги, какие им не сочинить при всех заработках.

Возможно, я несколько идеализирую сейчас писателей из той очереди.

Незадолго до смерти Юрия Карловича мы с Борей Ардовым встретили его на Пятницкой, — точнее, мы увидели Олешу во дворе возле продовольственного магазина. Он сдавал в пункт приема порожнюю посуду.

Мы с Борисом выросли в писательских семьях — и про безденежье, настаивающее время от времени пишущих, но не издающихся, знали не понаслышке.

К Олеше мы всегда были преисполнены уважения. Борис читал меньше, еще меньше, чем я, но в нем чувство личной причастности к мировой культуре заложено было все же глубже, чем во мне, — и я старался это у него перенять.

Блерио, перелетевший Ла-Манш, когда Юрий Карлович еще учился в гимназии, и к Ордынке, получалось, имел некоторое отношение — Анна Андреевна при Боре рассказывала (а Боря, конечно, мне передал), как Блерио со своим помощником сидели напротив нее в каком-то парижском кафе, а ей жала туфля, она скинула ее под столом, но когда стала потом надевать, обнаружила внутри визитную карточку авиатора. Хотя точно помнит, что за все время застолья он ни разу не наклонялся.

Олеша чуть смутился, когда мы с подчеркнутой благовоспитанностью ему поклонились. «Да, — сказал он громко и раздельно выговаривая слова. — Сегодня я беден, но очень скоро буду сказочно богат».

В пятьдесят восьмом году вышла книжка избранных произведений Олешы с формалистической птичкой на обложке, прославившей заодно (про Юрия Карловича правильнее сказать, что к нему слава вернулась) и графика Льва-Феликса Збарского — сына академика, забальзамировавшего Ленина для мавзолея.

И мы все радовались, что Олеша стал не сказочно (как всегда ему хотелось), но богаче.

Теперь, через без малого полвека, в очередной раз перечитав «Зависть», я и тогдашней бедности Олешы завидую. Думаю, что, сочинив «Зависть», можно и милостыню в подземном переходе или поездах просить — без зазрения совести.

Валентина Леонтьевна не любила Олешу никаким — ни молодым, знаменитым и богатым, ни старым, впавшим в нищету и безвестность. А если Юрий Карлович приходил к Валентине Леонтьевне выпивши, она велела детям гнать его прочь. Жили они в одном доме. Полузапрещенных Ильфа и Петрова хоть студенты заучивали, соревновались, кто больше цитат из Остапа Бендера за-

помнит, а Юрий Карлович для советского студенчества той поры — про нынешнее в связи с Олешей мне страшно и подумать — был слишком уж изыскан и непривычно метафоричен.

Петя стал кинооператором, снял знаменитую картину «Семнадцать мгновений весны» и умер. Илья превратился в композитора, сочинил музыку к песне «Стою на полустаночке в цветастом полushалочке, а мимо пролетают поезда» и уехал в Америку. Потом, я слышал, вернулся, звонил как-то Мише Ардову.

Я вот только сию минуту сообразил, что застал продолжение романа, который, будь он переложен (Юрием Карловичем, само собой) на бумагу, смог составить бы конкуренцию «Мастеру и Маргарите».

Ни в чем себе не изменивший Кавалеров продолжал любить Валю — Валентину Леонтьевну, не желая замечать, что «ветвь» давно превратилась в лучшую на свете маму. Валентину Леонтьевну на моей памяти никогда ничего не интересовало, кроме Ильюшиных и Петиных дел (оба сына, никого поначалу не поражая способностями, выросли известными людьми, оба стали лауреатами Государственной премии), здоровья детей, ее внучки и внука. Внука в честь бабушки называли Женей, а внучку Татьяной в честь мамы Валентины Леонтьевны — Татьяны Петровны (я на всю жизнь запомнил ее высказывание: «На столе столько вкусных вещей, а погода плохая»).

Могу смело сказать, что увидел своими глазами реальное продолжение «Зависти» прежде, чем прочел роман, — вот так у нас всё.

Выражение «Вот так у нас всё» принадлежит не мне, а домработнице Ардовых Ядвиге Феликсовне Постригач. Это ее отклик на рассказ актрисы Театра Армии, сослуживицы Нины Антоновны, о том, как по-свински поступили в театре с великим Алексеем Дмитриевичем Поповым. Его уволили из главных режиссеров, не сообщив ему об этом, и узнал он про увольнение от кассира, когда пришел получать жалованье. Ядя и не знала до этого о существовании Алексея Дмитриевича, но квалифицировала случившееся правильно.

«Вот так у нас всё».

Про то, что прототипом одного из героев «Зависти» — футболиста Володи — послужил Андрей Старостин, навестивший уже почти при нас Ахматову вместе с драматургом Исидором Штоком, я узнал позднее.

И сейчас, всё («вот так у нас всё») связывая, понимаю, что Юрий Карлович хотя бы в своем романе захотел отдать «ветвь»-Валю не товарищу по «Гудку» Жене Петрову, брату олешинского друга-конкурента Вали Катаева, а самому красивому и похожему на гладиатора, по мнению Олеси, Андрею Старостину. Такого, чтобы «не доставайся же ты никому», и в помине не было. Кавалеров — не Карандышев из «Бесприданницы».

Евгения Петровича Петрова я помнить — не помню, хотя видел его наверняка. А он-то уж меня точно видел. Мы жили на соседних дачных участках — и меня младенцем привозили на коляске в щель бомбоубежища, вырытую у них на участке, сразу как началась война.

Отец с Евгением Петровичем были новопеределкинцами — въехали почти одновременно в дома первых арендаторов.

Пастернак после ареста Пильняка попросил другую дачу. Петров занял бывшую дачу Пастернака, а отец вселился вместо Пильняка.

У отца с Евгением Петровичем сложились хорошие отношения, они ездили вместе в тогдашнюю границу — были в Риге.

И после гибели Петрова — он разбился на самолете в сорок втором году — отец всегда старался выполнять просьбы Валентины Леонтьевны, оставшейся вдовой.

Илья с Петей отца моего не любили, но по просьбе их мамы он устраивал дела детей Евгения Петровича, когда что-то не ладилось у них в институтах.

Ардов дружил с Петровым теснее, они были соседями в городе; и родившегося у Нины Антоновны после войны третьего сына назвали Евгением.

Женя Ардов умер во младенчестве, и мы с Мишей иногда теперь фантазируем на тему, каким бы вырос Женя — и на которого из братьев был бы похож.

По-моему, чем заучивать афоризмы Бендера — и к месту и не к месту повторять их, — полезнее бы заучить наизусть описание футбольного матча у Олеси в «Зависти». Настолько это описание, используя образ самого Олеси, стереоскопично — у Юрия Карловича «стереоскопичен» город после дождя.

Я заметил, что Кассиль во «Вратаре Республики» в изображении футбольного матча, будто шлюпка на привязи у корабля, тянется за Олешей. И получается вроде бы совсем неплохо, но подражать молодому Олеше не удавалось и Олеше более позднему, хотя и поздний Олеша по-новому великолепен.

Не резон забывать, что футбол Олеша нам представляет от имени бедного Кавалерова — и у бедного Кавалерова футбол богаче красками и нюансами, чем на самом деле.

И здесь возникает фантастическая естественность противоречия — не она ли превращает Олешу в очень крупного писателя, а его роман «Зависть» в одну из лучших книг века, за которым, перевоплощаясь в Кавалерова, бежит, задыхаясь, автор?

Футболист Володя — с него скалькирован герой сценария Олеси «Строгий юноша» — самый невыразительный из персонажей «Зависти». Такое впечатление, что все остальные действующие лица смело сочинены, а этот как-то робко и неумело срисован с Андрея Старостина.

Но — Юрий Карлович! — и вдруг в изобразительном плане робко и — язык же не поворачивается сказать — неумело?

Что-то здесь не так.

Судя по воспоминаниям самого Старостина (они местами поживее, чем у некоторых писателей — современников Андрея Петровича), они с Олешей приятельствовали. И находили о чем поговорить друг с другом.

Олешу (уж «Зависть» — наверняка) Старостин читал — он вообще был человеком читающим. Я видел его домашнюю библиотеку — и, судя по разбухшим страницам под переплетами, все книги — читанные. Я помнил, что у Андрея Петровича дочка — филолог, и муж у нее профессор Алексей Бартошевич — специалист по Шекспиру, и подумал: уж не молодежи ли все эти книжки? Но дочь с мужем отдельно жили и вряд ли оставили родителям любимые книги.

Володя у Олеси был фигурой заданной, умозрительной, необходимой для парадоксальной концепции, мешавшей автору — и опровергнутой подлинностью душевной автобиографичности Кавалерова.

Любил же повторять Юрий Карлович, что писатели выдумывают мир, но действуют в нем реально.

Для придуманного из головы футболиста Олеша взял внешность Старостина, внутрь не заглядывая, что повредило бы концепции.

Ни за какую сборную Одессы Юрий Карлович не играл. Он играл за команду Ришельевской гимназии Одессы. В команду входил и гимназист, носивший пенсне. Гимназист в пенсне стал знаменитым на всю Россию футболистом Георгием Богемским. И то, что играл он за гимназию с Богемским, составило гордость Олеси, когда рассказывал он о себе Старостину.

Меж тем футбол стремительно менялся — и не была для него больше типичной фигура игрока в пенсне и с гимназическим образованием.

Футбол стал игрой победившего класса — и лучшие места на трибуне занимали представители победившего класса. Кавалерова проводил на футбол видный советский хозяйственник Бабичев, чьим приемным сыном и был футболист Володя, студент, сам себя называвший человеком-машиной, сын рабочего из муромских мастерских.

Футболист не мог быть героем Олеша, сочинявшим роман от имени Кавалерова.

Андрей Петрович Старостин — другое дело. Сын царского егеря родственен Богемскому. Знаменитый правый край московского «Динамо» Василий Трофимов говорил мне про Андрея Петровича, что тот явно голубых кровей: «Очень уж он свысока смотрел на всех нас».

Я уже сказал, что с того дня, как впервые увидел Юрия Карловича (стоптанные ботинки в зеленой лапше травы), прошла жизнь.

Пройти она, может быть, и прошла, но для меня еще не завершилась. Есть еще немного времени, чтобы сказать несколько слов — в сомнительное оправдание себе.

Сосны и елки в Переделкине те же, а про свой горизонт я все уже знаю.

Знаю, что и книжек, где поводом повествования (а то и натурой) для меня становился футбол, сочинил я больше, чем следовало.

Но чтобы вовремя понять про футбол то, что именно мне следовало понять, надо было либо родиться Олешей (что маловероятно: Олеша, по-моему, рождаются раз в столетие, хотя скромный Юрий Карлович называл интервал в четырехста лет), либо прожить его жизнь.

А я прожил свою.

### 3.

Мы смотрели по телевизору и бокс.

На кухню у Ардовых вели двери из двух коридоров, — и ощущения замкнутого пространства не создавалось.

Всех присутствующих не перечисляю — не помню. Сколько же лет с тех пор прошло? Да больше сорока...

Точно, что смотрел кто-то из мальчиков Ардовых, а то и оба — Миша и Боря — сразу; точно, что смотрел я, поскольку никто, кроме меня, того случая не запомнил, и — главное, из-за чего и вернулся мыслями в квартиру Ардовых, — смотрел с нами тогда матч по боксу (наши дрались с поляками) Иосиф Бродский. Никто из нас не называл его иным, каким-либо уменьшительным именем, даже друживший с ним по Ленинграду и приведший впервые нелегально знаменитого поэта на Ордынку Толя Найман. Но в таком (и только таком) обращении к нему тон всегда оставался домашний. Счел нужным сказать об этом, а то на бумаге слишком уж по-литературоведчески звучит — «Иосиф Бродский», а до интереса к нему литературоведения было еще очень далеко.

И бокс бы тот наверняка забылся (сколько таких боев видел я на своем веку), если бы не задевшее меня замечание будущего нобелиата, связанное с боем на черно-белом экране.

Не хотелось бы изображать себя ограниченнее, чем на самом деле. А то, когда говоришь о чем-либо для себя неподъемном, невольно (или осознанно все-таки) ищешь для себя подпорку в кокетстве самоуничтожения.

Кого хочешь умилить? Чтобы сказали: надо же, был никем, а так смело рассуждает о том, кто стал едва ли не всем. Может быть, и рассказчик сам кем-то — намеком понят — стал?

Кем-то стал. Да не тем, кем надеялся.

Кроме хорошей памяти, еще и талант был нужен.

И — меньше тщеславия, чтобы примириться с тем, что кто-то впереди был изначально.

Недавно Миша Ардов мне напомнил мною же когда-то сказанную фразу: «Вот двадцать два года Иосифа — это действительно двадцать два. А чего стоят мои двадцать два?».

Когда мы смотрели на Ордынке матч — я по энциклопедии бокса проверил дату, — нам обоим приблизилось к двадцати четырем, и мы были уже знакомы, по меркам молодости, порядочно. А я не знал, что им уже написана «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул...»).

Иосиф давно умер, а я каждый месяц обязательно перечитываю вслух «Элегию» — и каждый раз читаю словно наново.

До премии Иосифу ждать оставалось каких-то четверть века.

Властям еще предстояло сделать ему — «рыжему», как уточнила Ахматова, в момент бокса отдаленная от нас расстоянием в полтора шага до закрытой в ее шестиметровую келью двери, — биографию.

Но некоторые шаги необъяснимо (что он им сделал, этот целиком погруженный в свою поэтическую стихию парень?) беспощадных к Бродскому властей были уже ими предприняты, — и вряд ли у смотревшего на экран Иосифа мысли целиком были заняты боксом.

При трансляции бокса из Польши я временно чувствовал себя на ардовской кухне главным — с университетской практики в спортивной газете меня позвали туда на штатную (что считалось величайшей удачей) работу, вести бокс постоянно (моя, так получилось, первая названная специальность обернулась присвоением мне на семидесятом году звания «Почетного ветерана бокса России» вместо так и не заслуженных лауреатств).

И для начала я опубликовал в пригревшей меня газете пятистраничный очерк про только-только взошедшую звезду большого ринга Виктора Агеева. Это была первая заметная публикация о человеке, кого и сегодня считают гением бокса.

Спорт — при всем моем увлечении им с детства (и отчасти до моих сегодняшних лет) — занимает не первое место среди главных моих пристрастий.

Тем не менее как-то так получалось, что в желании успеха (с которого я надеялся начаться — и состояться) я остановился, затормозил, можно сказать, свое ремесленное (разлюбил термин «профессиональное») развитие на связанной со спортом журналистике.

В ней открывалась для меня вакансия, а в молодости не одного меня подводило нетерпение.

У меня были иные, чем работа в спортивной газете, планы. Но мечты об их грандиозности пришлось немного поумерить. Требовалась пауза, а в паузе — хотя бы микроскопический успех. Тираж спортивной газеты переваливал за два миллиона — кто-то же прочел мою заметку.

И я с полгода (вот на что уходила жизнь, вкуче, правда, с прочими прегрешениями) находился в эйфории, не меньшей, чем полагалась (полагалась ли? — думаем мы с ним сейчас) моему герою. Виктор Агеев узнал славу, на некоторую частичку которой я — по глупости — вероятно, претендовал, агитируя за него не слишком увлекавшихся спортом друзей, братьев Ардовых.

И вдруг Бродский сказал, что Агеев ему решительно не нравится: «Дерется, как хулиган на улице».

Не Бродского, ничего не понимавшего в боксе, мне стало жаль и не Агеева, разумеется, а себя. Вот тоже точно помню, что — себя.

У меня снова что-то отнимали из того, с чем и чем собирался я в ближайшие дни жить.

К двадцати четырем у меня накопилось потерь — и причин все больше появлялось, чтобы в себе засомневаться. Сейчас таких причин в тысячу раз больше, а я все равно продолжаю надеяться на чудо. В молодости я на чудо надеялся тем более, но удар держал хуже, чем сегодня.

Вспоминая бокс на Ордынке, я думаю о том, что Бродский тогда много переводил с польского. Однако не в стихах переведенных им польских поэтов была загвоздка. Польша понималась нами позаграничнее прочих стран, принужденных нашей властью к социалистическому режиму.

Послабление — и в шестьдесят четвертом обольщавшее — разрешило нам (с пионерского детства воспитанным на карикатурах «Крокодила», сатирически высмеивающих априорно всех буржуазных иностранцев) различать в зарубежной жизни еще не сформулированное что-то, чего не мешало бы и нам перенять.

Мы ведь оказались способны переживать как личную драму убийство американского президента Джона Кеннеди!

Бродский много раньше и точнее нас определил для себя недостающее (каждому, как он, возможно, считал) в советской жизни — и ему не нравилось, что представляющий советскую империю Агеев не оставляет шанса стойкому и задиристому поляку.

Я не был квасным патриотом — и тоже пожалел бы польского (Польше, как и многим другим странам, всегда симпатизировал) боксера, будь на месте Виктора кто-нибудь другой.

Но я в те свои дни поставил на Агеева.

Боре Ардову в начале девяностых пригрезилась лавры хранителя пушкинского музея в Михайловском Семена Гейченко — и будущее родительской квартиры на Ордынке виделось ему только музеем. Мне передали Борины слова, кому-то им сказанные, что порог ардовского дома преступали четыре нобелевских лауреата.

Что касается четырех, то, по-моему, плохо учившийся и в школе рабочей молодежи Боря ошибся. Я учился не лучше Бориса, но все же днем, а не вечером — и, по моим подсчетам, их — трое.

Бориса Леонидовича Пастернака я на Ордынке не видел — при мне он туда не заходил. Но с Пастернаком мы жили в одном Переделкине, в одном Лаврушинском переулке, не говоря уж о столетье, которое «не вчера», а «с лишним» мне, может быть, и не надо. Достаточно общего с ним столетья.

Солженицыну, когда пришел он к Анне Андреевне, мы вместе с Борисом открыли на звонок дверь. Но внимание Александр Исаевич обратил на одного Борю — узнал в нем артиста «Современника», игравшего в «Голом короле» Свинопапа.

С Бродским было все проще. Он приезжал из Ленинграда — и заворачивал к Ардовым навестить Ахматову. Но в этом доме его привечали — и он не всегда спешил уходить, не всегда, наверное, знал, куда идти ему в Москве дальше. Мог и целый день на Ордынке провести, а случалось — и заночевать. К тому же его питерский друг Толя Найман был на Ордынке совсем своим, хотя и старался выглядеть от ордынского быта независимым.

Бродского не печатали. Слава Иосифа в узком кругу самых строгих ценителей поэзии не покрывала стадионы и дворцы спорта, собираемые Евтушенко. Но нам нравилось, что великий, по мнению знатоков, поэт, неведомый и непонятный миллионам профанов, с нами (куда только девалось отличавшее его — неизвестного массам — высокомерие?) накоротке — и сказал однажды за ар-

довским столом после третьей рюмки: «Смотрите, Анна Андреевна, сколько красивых людей — и все мои друзья!».

Мне казалось, что мы можем картой такого приятельства с ним бить, например, очень понравившегося мне в Коктебеле, но ставшего в Москве невыносимо заносчивым Евтушенко. Мы встречались с ним в ресторане Дома актера или в плавательном бассейне, где будущий отец Михаил рекомендовал ему выдать себе резиновую шапочку красного цвета, согласно убеждениям.

Сегодня я гораздо больше, чем тогда, знаю стихов Бродского наизусть — среди ночи меня разбуди. А тогда только с голоса самого поэта отдельные строчки запоминались. Как ни странным покажется, в списках, ходивших по рукам, я ни одного стихотворения не прочел — зачем же мне их читать, когда живого Иосифа знаю?

В начале семидесятых я снова встретился на Ордынке с Иосифом, вернувшимся из ссылки, — в какой-то раз, когда он звонил оттуда Ардовым по телефону, я тоже на мгновение брал трубку и кричал ему что-то приободряющее, что — не помню (мы какой-то праздник отмечали). У Ардовых куда-то укатили папа с мамой, отсутствовал и Михаил, спальных мест хватало, а идти Бродскому в ту ночь оказалось некуда.

Мы-то и не собирались спать (Борис, Андрей Кучаев и я) — готовили Борю к экзамену на кинематографические курсы.

Вообще-то нашего высокоталантливого Борю должны были принять на эти курсы безо всяких. Но требовалось соблюсти формальности с письменными заданиями — на них у абитуриента не хватило, как всегда, времени. Великолепные рисунки Бориса неплохо было бы сопроводить внятными текстами — экспликация, сценарная разработка и так далее.

Бродский сидел с нами за компанию часов до трех — и расстраивался, по его словам, что ничем не может помочь Борису (в нашем с Андреем лице). И я нашел и для него работу.

Из своих великолепных, как я уже сказал, рисунков Борис сделал раскадровку экранизации какого-то агитационного лубка Маяковского, а я придумал, чтобы текст за кадром не произносился. Чтобы вместо этого стихотворные строчки электрическими буквами бежали по крыше «Известий», как бежали в те времена (не знаю, как сейчас, живу за городом) новости, когда стемнеет.

И я предположил, что Иосифу как коллеге Маяковского всего сподручнее найти подходящие к случаю строчки.

Но вскоре мне показалось, что Бродский не настолько хорошо знает Маяковского — и вряд ли сможет быть полезен. (Я ошибся — Иосиф позднее говорил, что научился у Маяковского «колоссальному количеству вещей».)

И чтобы хоть чем-нибудь занять поэта, я попросил Иосифа записать мне стихотворение: *«Волхвы забудут адрес твой. Не будет... вот ведь забыл, что значит старость, чего не будет... звезд?.. над головой. / И только ветра сильный вой / расслышишь ты, как встарь. / Ты сбросишь тень с усталых плеч, / задув свечу, пред тем, как лечь. / Поскольку больше дней, чем свеч, / сулит нам календарь...»*.

Мне не так (судя по тому, что листок со стихами при нескольких переездах затерялся) нужен был автограф будущего лауреата. Мне захотелось только знать это стихотворение наизусть. А где еще я мог прочесть его глазами — публикаций на родине и возвращенному из ссылки Бродскому никто даже не обещал, и мы не ждали, что в обозримом времени будем держать в руках изданную книгу Иосифа.

Бродский, мне показалось, с удовольствием выполнил мою просьбу — и еще обвел (по полям листка со стихотворением) четко выведенные строчки надпи-

сю: «Сашеньке — в ночь работы (каюсь, запомнювал, как у него точно было сказано про ночь). Не меняйтесь ни в ту, ни в другую сторону».

Через годы из воспоминаний людей, близко знавших Бродского, я узнал, что надпись с пожеланием «не меняться» он не одному мне сделал (он вообще над такого рода надписями голову не ломал).

Да и не тянул я на эксклюзив. Что же касается «не меняться», — не меняюсь.

Ни в ту, ни в другую сторону (тем более так не знаю, какая из сторон была бы для меня лучше).

Нам с Борей легко было считать Иосифа гениальным — мы не сочиняли стихов и в детстве, когда все сочиняют.

Мы ждали для себя славы в чем-то другом — знать бы (хоть сейчас) — в чем?

Другой коленкор — Миша. Миша с детства читал и Ахматову, и других находившихся под запретом великих стихотворцев — и сам, не сомневаюсь, подростком сочинял стихи. И понимал он стихи несравнимо глубже и тоньше, чем мы с Борей, и знал их во множестве наизусть, и декламировал очень хорошо.

Он и сошелся гораздо ближе нас с Иосифом как человек, в стихах по-настоящему разбирающийся.

«Наш Михаил», как назвал его младший брат (всегда не прочь подшутить над Мишей), и раньше, и разнообразнее нас искал себя — искал с большей тревогой и скрытой за маской весельчака, остроумца и анекдотчика страстью. С более сконцентрированным, чем у нас, честолюбием, выдаваемым страдальческим сдвигом зрачков в смеющихся глазах. Тогда, когда я и самый, мне кажется, талантливый среди нас — Борис (в еще большей мере, чем я) ждали, что все у нас как-то само собой сложится.

Иосиф Бродский — такой, каким знают поэта сегодня все, с его нескрываемо трагическим мироощущением, — и Ордынка.

Бродский — и Ордынка, где всего выше, на первый взгляд, ценится острога, шутка, мастерски исполненный анекдот и обязательно остроумный, но короткий рассказ: хозяину дома, ветерану «Крокодила», другу-приятелю всех знаменитых юмористов нашей страны, было с кем сравнить тебя-рассказчика.

Такой (и только такой) увидел Бродский Ордынку — поверхностнее, чем я ожидал от него. Занят он был собой, не все и не всех рассмотрел.

Не собираюсь поворачивать сюжет таким макаром, что великий поэт Бродский не захотел в Ордынке разобраться, а Ордынка перед ним, наоборот, безоговорочно стелилась, гением его покоренная.

Чего не было, того не было.

Ордынка в лице своего кормильца — и Толя Найман, и Бродский любили за супом намазывать хлеб маслом — Виктора Ефимовича Ардова, знакомца и Мандельштама, и Пастернака, дававшего в своем доме приют Ахматовой, относилась к Бродскому с известными оговорками.

Виктор Ефимович хлопотал за Бродского — на Ордынку для помощи в этих хлопотах приезжал и Шостакович (может быть, Боря Дмитрия Дмитриевича посчитал за нобелевского лауреата, но из пяти Сталинских премий Нобелевскую не слепишь, да и не бывает ее для музыкантов, была бы, уж Шостаковича, тут Борис прав, ею не обнесли бы) — помогал, чем мог.

Но мне он в приватном разговоре однажды сказал, что сочинять такие сложные стихи, как Иосиф, — гиблое дело.

Если хочешь иметь читателя (и публиковаться, что весьма существенно), не надо писать сложнее, чем Багрицкий или Светлов.

Светлов, между прочим, влюблен был в Нину Антонову — и ей посвятил стихотворение «Я другом ей не был, я мужем ей не был, / Я только ходил по следам...».

Но Бродский и дальше писал так же сложно.

Впереди недоступными нам огнями светила все еще огромная жизнь — уже без появлений Иосифа на Ордынке.

Он уехал в Америку — и я больше никогда его не видел.

К нему, теперь принадлежащему всему миру, я мог бы прикоснуться в девяносто первом году, когда прилетел в Нью-Йорк.

Однако у меня и мысли такой не возникло — позвонить ему.

Ордынки, как ориентира из общей прошедшей молодости, за мною к тому времени не стояло — я сделался там редким гостем.

И мог ли помнить он меня через столько лет? Множество людей — и каких людей — прошло за годы через его жизнь — осталось в ней или исчезло.

Позднее переехавший в Америку Георгий Вайнер рассказывал мне, что вроде бы с Иосифом там общался.

Не знаю, читал ли Бродский книги братьев Вайнеров.

Кто же из пишущих мог — за последние десятилетия минувшего века — чувствовать себя с Иосифом совсем уж на равной ноге? Дружеской она могла быть, но вот равной ли? — пусть многие и уверяли себя, что чувствуют.

С другой (лучшей или худшей) стороны — почему неравенство в славе или способностях обязательно должно становиться препятствием в поддержании знакомства или приятельства? Чаще наблюдаю совсем обратные примеры.

И, конечно, валяю дурака, предполагая, что Бродский меня не вспомнил бы. Все он про Ордынку помнил, судя по его эссе, — откуда бы я догадался о том, как видится ему издали Ордынка?

Когда Миша Ардов был в Нью-Йорке и беседовал с Иосифом, придерживаясь былого московско-ордынского стиля, он спросил, помнит ли тот Гену Галкина.

Гена Галкин, наш с Мишуликом общий друг, трехметровый красавец, стихами мало интересовался и в журналистике, отвлеченный рекордными дозами выпивки, не успел блеснуть, как подобало бы ему.

— А то! — ответил восклицанием Бродский нашему Михаилу.

Нет, совсем не страх быть не узанным знаменитым Бродским удерживал меня от желания повидать Иосифа в Нью-Йорке.

Какие-то другие опасения-соображения руководили мною.

Я и сейчас, будь Бродский жив, отложил бы встречу с ним на неопределенный срок, — и уже догадываясь, что никакого срока мне не хватит, чтобы оказаться готовым к такой, какой хотелось бы мне, встрече.

А насчет Агеева он оказался прав.

Агеев засмеялся, когда я передал ему впечатление Бродского: «Он прав. Одной классикой не перехитришь — чего-то из жизни тащить надо на ринг!».

Сам Бродский ввел слова из обыденной жизни (и даже сленг) в сложнейшую систему стихосложения — всей поглощенной им мировой культуре он обязательно находил внезапное заземление на вытоптанном прохожими клочке твердой почвы.

Гениям в гениях — в чем бы гений ни проявлялся — легче увидеть недостатки, чем достоинства.

И эта особенность делает для нас гениев как-то понятнее.

Но не проще.

#### 4.

Жена прервала начатый мной в жарких красках и с предвкушением занятых подробностей рассказ неожиданным (сам никогда за все годы об этом не

думал) вопросом: подлинным ли был Модильяни — то есть рисунок Модильяни, который вез я тогда на такси?

И я сбился с накатанного рассказа.

Вопрос о подлинности застал меня врасплох.

Жена доставила на дачу, где мы круглый год теперь живем, толстенный — что значит ездить из города на машине — том летописи жизни Анны Ахматовой — день за днем, уточненная дата за проверенной датой.

Уютно устроился в глубоком кресле — тяжелую книгу поместил на коленях — и листаю страницу за страницей с понятным волнением.

А как мог не взволновать свой промельк в знаменитой жизни? Могли и не заметить.

Итак, давнее — времен ранней молодости — приключение (иначе не хочу случившееся со мною и называть) превратило вдруг меня в строчку на обочине летописи, куда отнесен раздел с перечнем упомянутых в ней имен — список, можно сказать (а можно из скромности и промолчать), действующих лиц данного произведения — жизни поэта.

Итак.

*«Мне четырнадцать лет. / ВХУТЕМАС / еще школа ваянья...»*

Мне уже не четырнадцать, а стукнет скоро двадцать четыре, но легкомыслен я в тот день хуже, чем в четырнадцать (мне и сейчас иногда приходится слышать дома: «Ты хуже, чем ребенок»). Сегодняшние РИА Новости еще АПН, Агентство печати Новости. Меня обещают принять туда немедленно после окончания университета. И АПН кажется мне в ту минуту лучшей школой. Жизни?

Еще и лета не пройдет, когда будем ехать в машине моего апээновского начальника Авдеенко от Дома журналистов до Пушкинской — в памяти зачем-то задержался этот городской пейзаж, — и Евтушенко спросит меня (почему меня-то?): «Ты все еще служишь в этой разведывательной организации?». «Еще?» — Я же только принят стажером, месяца не прошло.

Конечно, и стажер не до такой степени был наивен, чтобы не знать, для каких целей создано АПН. Но я в университете, где военное дело преподавалось на иностранном языке — готовили на худой конец хоть переводчиков, ухитрился ничего по-французски не запомнить (кроме команд: «Дебу», «Фикс» и так далее), и не было у меня ни малейшей уверенности, что попаду я когда-нибудь за границу (до Горбачева я никуда, кроме Фестиваля молодежи в Софии, и не попал). Какая разведка, Евгений Александрович? Какая разведка, Женья? (По молодости, столько мне пообещавшей, я бывал на «ты» со многими историческими в дальнейшем персонажами.)

У Бродского, как и всегда, была иная, чем у Евтушенко, точка зрения. Вспоминая нашу компанию на Ордынке, он пишет, что устроены мы были на работу в замечательные (думаю все же, что ирония отчасти объединяет Иосифа с Евгением в оценке) заведения. С Авдеенко Бродский познакомился не у Ардовых, а в Коктебеле и посвятил ему строчку в шуточном — для домашнего пользования — стихотворении: *«Вдали, подтянутый и ловкий, шел апээнщик с монтировкой»*. Поэтому шпилька людям, умеющим выгодно устраиваться, относится целиком ко мне. Никто больше из ордынской компании в АПН не служил. Очень рвался туда Жора Вайнер, но ему судьба уготовила — после долгих мытарств в ее поисках — работу в ТАСС (Телеграфном Агентстве Советского Союза), откуда он и шагнул в знаменитые детективщики.

Но ко второму мая шестьдесят четвертого я был — пока — никуда не устроен. (Справка имеет некоторое отношение к моему дальнейшему повествованию.)

Кстати, точную дату — второй, кто забыл, день важного советского праздника — я узнал из летописи (мне-то казалось, что просто было воскресенье). И

понял, что к тому времени футболом увлекался меньше — второго мая в Москве открывался футбольный сезон, а я искал иных развлечений. Все мои приятели куда-то разъехались-разбрелись, город без них казался мне опустевшим — и выпить в такой день как гражданин я был обязан.

Я знал, что на Ордынке никого из Ардовых нет, но Анна Андреевна там.

А мне-то она только и была нужна как самый мой надежный кредитор в ту пору.

Здесь отступление сделать все-таки придется.

Не надо только думать, что был у меня большой — и вообще был — выбор.

Мне просить — это всегда что-то внутри себя мучительно переступить; а уж деньги занимать — и вспоминать каждый случай противно.

И Анна Андреевна Ахматова — как ни покажется подобное признание кому-либо шокирующим — единственное в моей жизни исключение.

Ей, несомненно, нравилось говорить (самой, заметьте, иногда предлагавшей устроить у Ардовых застолье в узком кругу, но с выпивкой): «У меня сколько угодно денег».

Денег у нее никогда не набиралось столько, сколько нужно ей было на безбедную жизнь — и те, что перепадали, зарабатывались нелюбимым трудом (переводами), — но вот ей нравилось говорить про деньги так легко — легко, получается, к ним относиться. Годы и годы лишений и неудобств (матрац почти всегда, по ее же признанию, поставленный на кирпичи, вместо комфортного ложа) ничего не меняли в ее привычках.

Конечно, занимать деньги на публике (особенно публике, заинтересованной в успехе займа) мне бывало легче.

Как-то на ордынской кухне загуляли — хозяин дома Виктор Ефимович отсутствовал, — и требовалось продолжение. И меня делегировали к Анне Андреевне — предстояло форсировать узкий коридорчик, чтобы постучаться в дверь ее комнаты.

Постучался. Дальше — как на изысканном кинокадре (жаль, не снял никто, не осталось для истории). Вход в шестиметровую каютку загорожен, скажем так, спиной гостьи Ахматовой — замечательной женщины Эммы Григорьевны Герштейн (Эммочки), дамы более чем корпулентной. На метр от нее в глубину Анна Андреевна. Эммочке негде повернуться — и она не видит, кто на пороге. Видит только, что Анна Андреевна царственно протягивает толстую руку к ветхой сумочке, размыкает ее. И вопросительно поднимает лицо навстречу моему нетерпеливому взгляду. Я за спиной у Эммы Григорьевны показываю два пальца. Анна Андреевна вынимает две красные бумажки. Герштейн, вероятно, в недоумении — глаз гостьи не вижу. «Спасибо за наше счастливое детство, Анна Андреевна», — произношу прочувствованно (недаром же провел два года в студии при МХАТе). Ахматова смеется. Эммочка все равно ничего не понимает.

Второго мая шестьдесят четвертого года случай иной — я, проситель, пришел в одиночестве, и у Анны Андреевны никого в гостях нет.

В квартире она не одна, кто-то в отсутствие ардовской семьи за ней присматривает. Кто-то же открыл мне дверь — не помню, кто, по-моему, к тому времени домработница Ардовых Ядя ушла в бухгалтеры, кто-то ее заменил. Не сама же Ахматова дверь в квартиру мне открывала.

Правда, был у нас случай. Когда праздновали в ресторане Дома литераторов шестидесятилетие Виктора Ефимовича Ардова, младший сын юбиляра Борис набрался раньше, чем предполагалось, — и мне велено было транспортировать его домой.

Боря слишком уж эмоционально дернул за хвост звонка на двери — и, к которому (алкоголь — та же анестезия) нашему удивлению, дверь открыла Анна Андреевна.

Виктор Ефимович пьяного от трезвого обычно не умел отличить, а она отличала. Прокомментировала: «Боря совершенно трезвый». Боря не потрудился уловить в словах ее юмора и ответил резковато: «Нет, совершенно пьян». Дальше он прошел в детскую, по пути каким-то образом успел снять брюки, смять их в ком — и, швырнув на подоконник, сломать цветок в горшке. Этого Анна Андреевна, слава Богу, не видела.

Но скрыть от нее промахи по пьяному делу удавалось не всегда.

К Анне Андреевне приехала из Питера дочь ее падчерицы Ирины Пуниной Аня Каминская. И вместе с нами в комнате у мальчиков Ардовых (детская) присутствовала на празднике, куда Боря (Миши не было) пригласил двух наших приятельниц с курса Школы-студии и будущего писателя, а тогда студента Института связи Андрея Кучаева.

В разгар веселья Боря из-за чего-то — не из-за Анечки (за Анечкой ухаживал я) — сцепился с Андреем. Драться они оба не умели — и Кучаев зачем-то разорвал на Борисе рубашку. С Борей от обиды, усугубленной количеством выпитого, сделалась истерика. Но Андрей продолжал бушевать.

Я себя всего лучше проявляю в ситуациях пограничных. Ленинградскую гостью Анечку я послал в аптеку за валерьянкой, а сам с помощью девушек связал Андрея — и мы вылили на него ведро холодной воды.

Все скоро пришли бы в норму — и веселье продолжилось бы. Но выяснилось, что в горячке развлечений мы упустили из внимания важное обстоятельство. В кабинете Виктора Ефимовича работал бывший муж Нины Антоновны Владимир Петрович — он как народный умелец (а не только заслуженный артист) ошкуривал поверхность круглого стола, чтобы затем покрыть лаком.

Владимир Петрович, человек вспыльчивый, — услышав шум в детской, узнав про драку, стал крутить телефонный диск, намереваясь вызвать милицию: «Здесь Ахматова, а вы такое творите!». Я попытался урезонить его, заметив, что Ахматовой вряд ли будет приятно появление на Ордынке милиции. И пока Алешин папа колебался, я бросился к Анне Андреевне — доложить о происшествии. Анну Андреевну позабавило, что «петербургскую, как она выразилась, барышню» погнали в аптеку за валерьянкой. Про усмирение же Андрея (она к нему благоволила) сказала, что за семьдесят лет (мы, выходит, и без летописи можем приблизительно установить дату) впервые слышит, чтобы гостя связывали.

И Андрея развязали под честное слово, что он не будет больше буяннить, когда за стеной Ахматова и артист (и режиссер) Художественного театра.

Анна Андреевна одолжила мне десять рублей без звука.

Но со всей деликатностью поинтересовалась, не очень ли я спешу (что деньги — на водку, не обсуждалось). Я понял, что зачем-то нужен трезвый — и ответил, что никуда не спешу (и душой не сильно кривил, с такой суммой, как десятка, можно и не суетиться, хватало больше, чем на две бутылки, имело смысл подумать о форме отдыха).

Анна Андреевна сказала, что дает мне отдельно пять рублей на такси — с условием, что отвезу Николаю Ивановичу Харджиеву... (фамилия Модильяни не называлась)... рисунок уже завернут в газету (что в газету, я запомнил, наверное, потому, что на Ордынке газет не читали и вряд ли на какую-нибудь подписывались, хотя допускаю подписку на одну из двух литературных газет — появлялся повод посмеяться над официозными писателями и писательским начальством).

По свободному от автомобильного движения городу я катил на такси с удовольствием, о цели поездки вообще ничего не думая, другим была занята голова. Сопроводительное письмо, скорее всего, прилагалось к самой завернутой в газету картинке.

Николая Ивановича Харджиева я видел впервые — и что-то не помню, чтобы встречался с ним потом.

Он любезно поинтересовался: не задерживает ли меня. Я, подражая ему в любезности, сказал, что ничуть. Я любил ездить на такси — и возвращение с выполненным поручением обратно на Ордынку рассматривал как дополнительное (к занятым деньгам) удовольствие.

Николай Иванович долго меня и не задерживал. Он — мне показалось — произвел карандашом какие-то замеры на картинке (развернутую, я сразу ее узнал — она всегда висела над диванчиком Анны Андреевны в каютке, когда она жила у Ардовых). Потом что-то — мне показалось, что схему рисунка, — перерисовал себе на бумажку. И снова завернул в газету работу Модильяни (знал я, разумеется, и про Модильяни в свои двадцать четыре, но это знание ничего в моей тогдашней жизни и не меняло) — и я повез ее обратно. Поручение было выполнено.

Через много лет случайно узнал, что Николай Иванович — не без моей, как вы заметили, помощи, — провел целое исследование об этой работе Модильяни.

Как и все вокруг Анны Андреевны, я подсознательно (и сознательно, наверное, тоже) жаждал если не похвал от нее (понимал, что хвалить было не за что), то одобрения тем ли иным словам, а то и поступкам, решишь я на них.

И конечно, любой знак одобрения или пусть намек на него я фиксировал — и вел себя иногда с большей, чем полагалось мне, уверенностью.

И более того, ободренный и тенью одобрения, я начинал ждать похвал.

Не стану преувеличивать, уверяя, что ожидания сбылись, но некоторые основания для эйфории я все же находил тогда — и не раскаиваюсь. Дальнейшая жизнь оказалась ко мне на одобрения и похвалы скупее, зато есть о чем вспомнить, оглядываясь.

Я и сейчас ничего не понимаю в стихах, а тогда и читал их для человека, в такую среду ненароком попавшего, непозволительно мало.

Но сейчас я бы ни за что не решился разговаривать с Ахматовой о ее стихах и поэзии вообще с такой самонадеянной свободой, с какой я разговаривал на Ордынке тогда.

И все это мне мало сказать что сходило с рук.

У Анны Андреевны была простительная слабость преувеличивать достоинства родных и близких ей людей — и попавший в определенный круг ее благоволения смело мог ощущать себя тем, кем при другом к себе отношении не имел бы и малейшего права ощущать.

Про свою падчерицу Ирину Пунину Анна Андреевна говорила, что Ира — молодой профессор. А, насколько я помню, научных заслуг и степеней у Ирины Николаевны не было.

Но Ира была падчерицей, а я-то кем?

В опубликованных теперь записных книжках Анны Андреевны есть листок, где в столбик записан перечень тех, кому она первоочередно собирается разрешить прочесть свою поэму — и я с изумлением увидел свое имя, поставленное вторым вслед за безусловно уважаемым господином, чью фамилию запомнил, а идти за книжкой — и уточнять — не то чтобы лень, но жаль прерывать рассказ, — обязательно что-нибудь упушу.

Со стыдом припоминаю, как сижу в кабинете у Виктора Ефимовича со страничками перепечатанных на машинке стихов в руке — и вместо внимательного чтения судорожно думаю, что сказать Ахматовой про ее поэму. Время поджимает — Борис ждет меня на Пятницкой возле кинотеатра «Заря» с девушками (год опять легко вычислить, идет картина по аксеновской повести «Звездный билет»), а я в понятной растерянности. Анна Андреевна не у себя в каютке, а в большой комнате под зеркалом на диване. Я выхожу к ней — и говорю нечто такое, что бы сам сегодня — пусть и, повторяю, со стыдом — послушал бы. Самое же смешное, что позднее, обсуждая поэму со знатоком поэзии Мишей Ардовым — он мне этот разговор и передал, — Анна Андреевна отметила, что Саша говорил очень интересно.

Саша продолжал учиться в университете, но занимался без должного прилежания — и однажды за обеденным столом на Ордынке Виктор Ефимович сказал, что Сашу, он слышал, скоро из университета исключат. Анна Андреевна заволновалась — спросила: «А что же Западов?».

Александр Васильевич Западов — друг Ардовых (жена его Галина Христофоровна много занималась в детстве с Мишей и Борей, содействуя их образованию), профессор, заведующий кафедрой на факультете журналистики. К тому же автор книг — и Ахматова рекомендовала его в Союз писателей. Почему она и спросила: «А что же Западов?».

Виктор Ефимович объяснил ей, что в балбесничании Саши профессор не виноват — и, справедливо придираясь к Саше, вовсе не думал, что огорчит Анну Андреевну.

Западову и так не нравилось, что есть у него студент, с которым он встречается приватно в ардовском доме. От друга Миши и Бори всего можно ожидать — любой фамильярности. И профессор старался держаться от меня подальше — незнакомые педагоги относились ко мне и то лучше.

Не знаю, дошел ли до Западова слух о недовольстве Анны Андреевны его безучастностью к моей судьбе, но ближе к защите диплома Александр Васильевич смягчился — и в минуту откровенности сказал Виктору Ефимовичу: «До чего снизились требования к высшему образованию. Большого падения и быть не может. Уже такой шалопай, как Саша Нилин, считается одним из лучших студентов нашего факультета».

Когда в шестьдесят первом году у Ахматовой вышла долгожданная книжка — не та, где на суперобложке оформителем Володей Медведевым воспроизведен все тот же рисунок Модильяни, а досадно купированная и по формату карманная, — она дарила ее, надписывая, знакомым с очевидным удовольствием. И я рассчитывал на такой подарок. И не напрасно — Анна Андреевна предупредила, что очень скоро напишет книжку и мне. Я предвкушал, что после заочных похвал моему пониманию поэзии и надпись на книжке будет соответствующей.

И был несколько разочарован, когда прочел всего-навсего: «*Александру Нилину — Анна Ахматова. На счастье. 1 июля 1961 года. Ордынка*». Правда, мне лет пяти-шести хватило понять, что значит для всей моей жизни эта надпись.

Желая быть на уровне ардовского дома, я тоже старался непрерывно шутить. И вот однажды — точно помню, где произошел разговор: на выходе из большой комнаты ордынской квартиры в коридор, — полуобернувшись в тесноватом для нее дверном проеме, Анна Андреевна сказала: «Саша, я рекламирую в Ленинграде ваши остроты».

Хотите верьте — хотите нет, но я не слишком обрадовался. Скажи мне такой комплимент Виктор Ефимович, я был бы польщен. А от Ахматовой я, никог-

да не сочинявший стихов, ждал, уже избалованный ее отношением, одобрения каким-то иным своим качествам.

Но Анна Андреевна всего более ценила во мне качества юмориста, — в еще более комплиментарной для меня форме сообщила это поэту и переводчику Андрею Сергееву, о чем я из его записей бесед с Ахматовой узнал уже в следующем веке.

Нина Антоновна — как-то все мы сидели за столом в большой комнате — сказала: «Как все же Саша похож на свою маму... черный, носатый». Анна Андреевна ее не поддержала — заметила сухо: «Я все же вижу в нем отца».

При всем пристрастии моем к Ардовым — и увлечении их жизненными ценностями, для меня тогдашнего неожиданными, — я не ставил (и до сих пор, между прочим, не ставлю) семью свою ниже. В красоте и общеобразовательной подготовке она могла уступать Ордынке, но была в ней и та самостоятельность, которой Ардовым, по-моему, не хватало.

В моей семье не велось таких смелых, как на Ордынке, разговоров.

И выглядел (а в некоторых смыслах и был) мой отец по-советски ортодоксальнее, чем старший Ардов (дети подражали ему, как и я своему отцу) и его гости.

Но повесть, по тем временам смелую, где герой — ни полслова не говорящий против советской власти и готовый защищать ее не на жизнь, а на смерть — кончает жизнь выстрелом в себя, не пожелав мириться с изначальной (действие в двадцатые годы происходит) неправдой власти и строя, сочинил именно он. Пусть и хотелось откровенным в разговорах прогрессистам, чтобы написал такую повесть кто-то из своих (Казакевич, например).

Литературной средой отец прежде не был замечаем — Виктор Ефимович знал его тысячу лет, но вряд ли он был ему интересен до сенсационной публикации повести.

Но теперь оттепельная публика ждала от него каждодневной отваги и в общественной жизни.

И своей осторожностью он многих разочаровал.

И я в свои семнадцать лет, разбуженный громким — сейчас уже мало кто помнит ту громкость — успехом отца, ждал от него такой же баррикадной храбрости в разговорах, как на Ордынке.

Но мой отец предпочел лишний раз не высовываться. И выбранная им форма независимости (на счет независимости отцовской я догадывался) казалась мне скучной. Появились, мол, деньги на жизнь — с долгой послевоенной бедностью покончено — и ладно, незачем дразнить гусей каким-нибудь фрондерским выступлением. Лучше и дальше сидеть на арендованной у Литфонда даче (долгов за аренду больше нет) — сочинять и сочинять (удайся ему снова что-то, столь же заметное, кто бы потом осуждал его?).

Между прочим, гуси, которых поостерегся он дразнить, прекрасно разобрались в хитрости сугубо оборонительного отцовского маневра — и терпеть его не могли за то еще, что не давал он повода к нему придраться.

Виктор Ефимович все про существовавший строй давно понял и ни на что очень уж заметное не претендовал — жить старался весело, смотреть на вещи просто (насколько уж Ардову это удавалось, ему одному и судить).

Мой отец претендовал на гораздо большее (на большее, возможно, что было в его литературных и человеческих силах, я стараюсь быть объективен, но вряд ли свободен от переоценки способностей своего отца) — и заблуждения, помогавшие ему — до поры — в работе, были важнее статичного и, значит, безнадежного понимания ситуации.

Он и в самые успешные для себя годы склонен бывал к долгим депрессиям. А меня совсем недавно Миша Ардов спросил, знаю ли я, что такое депрессия. Мой друг за семьдесят с лишним лет так и не испытал, к счастью, депрессии — вероятно, и дома от родителей Михаил про депрессивные настроения не слышал.

Мой отец отличался крайне неудобным в быту и общении характером — и мало кто бывал к нему надолго расположен. Большинство собеседников, по-моему, просто напрягала, физически утомляла его манера разговора с переходами от чрезмерной насмешливости к непредсказуемому пафосу.

Я, к сожалению, унаследовал, ничуть того не желая, некоторые из неприятных мне в отце черт характера — и людям и со мной бывает нелегко. Сказал я как-то тому же Мише Ардову, что человек я по-своему очень мягкий. Миша тут же отреагировал: «Но очень по-своему».

И вот с таким фамильным (в зародыше) характером я бежал, теперь можно сказать, от характера отца, определявшего рисунок жизни нашего дома, — к Ардовым.

И принял все правила игры — в лучшем смысле (как играют шипучие вина, как играют на подмостках водевили) ардовского дома.

Что-то общее просматриваю в семье наших — с мальчиками Ардовыми — матерей.

И та, и другая остались без той известности в своих профессиях, что художбно выпала их мужьям.

Но они обе не соглашались ограничиться одним обустройством семейного быта (целиком на них возложенного) и продолжали нести свой крест — Нина Антоновна у себя в театре, маман — за письменным столом, когда выбиралось время за него сесть.

Но с Ниной Антоновной была красота, всеобщее восхищение, красавицы-подруги, приходившие к ней играть в карты, прошлое, связанное с лучшими временами Художественного театра, старший сын — знаменитый на всю страну киноартист, красивые и веселые младшие сыновья, в чьих талантах никто не сомневался, — и еще много, много чего, а моя матушка всегда оставалась в тени мужа и вообще в тени — и дети (мы с братом) ничем ее не успели при долгой ее жизни порадовать.

Актерским умом я понимал, что родители мои выглядят для Ордынки недостаточно эффектно. И подспудно создавал в представлении Ардовых более привлекательный образ своих родителей, особенно отца, чья известность убывала, но все же проходил он по номенклатуре, недоступной Виктору Ефимовичу с его более стойкой известностью юмориста.

Виктор Ефимович — с его открытым домом — бывал для приятелей сына своим человеком. Мой же отец выглядел эдаким переделкинским затворником — и ощутимую дистанцию между собой и бывавшей у меня молодежью удерживал.

И вдруг в один из своих приездов с дачи отец, застав у меня приятелей (всех не помню, но Миша Ардов был точно) сел с ними выпивать, избежав привычных для себя нравоучений. Увлеченный беседой с молодыми людьми, отец выразил желание продолжить — мы обрадовались нежданному-негаданному, как бы теперь сказали, финансированию желаемого, конечно, и нами продолжения — и все отправились на Пятницкую в кафе.

На том бы и остановиться.

Отец, однако, захотел посмотреть дом, где жил он когда-то в квартире, временно выделенной ему «Известиями», а когда выгнали из газеты, из квартиры автоматически выселили. И выселял управляющий делами Васька (отец зла на него не держал) Медведев — папа художника Володи Медведева, придумавшего

воспроизвести на супере ахматовской книжки рисунок Модильяни. Квартира, откуда отца в тридцатые годы выгнали, находилась в другом крыле дома Ардовых.

Спонтанное решение отца — навестить (без телефонного предупреждения) Ардовых меня совсем не обрадовало.

Я чувствовал, что сегодня отец не будет соответствовать образу, сочиненному мной, все-таки отталкиваясь от натуры.

Ардовы никакого неудовольствия приходу незваного гостя не выразили, а гостивший у них преподаватель Гнесинского училища Козлов даже обрадовался возможности побеседовать с известным ему писателем накоротке. И все бы ничего...

Но для полного комплекта Нине Антоновне захотелось обязательно вытащить за стол и Ахматову.

Разумеется, ни на чьи уговоры, кроме «Нининых», Анна Андреевна не поддалась бы.

Анна Андреевна появилась из своей кельи в сопровождении Толи Наймана. Толиного насмешливого ума (и языка) я особо опасался.

Успешный советский (подчеркиваю) писатель из Переделкина мог стать для него слишком сильным раздражителем.

Татьяна Бек, дочь Александра Бека, никогда не могла простить Толе испорченной встречи своего отца с Ахматовой в Комарове, когда Анатолий Генрихович своей высокомерной иронией сумел смутить неробкого Александра Альфредовича — ему, не исключая, показалось, что Найман оттого и осмелел, что чувствует за собой Анну Андреевну, наверняка за него держащую мазу, а не за незнакомого ей Бека.

Отец знал у Пастернака наизусть два стихотворения. Читал мне — в мои как раз четырнадцать: *«Напрасно в дни великого совета, / Где высшей страсти отданы места, / Оставлена вакансия поэта: / Она опасна, если не пуста»*. И перевод с грузинского: *«Если мужества в книгах не будет, / Если искренность слез не зажжет — / Всех на свете потомство забудет / И мацонциков нам предпочтет»*. У Ахматовой — одно: *«Вижу выцветший флаг над таможенной / И над городом желтую муть...»*.

И при появлении Ахматовой он приветствовал ее этими стихами — но начал почему-то не с первой строфы — перескочил: *«Стать бы снова портовой девчонкой, / Туфли на босу ногу надеть...»*. Но дочитал до конца: *«Все глядеть бы на смуглые главы / Херсонесского храма с крыльца / И не знать, что от счастья и славы / Безнадежно дряхлеют сердца»*.

(Толя — справедливо претендовавший на право толкования Ахматовой — сказал на следующий день, что Анна Андреевна не любит, когда читают при ней именно это стихотворение.)

А в дальнейшем разговоре отец держался так, словно присутствие за столом Ахматовой для него самое обычное дело. Намеренно ли он так себя вел, я тогда, признаться, не понял. Огорчился — очень огорчился.

Анна Андреевна вообще не произнесла ни одного слова за вечер.

И только сделала недоуменное лицо, когда отец что-то лишнее сказал про Маршака.

Не помню и Толиного участия в разговоре.

Следующей накладкой семья Нилиных обязана нашей матушке. (Она-то относилась к Ахматовой со всем принятым пиететом. И рассказывала мне, как в эвакуации — в Ташкенте — дома у одной ее знакомой читала стихи Анна Андреевна, — и на том чтении присутствовал и я, двухлетний.)

Но пока отец витийствовал на Ордынке, к нам на Лаврушинский пришел детский поэт Валентин Берестов. Матушка помнила, что в Ташкенте с Валей

Берестовым носились как с вундеркиндом. И Алексей Толстой ему покровительствовал, и Чуковский — и к Ахматовой, конечно же, его водили.

И мать решила сейчас же, прихватив из дому дополнительную выпивку и закуску, отвести Валу на Ордынку — преподнести Ахматовой сюрприз.

Валу (Валентина Дмитриевича Берестова) к тому времени выбрали в правление то ли московской, то ли российской писательской организации. И Анне Андреевне, и Толе (не состоявшему в Союзе писателей) факт участия Берестова в общественной жизни почему-то казался позорным для поэта, с детства благословленного такими людьми.

Все мы, кроме отца (ничего не хотевшего замечать), почувствовали негодование Ахматовой при виде ничего не подозревавшего Вали — и ее молчаливую санкцию на давно ожидаемые словесные уколы застоявшегося Анатолия косившему под добродушие (а что ему оставалось?) Берестову, — вечер стал многомернее, появлялась дополнительная интрига. И неизвестно, куда бы зашло дело, отдай отец другим площадку. Но он ее так и не отдал... Даже Виктору Ефимовичу, что совсем уж небывалый случай.

Маски и подтексты стали казаться очевиднее через много лет.

И вот мои предположения.

Признанный выразитель странности женского сердца, Анна Андреевна Ахматова предпочитала, мне кажется, мужское общество — женскому, на которое из-за всегда необходимой ей помощи в борьбе с прозой жизни обречена бывала чаще, чем лежала к тому душа.

Во-вторых, стеснение перед новым человеком, как и вообще стеснение на людях, присуще было Анне Андреевне больше, чем представлялось этим людям, естественно робевшим в ее присутствии (во многом, уж открою семейную тайну, и отцовская неудержимость в разговоре вызвана была тем же самым — стеснением перед людьми, не вполне ему близкими, но близкими к Ахматовой).

В-третьих — и наиболее интересных мне для рассмотрения, — литературная подоплека не могла не обнаружиться при такой случайной для обеих сторон встрече.

Конечно, нашумевшую повесть отца Ахматова не читала — и уж точно ничего о нем прежде не слышала (какая разница, что были они фигурантами в соседних идеологических постановлениях — «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и «О кинофильме “Большая жизнь”»).

Но уж так устроен литературный мир, что и великим, и самым прославленным любопытно бывает взглянуть на тех, о ком говорят в связи с успехом.

Немаловажной для Ахматовой была и репутация отца — хорошая, что во все времена редкость. Кроме того, она могла слышать про повесть отца от своей подруги — Надежды Яковлевны Мандельштам. С чего я взял? Надежда Яковлевна на ардовской кухне говорила мне добрые слова об отце. Но не помню, чтобы передавал слова ее дома — я тогда не очень и понимал, кто такая Надежда Яковлевна. Про Мандельштама я впервые услышал на Ордынке. Что это тогда значило? Наш профессор в Школе-студии по зарубежной литературе, которому я пересдавал экзамен трижды за зимний семестр второго курса, настолько удивился моему знанию самой фамилии Мандельштама (а имя-отчество я тоже знал), что поставил мне зачет, не усердствуя с вопросами.

Одним словом, соблюдай отец неписаные правила поведения в обществе Ахматовой, не делай он вида, что не вполне понимает, кто перед ним, отец произвел бы на нее вполне хорошее впечатление — дежурное поклонение всех и каждого может и приесться. Про Толю же я думаю, что таких не совсем цивилизованных господ, каким мог показаться ему отец, он слегка побаивался. К тому же на него отец — думаю, что не нарочно — внимания не обратил. Что на Ана-

толия, уже привыкшего считать себя неотъемлемой частью Ахматовой, могло подействовать отрезвляюще.

Отец лишь делал вид, что присутствие Ахматовой его не приводит в трепет.

Он был совсем не настолько темен или самовлюблен, чтобы не понимать, *кто* Ахматова (или *кто* Пастернак). Он уж скорее сдержанно относился к официальным советским знаменитостям — даже к Твардовскому (читил в нем редактора лучшего журнала, а не поэта). Однако остро чувствовал, что страстные читатели Ахматовой и Пастернака — не его референтная группа.

Но стиль поведения отца на Ордынке объяснялся прежде всего тем, что ни смолоду, ни в годы оскорбительной безвестности он не искал ни расположения, ни благословения, ни общества *классиков* (пусть и переоценивая себя, он видел в них соперников), не старался поддержать полезные для самоутверждения знакомства со знаменитостями (что меня и мою матушку иногда огорчало).

Люди с именами — вроде Игоря Моисеева, Райкина или Любови Орловой — случались у нас в Переделкине и на Лаврушинском. Но продолжительных знакомств с известными людьми, кроме Чуковского или Сергея Сергеевича Смирнова, не упомяну. В общем, и десятой части тех заслуженных людей, что видел я на Ордынке, в гостях у моих родителей быть не могло.

Я зря сердился на отца за вечер с Ахматовой — сам подобным же образом вел себя при событии, которое смело назову историческим.

Сейчас я попробую рассказать об одном из вечеров на Ордынке, о котором мне совсем не хотелось рассказывать. Но из летописи строку не выкинешь.

Я на этом вечере-сцене меньше всех себе нравлюсь.

И не уверен, что пришедшие позднее соображения меня извиняют.

Мы не должны себя оправдывать задним числом.

Но очень хочется — оправдать.

Перед самым завершением университета произошел со мною неприятный случай, грозивший лишить меня всего — высшего образования, свободы и так далее.

Я подрался с шофером такси — и нанес ему, как он доказал в милиции, физические увечья.

Милиция, само собой, держала сторону шофера перед студентом, к тому же сыном писателя. Причем Альберт Кузьмичев (на всю жизнь запомнил имя его и фамилию) — малый крепкий — вполне мог справиться с пьяным пассажиром. Но Альберт предпочел выжать все из положения потерпевшего.

Ничьи хлопоты мне не помогли. Ардов-старший ходил в милицию с удостоверением «Крокодила» — уж казалось бы, — не помогло. Аркадий Вайнер работал на Петровке — и его связей не хватило. Кузьмичеву хотелось посадить меня в тюрьму.

Выход нашелся неожиданный — у моего друга Гены Галкина был папа Федор Иванович, водитель тяжелых грузовиков, человек исключительной силы, но на редкость обходительный и мягкий в обращении.

Мы купили шесть бутылок водки, Максим Шостакович на своей машине «пежо» отвез нас к черту на кулички, где проживал Альберт. И Федор Иванович потерпевшего уломал — тот согласился забрать из милиции свое заявление.

Федор Иванович торопился на профсоюзное собрание — на нем и литр выпитой водки никак не сказывался. Он попрощался с нами, не удержавшись от сентенции: «Чем скромней, тем умней. А если мы такие сильные, то лучше соберемся дома — и поборемся». Мы с Геней поехали ко мне на Лаврушинский обсудить случившееся.

И тут позвонил Виктор Ефимович: «Анна Андреевна Горенко (для большего юмора он назвал Анну Андреевну ее настоящей фамилией) приглашает тебя на торжество в честь годовщины выхода ее первого сборника “Четки”».

Я соображал, какая мне оказана честь, но и благодарность Гене, чей папа спас меня от тюрьмы, была велика. К тому же Гена Галкин был Анне Андреевне известен — такого красавца дамское внимание не могло не засесть. Для Галкина она сделала вещь, не вообразимую теми, кто знал Ахматову.

К Борису каким-то образом попала книжка Андрея Вознесенского — всего вероятнее, презентовал все тот же Володя Медведев, и ее оформлявший. И по ходу очередной гулянки Боря стал на полях книжки рисовать — и очень талантливо — различных зверей, целый зоопарк нарисовался. Восхищенный Галкин потребовал подарить улучшенное издание ему. Боря подарил. Но Геннадию и этого показалось мало — он попросил Анну Андреевну дать ему автограф на книге Вознесенского — и своего добился.

Существует теперь и такой раритет.

На этом взаимоотношения Галкина с высокой поэзией не завершились. Однажды к Ахматовой пришел с визитом еврейский поэт Самуил Галкин в точно такой же зимней шапке, как у нашего Геннадия. Галкин-поэт в отличие от Галкина-студента ничего не пил, но все же надел по рассеянности шапку студента. А студент ушел в шапке поэта.

Самуил Галкин очень скоро после визита к Ахматовой умер. Через год ему поставили памятник. Я так уверял всех, что на памятнике он изваян в шапке Гены Галкина, что и сам в такую версию поверил.

Но совсем недавно, когда бродил по Новодевичьему, остановился возле памятника Самуилу Галкину. (Давно уже умер и наш Галкин, но я уже не узнаю, есть ли пристойное надгробье на Митинском кладбище.) Поднял глаза и увидел, что шапки на нем нет. Жизнь скучнее вымысла.

Я пошел на Ордынку — без цветов (деньги ушли на угощение потерпевшего), но с Геной Галкиным.

Надо ли вспоминать, что битый час на торжестве в честь знаменитых «Четок» я в подробностях рассказывал о конфликте своем с Альбертом Кузьмичевым с благополучным (для меня) разрешением — и никто не сумел меня перебить и поставить на место.

Сам спохватился. Подсел к Анне Андреевне и тихо спросил, не переборщил ли со своим рассказом? Она ласково ответила, что немножечко переборщил. И вечер продолжился.

Вечер, где я так стеснялся своего отца, в летописи нашел отражение. Сохранилась запись Анны Андреевны, что были у нее Нилин с Берестовым, — и никакого комментария.

А про годовщину «Четок» я в толстенном томе совсем ничего не нашел — может быть, плохо искал, рассеянность все больше одолевает меня; и единственным свидетельством моего там присутствия стали мемуары Маргариты Алигер.

Но Маргарита Иосифовна застала далеко не все. Выяснилось, что комната Анны Андреевны на Ордынке кем-то оказалась занята — и остановилась Ахматова у Алигер в Лаврушинском. (Мастер и Маргарита — Ардовым шутка, пришедшая мне в голову сейчас, могла и понравиться.) Торжества все равно проходили на Ордынке, но почему приютившей Анну Андреевну Алигер не было с начала вечера, не знаю. Она пишет, что пришла поздно, чтобы отвести Ахматову к себе. За столом оставалось трое — Анна Андреевна и мы с Мишей. Про Анну Андреевну Алигер пишет, что была она прекрасна и величественна,

а мы с Михаилом «изрядно», как показалось Маргарите Иосифовне, хлебнувшие.

«Я все же вижу в нем отца».  
Хорошо это или плохо?

Слышал (краем уха, шел мимо, торопился, как всегда, в детскую), как Виталий Яковлевич Виленкин — всеми почитаемый театральный ученый, историк МХАТа и педагог Школы-студии МХАТ — говорил Анне Андреевне, что узнал о Модильяни очень многое и надеется вскоре узнать еще больше. Он сочинял книгу о Модильяни. Интересно, что думала Ахматова в ту минуту про автора будущей книжки (равнодушного к женщинам), никогда не видевшего ее изображений ню.

Книжку Виталия Яковлевича, изданную годы спустя, я все собирался прочесть — и не собрался, ткнуть, бывало, в нее носом, но увлечь себя не смог.

Подсознательно я не хотел, наверное, узнавать у Виталия Яковлевича больше, чем, казалось мне, я уже знал. Моя беда, что довольствуюсь малым.

Если малым, конечно, можно назвать рисунок Модильяни, который имел я честь возить взад-вперед на такси, и несколько страничек воспоминаний Анны Андреевны — для меня высочайший образец прозы, читаемой как стихи (не мыслю без этого настоящей прозы).

Рискну назвать себя одним из первых читателей ее воспоминаний о Модильяни.

В этом никакой моей заслуги. Был у Миши на Ордынке — и вдруг Анна Андреевна вынесла несколько машинописных страничек из своего пенала и предложила нам.

Все никак не привыкну к тому, что любую из строчек, сочиненных Ахматовой, ничего не составляет теперь в любую минуту прочесть на великолепной бумаге. Набранную крупным шрифтом.

Текст про Модильяни я мог бы выучить наизусть — многие фразы оттуда наизусть и помню, но мне нравится сам процесс перечтения вновь и вновь такой прозы.

И всегда сквозь строки, набранные в типографии, проступает для меня машинописный шрифт впервые прочитанного на Ордынке варианта.

Возможно, я фантазирую, но мне не перестает казаться, что в последующих редакциях отдельные фразы переиначены. Вообще-то такого не может быть — в собрании сочинений приведены все редакции. Может быть, самый первый вариант исчез как черновой?

Вспоминаю, что от последней странички воспоминаний была аккуратно оторвана ровно треть. Последнюю страничку она и не сразу нашла. Посетовала: «Я — не литератор». Мы с Михаилом захихикали, понимая, что присутствуем на сеансе исторического кокетства. Но Анна Андреевна тут же спокойно и пояснила: «Я же не говорю — не поэт. Не литератор».

Разница (между поэтом и литератором) дошла до меня, как всегда, много позднее.

Никакая не трагедия, когда поэт — не литератор, беда, когда литератор возмнит себя поэтом (да и прозаиком тоже).

Анна Андреевна с трудом обошла обеденный — в полкомнаты — стол и выдвинулась под пробивший стекло окна сноп солнца.

Портрет кисти Баталова («похожий, как у крепостных художников») чуть кренился вперед у нее за спиной.

И когда я взглянул на Ахматову, от портрета сходством отслоенную, в курсе, достойном сновидения, — понял, что в растиражированном теперь рисунке — где хранится сегодня подлинник? — главное.

Модильяни одной нескончаемой черной линией по белому очертил всю жизнь возлюбленной — и будущую, и вечную, — прошлое осталось на утерянных рисунках, растворившихся в мире с войнами и революциями.

А подробности ее старости — вплоть до нынешнего лилового, фотографической засветкой обесцвеченного халата — может быть, и необязательно запоминать, когда есть всегда сопровождающий Анну Андреевну Модильяни.

Тогда не насторожила — настораживает сейчас ее фраза о «предыстории» их (с Модильяни) будущей жизни: «его — очень короткой, моей — очень длинной». Ей, когда принялась она за воспоминания о Модильяни, лет было чуть меньше, чем мне сегодня.

В последней редакции воспоминаний она пишет, что никогда не слышала от него ни одной шутки. В первом варианте было категоричнее: «Он никогда не шутил». Мы с Михаилом виновато переглянулись — почему потом и не обрадовала меня ее похвала моему обыкновению часто шутить.

У нас тогда шел по всем кинотеатрам фильм «Монпарнас, 19» с обожаемым у нас в стране Жераром Филиппом (Фанфан-Гюльпаном), сыгравшим Модильяни.

Тогда, разумеется, более всего увлекал сюжет — история жизни.

Меня и сегодня волнует жизнь художника, которому не то что чего-то недодали при жизни, не то что недооценили, а не дали ничего. Не видели в упор. И прав тем не менее он — во всем, на что надеялся, прав оказался только он — хотя и Ахматова признается, что только из некролога во французском журнале, чудом к ней попавшем в начале нэпа, узнала, что ее парижский друг — великий художник XX века и его уже сравнивают с Боттичелли.

Анне Андреевне фильм о Модильяни показался пошлым — и свое впечатление она завершает словами «Это очень горько».

Мне чудится, что в машинописном варианте получалось эмоциональнее — вернее, мне нравилось больше. Смысл сказанного ею в том, что в следующий раз воочию она увидела Модильяни представленным исполнителем роли Фанфана-Гюльпана. И вместо последней фразы одно слово: «Ужас!».

Летом две тысячи девятого года отмечали юбилей — Анне Андреевне исполнилось бы сто двадцать лет.

Жена уезжала в Питер по приглашению музея Ахматовой на юбилейную конференцию. Провожал ее с Ленинградского вокзала — и пытался нашпиговать ее смешными историями — и своими, и Мишиными с Толиными (и Мишины, и Толины она, конечно, читала, правда, в ахматовской жизни ее, по-видимому, интересовала иная сторона, но как друг дома Ардовых я считал несколько юмористических изюминок в научном пироге не лишними).

Жена уехала, а я остался. Они там — в музее — говорили разные умные вещи. А я бродил по нашему дачному поселку с не отпускавшей меня стихотворной фразой: «*“Онегина” воздушная громада, как облако, стояла надо мной...*».

В день смерти Ахматовой — пятого марта — собирались... хотел сказать — мы, но вспомнил, что и кроме нас («нас, Алдовых», как шутили мальчишки) много кто собирался в такой день на Ордынке. Сначала — панихида в церкви Всех Скорбящих Радость, — храм стоит наискосок через дорогу от ардовского дома. И дальше — бесконечное застолье у Ардовых.

Панихиду проводил тоже наш хороший знакомый, отец Борис.

Однажды мой друг Авдеенко задал отцу Борису резонный вопрос: что будет, если годовщина Ахматовой совпадет с Великим постом — сможем ли мы помянуть Анну Андреевну рюмкой водки?

Отец Борис ответил ему с амвона на следующей панихиде — Авдеенко, тогда секретарь партийной организации еженедельника «Неделя» (субботнее приложение к печатному органу советского правительства газеты «Известия»), в дубленке и со свечкой в руке, стоял впереди остальных молящихся.

Сказал, что вот прошлый раз интересовались... если молитва ваша была светлая, не грех и выпить.

Много чего можно вспомнить про годовщины на Ордынке за столько прошедших лет — и опять же смешного (Галич, например, хотел спеть за столом, но никто не предложил, а до того на улице они со Львом Копелевым — два господина в роскошных, куда Авдеенко, дубленках — истово крестились, завидев издали купола храма), и всякого.

Но в сегодняшнем воспоминании выделяю (для себя) одну лишь из годовщин.

Такого аншлага в квартире Ардовых мы, завсегдатаи всех прочих годовщин, не припомним.

Вечером, когда все уже собрались за столом, позвонила на Ордынку Фаина Григорьевна Раневская, что и она бы поучаствовала, но надо за ней заехать. Солистка балета Большого театра Нина Чистова училась водить машину и вызвалась съездить — я отправился с нею: мало ли что...

Когда вернулся, стало не протолкнуться — еле усадил Раневскую. Толя Найман острил: «Саша, идите покажитесь французам как человек, который видел Ахматову». Но я ушел в детскую, где сосредоточились незнатные друзья дома и ардовские родственники, — и уселся в единственное там красного дерева кресло. Захотелось от всего увиденного немного отдохнуть — не понимал, что тяготит меня.

К нам в комнату зашел переехавший из Ленинграда в Москву артист Сергей Юрский. Потом я узнал, что привел Юрского на Ордынку Миша Козаков. Но перед нами он появился в одиночестве — и оказался в отчуждении. У бедных родственников — вынужден не отделять себя от них в дурацкой ситуации — разыграла вдруг неуместная гордость. Юрский благоговейно осматривал стены дома, где бывала Ахматова, — ему откуда было знать, что Анна Андреевна никогда сюда, к детям, не заглядывала. А нам захотелось изобразить перед знаменитым человеком, что мы-то свои на Ордынке (а он кто такой?), хотя вряд ли каждого из присутствующих Ахматова бы опознала.

Особенно неестественно выглядел я — в кресле, словно драматург Островский на памятнике возле Малого театра (а Юрский служил у Завадского).

Юрский проявил себя тонким человеком — почувствовал себя чужим в этой мемориальной толчее и ушел. Совсем ушел с годовщины. Третья жена Бори — Ольга — была в отчаянии. Она так мечтала образовать у себя — Виктор Ефимович к тому времени умер — салон со знаменитостями, и вот Юрский потерял безвозвратно. А мне до сих пор неловко перед Юрским.

Но на этом не закончилось. Ближе к завершению вечера, когда часть возрастных и не самых здоровых гостей засобиралась уже восвояси, объявился пьяный господин, которого — в отличие от Сергея Юрского — никто и вправду не знал. Мало того, непрошенный гость позволил себе хамски спросить: «Да какое вы все имеете отношение к Ахматовой?». Легко представить наше — хозяйское — возмущение. Тотчас же выкинули провокатора вон. И еще долго не могли успокоиться: «Кто этот бестактный нахал?». Фаина Григорьевна предположила: «Просто бедный человек, зашел покушать...».

Не скажу, что сразу же перестал ходить на годовщины, но бывал уже реже — я и на Ордынке перестал быть постоянным гостем. Да и сами годовщины стали малолюднее — старики помирали, те, кто считался помоложе, старели, с болезнями тоже все больше приходилось считаться. Контингент отмечающих годовщину Ахматовой расширялся теперь только за счет новых знакомых Бори и но-

вой Бориной жены. Мне ревниво казалось, что они смутно представляют себе Анну Андреевну. Но я мог и ошибаться — чтение стихов Ахматовой дает не меньше, чем личное знакомство, а занятные подробности жизни поэта знать необязательно.

Миша сделался отцом Михаилом, настоятелем храма на Головинском кладбище, и панихиду по Ахматовой стал проводить сам — собирались теперь у него в храме.

На сороковую годовщину смерти Анны Андреевны отец Михаил позвонил мне — напомнить, что я пропустил уже три годовщины подряд, — политически это не совсем верно.

К тому же на нынешнюю годовщину Миша пригласил телевидение — и хорошо бы поэту Рейну и мне дать интервью как людям, знавшим Ахматову.

Я стал думать, какую бы историю смог уложить в полторы от силы минуты стандартного телеинтервью. Но жена посоветовала мне излишне не беспокоиться — интервьюировать будут в любом случае медийное лицо и наверняка предпочтут мне Евгения Рейна.

Когда приехал на Головинское кладбище, увидел, что на панихиде будет и артист Михаил Козаков, — и успокоился окончательно. Тетенька с телевидения зря смотрела нарочно мимо меня — а я ни на что и не претендовал. Занялся Борисом — он прибыл из Абрамцева не в лучшей форме...

Андрею Кучаеву (которого чуть ли не при Анне Андреевне связывали) — он жил с девяностых годов в Германии и в Москве бывал наездами — я пересказывал такого типа эпизоды весело, вроде бы с долей насмешки над теми, кто неизменно бывал в центре внимания. Я чувствовал, что Андрей слегка переживает свое отсутствие в ахматовском мемориале.

Уже после кончины Андрея, весной две тысячи девятого (до ста двадцатилетия Ахматовой он не дожил, едва дожил до своих семидесяти), я внимательнее вчитался в его рассказ о «женщине из зеркала» (первой жене Алексея Баталова, а потом жене самого Андрея — Ирине Ротовой) — и понял, насколько же болезненно пережил он, что в Мишиных (отца Михаила при этом Кучаев по-прежнему называет другом) мемуарах про Ахматову на Ордынке не упоминается, что он, Кучаев, бывал и в доме, бывал и замечен великой женщиной, ради которой писались мемуары...

Среди мемуаристов есть свои генералы, но и неизвестным солдатам оставлена вакансия.

Смерть Анны Андреевны в марте шестьдесят шестого года застала меня все еще в АПН. Одним из руководителей нашей редакции — третьим (или четвертым) заместителем главного редактора работал Николай Александрович Тарасов.

Тарасов всю жизнь служил в редакциях (газеты, агентства, журналов), занимая не самые ответственные посты. Кроме того — это «кроме» он и считал делом своей жизни — Николай Александрович сочинял стихи. И почти всю жизнь прождал их публикации. Но в литературной среде Тарасова многие знали как учителя Евтушенко — ученик рассказал про своего учителя в скандальной «Автобиографии», вышедшей в Париже, и Николай Александрович при известной фантазии мог бы и себя счесть мировой знаменитостью. Но ума — и осторожности — учителю хватило, и на его служебной карьере «Автобиография» воспитанника всерьез не сказалась, хотя начальство с той поры относилось к Тарасову с опаской.

Уж не знаю, какие поэтические уроки дал он юному Евтушенко, но о наставнической роли Николая Александровича следовало бы говорить без малейшей иронии. Много значило в безнадежное, казалось бы (самое начало пятиде-

сятых годов), время пригреть в редакции (пусть спортивной, но всесоюзной газеты) нищего, оборванного мальчишку, ободрить, дать ему прочесть редкую книжку полузапрещенного Пастернака — и напечатать (чего для самого Тарасова никто еще очень долго не сумел сделать) крайне слабые на тот момент стихи подростка Жени, сочиненные им к очередной советской дате, — и Евтушенко начался...

Николай Александрович и мне покровительствовал — без того, как видите, эффекта, как в случае с Евтушенко, — и это ему принадлежит идея, что я напишу на смерть Ахматовой — для АПН (очень смелая, кто понимает, для зависимого человека инициатива). Что-то наподобие хрестоматийного «Умер Александр Блок».

В АПН пиши — не пиши, известности не приобретешь.

Но кроме Тарасова работал у нас четвертым (или был он третьим, всегда путал) замом главного Юрий... выскочило из головы отчество... Иващенко — человек, мне казалось, скользкий. Но любил компанию — и это всех критиков Юрия... вспомнил отчество благодетеля — Данилович... с ним примиряло.

Иващенко был в близком известинском (а до того и в «Комсомольской правде») окружении Аджубея, руководил у него отделом искусств (все-таки учился в ИФЛИ) и погорел вместе с шефом после отставки Хрущева. Вылетел со службы и попал к нам в АПН.

АПН от «Известий» через площадь — Иващенко ежедневно мог навещать бывших сослуживцев. И вот сделал он доброе для меня дело. Заинтересовал моей заметкой про Ахматову сотрудника отдела искусства Михаила Хитрова (он потом был ответственным секретарем у Твардовского в «Новом мире»).

И меня пригласили работать в «Известия». Пригласил, точнее, ничего в смысле найма и приема не решавший Хитров. А у большого начальства и кадровиков все застопорилось, и я остался в АПН — так не состоялась моя газетная карьера (сотрудник, на чье место хотели меня взять, дошел в дальнейшем до кресла первого заместителя министра культуры СССР).

...Лет примерно через десять, когда я с манкированием нелюбимой профессией журналиста доигрался до того, что все двери штатной работы для меня закрылись и выбирать стало не из чего, — вынужден был сам постучаться в «Известия». В еженедельном приложении «Неделя» работал теперь заведующим отделом Авдеенко — и он попытался затащить меня к себе. Но противилось, как всегда в случае со мной, более высокое начальство — и влияния Авдеенко было недостаточно.

Я тем не менее уперся (что бывало со мною нечасто) — другого выхода у меня не оставалось, — пришлось укротить (насколько смог) фанаберию — сочинять и сочинять заметки, публиковавшиеся через одну.

И когда мне был предложен отделом Авдеенко верняковский вариант — побеседовать для специальной полосы «Гость какой-то там страницы» с артистом кино Баталовым, я уцепился за этот заказ зубами.

В интервью я задал Баталову вопрос, не поехала ли у него крыша на самой начальной стадии кинославы. Алексей отвечал, что нет, не поехала, он же понимал, что значит его киношная популярность в сопоставлении с величием Ахматовой (Алеша так и сказал: «величием»).

Но в редакции к «величию» придрались — причем не какие-нибудь ретрограды, а уважаемая, весьма либеральная дама, и настолько по-свойски (мы с нею и сегодня друзья) либеральная, что я мог позволить себе с ней заспорить. Она не пожелала «власть употребить» — обратилась за разрешением творческого спора к забредшему к ним из центральной усадьбы (из самих «Известий») международнику.

К., даром, что международник, считался внутри редакции леваком и революционером. Но и он глубокомысленным басом сказал, что «величие» в приложении к Ахматовой — все-таки чересчур...

И тогда же мне вспомнился «Ионыч» — Ионыч у Чехова подумал: «А хорошо, что я на ней не женился», а я — что не приняли меня тогда в «Известия», и не надо.

У меня гораздо меньше, чем у Андрея, — если и вообще они могут быть, — оснований обижаться на отца Михаила.

Во-первых, всегда держу в уме, что и Миша с покойным Борей, и Толя Найман (насчет Рейна не уверен, но могу ошибиться, он же как-никак познакомил с Анной Андреевной Бродского) стояли к Ахматовой ближе, сколько бы ни нравился ей Андрей и ни смешил я ее своими шутками.

Во-вторых, по Мишиной наводке и ко мне обращались раза два-три — и не Мишина вина, что внятного разговора про Ахматову у меня ни с кем не получилось.

Приезжали ко мне в Переделкино две дамы из того же музея Ахматовой, пытались мои байки и суждения записать на пленку. Чтобы скрасить их разочарование нашей беседой, пошел проводить их на электричку — они расписание перепутали, пришлось почти час на морозе ждать следующую — и пока на платформе стояли, могли, кажется, разговориться, но успели надоесть друг другу и тягостно молчали.

Записать на пленку — еще ведь и похоже изобразить голос, интонацию, а копировать других людей я не умею.

Анна Андреевна не жаловала всеми любимого Андроникова, но ей нравилось, как Боря показывает композитора Матвея Блантера. Блантер рассказывал Виктору Ефимовичу на Ордынке, как съездил он туристом в Париж — большой тогда редкостью были такие вояжи — и на автора песен, как теперь говорят, о главном произвело наибольшее впечатление, что в кафе стоят столики, а вокруг стулики (цитирую буквально, а не по Бориной на Блантера пародии).

Блантер, завершив рассказ о кафе, спросил: «Анна Андреевна, а вы были в Париже?» — «Да. В тысяча девятьсот одиннадцатом году». Самый Модильяни — мы же тогда и не знали, что рисунков, подобных тому, что всегда висел у нее над ложем, было шестнадцать — и среди них ню.

Анна Андреевна считала, что в единственном уцелевшем у нее рисунке меньше, чем в исчезнувших, «предчувствуются его будущие ню...».

Всего обиднее, что и на бумаге бываешь не при умении изобразить всё с желаемой тобою точностью.

Сидим мы утром в самой большой — Виктора Ефимовича дома нет — комнате на Ордынке — соображаем, чем себя развлечь. Анна Андреевна может и через кухню пройти, куда ей надо, в глубине квартиры. Но не по-царски — и не с ее полнотой — прошмыгнуть. Останавливается в проеме двери. Мы ее приветствуем со всей почтительностью. Она спрашивает: «А вы, Саша, не пошли сегодня в университет?» — «Нет, — говорю, — я себя сегодня плохо чувствую, Анна Андреевна». — «А что с вами?» — «Похоже, простудился». — «Есть хороший способ лечить насморк. Нагреть на батарее носовой платок — и приложить к переносице». — «Спасибо, Анна Андреевна. А чем нагретый платок помогает?» — «Этого, Саша, я вам сказать не могу. Я — не врач. Я — лирический поэт».

Говно, как сказал бы Виктор Ефимович, история, — если не передать чуть протяжное звуковое единение «о» и «е» в ее произнесении слова «поээт» — сарказм в оценке ситуации.

Уж не помню, по чьей — Мишиной или еще чьей-либо наводке позвонили мне с телевидения: «Приедем к вам — скажите несколько слов насчет памятника Ахматовой». Скажу — отчего не сказать?..

Но я пропустил сообщение об открытии памятника в Питере — думал про московский, тот, что во дворе ордынского дома. Приготовился одну коротенькую историю рассказать. Сомневался, правда, подходит ли она к случаю. К открытию памятника в Питере она бы точно не подошла. Но мне повезло — не могли до Переделкина из-за пробок автомобильных доехать — сняли Толю Наймана. И слава Богу. Не все же на продажу. Поэтому хорошо, когда не покупают, когда не соблазняют...

Памятник во дворе на Ордынке получился бездарным — глупее не придумаешь, как просто перевести гениальный рисунок в плоское скульптурное измерение. Немыслимый кич.

Памятник в Питере, скорее всего, никогда не увижу.

А вот что касается Москвы, Ордынки, двора дома номер семнадцать, то не скажу, что каждый гололед наших долгих зим напоминал мне тот давний эпизод, — но чем осторожнее я сам стал по скользкому льду ступать (а я все же чуть моложе тогдашней Ахматовой и лышу себя надеждой, что физически в лучшей форме), тем чаще вижу картину, как идем мы с ней через этот двор.

Мы на такси съездили с Анной Андреевной в ее сберкассу — рядом, на Ордынке, но ей уже и летом пешком не дойти, а на дворе зима в самом морозном разгаре — и теперь я должен проводить ее до дому.

Идем через чудовищный — в замерзших ухабах — двор. Анна Андреевна в тяжелом, старом, еще довоенном, наверное, зимнем пальто (не в шубе), ноги переставляет медленно. Идем — я весь внимание. И вот на том самом месте, где теперь памятник (издевательство и над Модильяни, и над Ахматовой, но все же хорошо, что поставлен он в Москве, лучше, чем ничего), — на самом опасном участке гололеда решаюсь придержать Анну Андреевну под локоть. Она грузно останавливается — и, убрав из-под бережной ладони моей свой локоть, берет меня под руку. Идти становится еще труднее, но преподано мне такое, что, и не встречаясь я с Анной Андреевной ни до, ни после, все равно бы говорил всем без сомнения, что кое-что важное про Ахматову понял и знаю.

У нас в Переделкине, в музее Окуджавы (а в чем надо было? Пастернака? Чуковского?), юбилей Ахматовой проводили на два месяца позже — пришлось отложить из-за Мишиной занятости в церкви.

Я — по некоторым своим соображениям (для других неинтересным) — ни на какие посиделки (не звать же их по-новомодному тусовками?) не хожу.

Но и выступление Михаила считал бы для себя невозможным пропустить.

Выбрали компромиссный вариант — напросились к нашим друзьям Чухонцевым (они живут на соседней с Окуджавой даче) и слушали выступления со ступенек их крыльца (заодно и предложенного по-соседски кофе выпили).

Я-то с годами стал противником бесповоротных ссор с теми, с кем дружил-приятельствовал когда-то, — и не считаю теперь для себя возможным говорить про кого-либо: мой бывший друг, бывший приятель, не лучше ли сказать — мой друг или приятель в такие-то года. Жизнь все равно воспринимаешь в целом — и

себя в своем движении по ней вернее понимаешь, не забывая, с кем в какие годы ты считал себя приятелем или даже другом.

Анна Андреевна, по свидетельству многих мемуаристов, любила выражение: «Это не в добрых нравах литературы».

Но поведение некоторых ее питомцев, любимцев (не без подковырки называемых «ахматовскими сиротами») заставляет меня как любителя литературы засомневаться в том, что добрые нравы для «сирот», занявших в текущем процессе заметное (как Ахматова и надеялась) место, так уж существенны.

Мне было интересно, памятуя их былую — и несправедливую — безвестность (точнее, известность в самом уж узком слое читавших самиздат), как поведут себя Рейн и Найман в качестве известных писателей.

Ведь и запрещенность (неопубликованность), и непризнание дают иным не меньше (а вдруг и больше?) независимости, чем слава и успех — другим.

Не заметил, чтобы изменились они в корне.

Просто в Рейне легализовалось фанфаронство (в стиле Евтушенко), а в Наймане — высокомерие (под Бродского).

И не враждуй они на людях, забавляя недоброжелателей, ничего бы, кроме похвал им (справедливость в их лицах восторжествовала, не так-то оно часто и случается), здесь не высказал.

Если предельно огрублять причину ссоры (жестко лишая ее нюансов), то лежит она в том, что «сироты» не поделили Ахматову, Бродского и, в известной степени, нашего Михаила.

Не знаю, чем там Толя провинился перед Бродским, но к Рейну Иосиф проявил более стойкую симпатию и нашего Михаила похвалил откровенно в пику Найману и его книге про Ахматову.

При том что из вышеназванных меня как литературное явление (а раз — явление, то и сам автор стихов и эссе) занимает по-настоящему только Бродский, я не спешу полностью принять мнение Иосифа Александровича и тем более видеть резон в унижении Толи на радость супругам Рейнам.

Мишины воспоминания об Ахматовой повеселее будут, поживее — и легче читаются. Найман — вообще-то человек завидного остроумия — пишет более вязко, но обстоятельности у его книжки не отнимешь, тем более что выступил он с мемуаром первым.

Мне потому еще неприятно перераспределение Иосифом своего американского покровительства между друзьями молодости, что Бродский — вне прямой зависимости от масштаба его поэтического дара (или тем более Нобелевки) — кажется человеком очень крупным. Чего про вышеназванных, при всех талантах и высоких интеллектуальных достоинствах, им присущих, сказать с полной уверенностью не смогу.

Не обнаруживаю в себе, кстати, никакой корысти — защищать того или другого в потешном их бою. Мне всего легче поставить Рейна с Найманом на одну доску, согласны они поместиться на ней или нет.

Я всегда помню, что они друзья Миши (Толя друг в прошлом — литературная жизнь, лишённая добрых нравов, развела их). Так что они для меня прежде всего гости Ардовых («сироты» уж потом) — и (внутри моих воспоминаний) почти родня.

Всех лучше (Рейн и Миша были не в ударе) — и по времени дольше (объемнее по концентрации на себе) — выступил Евтушенко. И совершенно прав был наш Михаил, когда после завершения посиделок пошел сначала в гости к нему...

Я, правда, и о том подумал, как меняется общая тенденция — когда Евтушенко было лет двадцать, он себя ассоциировал с Маяковским, а сейчас, когда они с Ахматовой почти ровесники (Анна Андреевна скончалась в семьдесят шесть), Евгений Александрович, выступая в музее Окуджавы, ассоциирует себя с нею.

Счастливым все же дар. И жизнь уникальная — никто такой не прожил.

И всегда способен расположить к себе, как ты ни противься тому, подавленный его эгоцентризмом.

У меня голова уже пошла кругом: Ахматова, Маяковский, Олег Чухонцев (чье крыльцо), Окуджавы, музей Окуджавы, вдова Окуджавы, Рейн с женой-организатором, наш священник Миша, мальчик из музея Чуковского с записью голосов знаменитостей...

Вернул меня к себе — к личным воспоминаниям — не кто иной, как Евтушенко.

Он прочел стихи про гражданскую панихиду по Ахматовой в морге Института Склифосовского.

Некоторые из пришедших на панихиду — потом через годы и десятилетия — печатно возмущались глухотой властей, не пожелавших омрачать женский праздник ритуалом прощания с Анной Ахматовой по соответствующему рангу.

Но нам с мальчиками Ардовыми не до возмущения властями было — мы взялись организовать порядок в морге, чтобы все пришедшие сумели проститься в отведенное жалкое время (и в оскорбительной тесноте помещения).

И мы, по-моему, справились с тем, за что взялись. Порядок был. Я даже мать родную не пропустил вне очереди. Со мною сцепился атлетического вида молодой человек, почему-то решивший, что у него особые права (поэт ли, любитель поэзии, почитатель Ахматовой?) — пригрозил со мною расправиться, когда выйду отсюда. Я не очень-то испугался — сам тогда здоровый был, — подумал разве о неуместности драки «у гробового входа». Но и он, очевидно, подумал о том же — и больше не возникал.

Прощание в зальчике морга с одним (без соседства с другим) гробом — недопустимая у нас тогда роскошь (много бывал на похоронах, но подобного не припоминаю).

И для нашего прощания с Анной Андреевной исключения делать не стали.

Рядом с ее гробом стоял гроб неизвестной нам старушки — родня старушку провожала немногочисленная, и затерялась она в регламентируемой нами давке прощавшихся с Ахматовой.

Такая подробность — второй гроб — одним (из поэтов) Евтушенко была замечена — и очень скоро доведена в стихотворении (в том, что читал он теперь с переделкинской эстрады) до символа.

Анну Андреевну и старушку из соседнего гроба Евгений Александрович позиционировал как две России, невозможные для постижения друг без друга. И строчки там были, мне кажется, выразительные: *«Не верилось, когда она жила, / не верилось, когда ее не стало»*.

Были при прощании поэты, никак не менее одаренные (Арсений Тарковский, например, сказавший речь на панихиде), и не поэты вовсе, подумавшие то же самое, — но вовремя сформулировал опять же Евтушенко.

Служители морга, никого не предупреждая, а в давке их маневра было не различить, переложили гроб с телом Анны Андреевны на каталку — и по невидимому с панихиды коридорчику повезли к лифту. Я стоял вплотную к столу-постаменту — и пошел за ними...

Лифт снизу — из собственно морга — еще не поднялся. И мы — я в полушаге от гроба (и два служителя в прозодеждах) — стояли возле грубо покрашенной в синий цвет клетки, по которой ходит лифт.

Я смотрел на Анну Андреевну с той близости, с какой никогда не видел ее живой. Тон, положенный ей на лицо, начинал таять — и слегка размазался возле краешка губ...

Я не ездил на похороны в Ленинград — не проводил, как все изображенные на знаменитой фотографии знакомые, включая, конечно, и Борю с Мишей (он и организовывал с помощью брата Алеши Баталова похороны в Ленинграде), не говоря о Бродском, Наймане, Рейне — но я попрощался с нею у лифта, громко хлопнувшего дверцей.

А незнакомая нам старушка в гробу оставалась — всех сразу в ледяное чрево морга не могли забрать...

Я вернулся — и понял, что публика с нашей стороны, то ли не заметившая, то ли не осознавшая бесцеремонности служителей, то ли не сумевшая поверить в такую, показавшуюся людям нашей генерации невероятной по кощунственности бесцеремонность, не думает расходиться — начиналась мистика, отчасти и переданная потом в стихе Евтушенко, — они продолжали видеть в гробу незнакомой старушки Ахматову. Не успевшая к скоропалительной панихиде Лидия Корнеевна Чуковская сослепу бросилась прямо от двери к этому гробу. И Анечка Каминская схватила ее за рукав, удерживая — и что-то со слезами объясняя.

К юбилею и фильмы показали по телевизору — один документальный с участием Толи (и по его сценарию) и еще игровой, где очень хорошая актриса сумела (по сценарию, предложенному ей режиссером) сыграть, как мне показалось, одну внешнюю полноту Анны Андреевны.

Но я все равно рад, что дожил до таких фильмов, особенно игрового, — и слова плохого (не то что «Ужас») не скажу о работе актрисы, которую продолжаю любить.

Пока существует линия Модильяни — линия границы (но не запрета) — мы можем смело топтаться перед ней, не переступая.

*«Вижу выцветший флаг над таможенной...»*

А я вижу тот день в опустевшем по случаю праздника городе, когда еду я с Модильяни, очень отчетливо вижу — оттого, наверное, что смотрю туда из опустевшего для меня времени.

Константин Ваншенкин

## Испытания Теркина

В 1954 году поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете» (добавление к «Книге про бойца») обсуждалась в «Новом мире», была набрана для очередного номера и вдруг срочно снята, рассыпана, выброшена, а Твардовский в первый раз (через шестнадцать лет это с ним повторили) уволен с поста главного редактора журнала. За что? За идеологически невыдержанную линию издания, опубликовавшего ряд незрелых, ошибочных произведений, и прежде всего за попытку напечатать поэму «Теркин на том свете» — злобную пародию, сатиру, пасквиль на наш строй, на нашу систему. Так это в ту пору подавалось.

Однако почти все, кто читал тогда эту вещь, поражались и восхищались не только ее отгадой, глубиной, но и остроумием, изяществом, виртуозностью языка, яркой афористичностью. Как тут было не вспомнить отзыв Пушкина о комедии «Горе от ума»: «О стихах и не говорю, — половина должна войти в поговорку».

Теркин, даже находясь на том свете, не мог умереть. Каждый причастный к поэме сотрудник журнала, конечно же, перепечатал ее для себя, дал почитать ближайшим друзьям и знакомым. Она расходилась кругами. Мне уже случалось рассказывать, как осенью того же года, когда во главе «Нового мира» вторично находился К. Симонов, я встретил в редакции Виктора Некрасова, у которого шла там новая повесть «В родном городе», а он в свою очередь познакомил меня с Марком Щегловым и не терпящим неповиновения тоном велел передать мне на несколько дней эту, как он выразился, гениальную поэму. У меня тогда не было машинки, да-да, речь идет не о машине, и мы с Инной равными долями переписали поэму от руки. Вскоре мне попался на Арбате однокашник Володя Тендряков, он тоже попросил перепечатать и через несколько дней вручил мне в благодарность еще и машинописный экземпляр.

Поэма производила сильнейшее впечатление. Она была написана на одном порыве и читалась на одном дыхании. В отличие от большого «Теркина», она шла вся подряд, сплошняком — ни глав, ни главков. И ведь стих и само повествование выдерживали такой нелегкий экзамен. Ее словно что-то поднимало и несло. И люди говорили о ней с восторгом, цитировали друг другу ее строчки...

Но что ожидало ее впереди?

В нашей литературе уже существовала такая практика: ряд известнейших писателей — А. Фадеев, К. Симонов, В. Катаев и некоторые другие после самой высокой критики своих произведений публично объявляли о принятом ими решении кардинально переработать собственные книги, искоренив роковые ошибки и недо-

**От редакции** | В 2010-м году Александру Трифоновичу Твардовскому исполнилось бы сто лет. Помня об этой дате, мы публикуем заметку нашего постоянного автора — и постоянного автора журнала «Новый мир» времен Твардовского, его «соседа по времени» — К. Ваншенкина.

Напоминаем нашим читателям, что в «Знамени» последних лет увидели свет «Рабочие тетради» А. Твардовского. См.: «Знамя», 2000, №№ 6, 7, 9, 11, 12; 2001, №№ 2, 4, 5, 9, 10; 2003, №№ 8, 9, 10; 2004, №№ 4, 5, 9, 10, 11; 2005, №№ 9, 10.

статки, что почти незамедлительно и проделывали. Они считали это вопросом писательской чести.

А что же Твардовский? Здесь, думаю, коллизия все-таки другая. Твардовскому было ужасно жалко нового «Теркина». Он понимал, что это редкостная его удача, и хотел всерьез поверить в возможность «доводки». Почти никто не знал о его планах на этот счет. Но ведь у него, по сути, не было выбора: он хотел увидеть это напечатанным, одновременно сохранив «острые» места. И он пустился во все тяжкие.

Но вот выступление одного из видных партийно-литературных функционеров той поры: ...поэма «была направлена в самое сердце наших общественных отношений и нашего строя. Ал. Тр. говорил тов. Хрущеву, что он собирается эту поэму реконструировать. У меня глубокое убеждение, что ее можно только забыть, потому что внутренне она написана чрезвычайно цельно, на едином пафосе отторжения, совершенно звериной ненависти, и перестроить ее нельзя. Она ведь кончается даже почти призывом к восстанию... Поэма вся наполнена атаками на партию под тем углом зрения, что якобы в нашей действительности существует омерзительный бюрократизм, мертвая, свинцовая власть аппарата» (А. Сурков. Стеногр. засед. редколлегии «Н.М.» 9.8.1954 г. «Знамя», 2003, № 2, стр. 152).

Тогда же литературовед А.Г. Дементьев (ставший вскоре ближайшим другом Твардовского) говорил: «Конечно, мы очень виноваты перед партией... Наша первая ошибка, очевидно, заключается в том, что мы напечатали статью Померанцева... Вторая наша ошибка заключается в том, что вслед за Померанцевым мы дали Лифшица, Абрамова, Щеглова... Третья наша ошибка в отношении поэзии Твардовского то, что мы собрали большое количество литераторов для того, чтобы зачитать эту порочную поэму»... (там же).

И вот в такой ситуации Твардовский принялся за свои «вставки-добавки». Эти его нечеловеческие мучения продолжались девять лет! И вещь под тем же заголовком была напечатана. Причем почти накануне Твардовский прочел вслух (!) эту удлинненную им в четыре раза (!) поэму перед Европейским форумом писателей в Пизунде, в присутствии Н.С. Хрущева. Поистине, уму непостижимо!

«С большим интересом участники прослушали новую поэму А.Т. Твардовского, прочитанную автором» (официальное сообщение).

Везде подчеркивалось, что поэма *новая!*

«И как прекрасное завершение этой встречи было чтение новой поэмы А. Твардовского» (А. Сурков, «Правда», 18.8.1963). Да, да, тот же самый Сурков, один из главных ее гонителей и запретителей!

Итак, редкостная удача. Груз, сброшенный с плеч. Победа. Но разрешение и напечатание вещи на деле обернулось в лучшем случае читательским недоумением. Люди, знавшие эту поэму раньше, теперь изумленно смотрели друг на друга: «Что же произошло? Вроде и сейчас все на месте, но все не то!..». А читающие впервые обращались к нам с упреками: «Что же вы нам рассказывали? Да вы были под наркозом!..».

Общее ощущение: вымученное многословие. Сравнение двух редакций многое объясняет. Твардовский действительно не отказался от целого ряда бесстрашных мест, но каждая ситуация, каждый эпизод поочередно разработаны, объяснены рационально и утомительно. Возник новый умозрительный инстинкт, — нет, не самосохранения, скорее инстинкт сохранения вещи, подсознательная память о проработке. Становится все более ясно: не нужно было ничего добавлять. Он мучается как соавтор прежнего Твардовского. Одновременно он мучается как редактор — соредактор прежнего. И понимает это.

Вот — из его параллельных работе записей: «Возникает мысль, не внести ли частично картинки того света из верстки (домино, разбор персональных дел, еще что-нибудь), но почему-то не хочется. Страшно мешает то, что этого “Теркина2” знает большое количество людей, и многие будут разочарованы, помня кое-что из прежнего варианта. Но уж с этим ничего не поделаешь».

Удивительно точное ощущение.

В другом месте: «Будь что будет, но столько труда и терпения положено на эту, когда-то так легко набросанную вещь, которая так медленно выпрямляется и очищается от того (часто), на что убито столько времени и усилий, и самовнушения (никогда полностью не усыпляющего души), что, мол, ничего, сойдет, хорошо же, право!

Вскоре снова: «С утра вдруг стало опять казаться, что “середка” не годится, выпадает из теркинского стиля и т.п., и что вообще все это дело обреченное. Заставил себя все же прописать еще раз эту “середку”. Хотя продолжает казаться, что заново я бы уже не писал так».

Он же себя ломает, — «заставил себя все же прописать еще раз». Будто речь не о стихах. Как он плотно забил свою жизнь этим откровенно бесполезным трудом! Общаясь с ним, мог ли я догадываться, как он страдает? А ведь одновременно на нем висела редакция и все столь рискованные тайные маневры в надежде напечатать безвестного Солженицына. Ведь это уже 1962 год.

Еще: «Перечитал машинописного Теркина на т(ом) св(ете). Кое-что охотно вычеркивается».

Он все время говорит в записях о «безрадостности буквовки».

Он шел подряд по вещи, написанной когда-то на счастливом порыве, и умственно контролировал, обрабатывал, перерабатывал ее. Подряд. В результате — не прибавлялось такого, чтобы ахнуть. А ведь прежде было — чуть ли не все!

Маленький пример. В новом, напечатанном, варианте:

Что и там они, врачи,  
Всюду наготове  
Относительно мочи  
И солдатской крови.

Ну что это? А ведь было:

Что держать бы все ключи  
Надо наготове —  
Все анализы мочи  
И остатней крови.

Насколько лучше! Действительно, в пословицу.

А над новым вариантом только и слышно: работа, работа! И «на машинку есть что сдавать, — а там еще работать и работать, доводить, наращивать, отчищать. Все же это — как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять — уже от той птицы ничего не осталось. Не дай бог утвердиться в таком сравнении».

Вероятно, удручающее многословие второй редакции происходит и от неожиданно обнаруживающегося в ней нового качества автора — недоверия к читателю. К высокому в том числе.

И наконец: «Добежал-таки, кажется, до конца, какой он ни есть... Добежал, но внутри еще отделочных работ уйма»... Опять прозаические, от головы, хозяйственные задачи себе.

Нет, наконец вот только сейчас.

«Итак: В 1954 г. я был снят с “Н.М.” за “линию” и “Теркина на том свете”. Ныне, в 1963 г., в марте, я закончил, вновь написал на 3/4 по кр(айней) мере, “Т(еркина) на т(ом) св(ете)...”».

На три четверти написано вновь! Вот ответ — Твардовский утопил старый текст, размазал его по многим страницам, разбавил до такой малой крепости, что тот уже не воспринимается, разболтанный среди бесконечных добавок и оговорок этой вынужденной переделки...

...Но ведь нам остается первая редакция!

Конечно, можно было бы привести из нее замечательные примеры сатирической мощи поэта, безошибочность его предвидений, горькую иронию и пронзительные, действительно до слез, лирические отступления.

В этой поэме мы наблюдаем не только безжалостный срез, но и боль открытого перелома времени.

Василий Теркин по сюжету встречается в поэме с чудовищно-нелепыми службами того света. Но не меньшим испытаниям подвергает его по собственной воле сам автор во второй редакции. А ведь нужно было только напечатать наконец первую — и все, наваждение рассеивается.

Что же сказать совсем в заключение? Вывода два:

1. Если бы поэт не ввязался в эту «доводку», мучительно потратив на нее немало лет, нервов и сил, «Теркин на том свете» явился бы на этот свет одновременно и в ряду со всеми запрещенными ранее шедеврами и был бы тогда, как и в момент написания, снова встречен восторженно.

И 2. «Теркин на том свете» жив. Рукописи (и верстки) не только не горят, — они не могут быть впоследствии уничтожены и своими горько ошибавшимися авторами.

## Письма литераторов Д. Самойлову

(1961—1989 гг.)

В архиве Д. Самойлова сохранилось большое количество писем с откликами на его прижизненные сборники стихов. Тогда, в эпоху литературоцентричности, было принято писать и живо, щедро реагировать на появление свежего поэтического текста. Стихи воспринимались и анализировались не только как уже состоявшийся, пробившийся через цензурные заслоны факт литературы, но и как факт жизни. Профессиональный читатель (а таковы все авторы этой подборки), соизмеряя слово поэта со своим духовным опытом и вкусом, не знал ничего важнее, чем это слово, для собственного самосознания. Вне зависимости от восторженного приятия или неудовлетворенности конкретным произведением поэзия была мерой вещей и мерой наивысшей пробы.

«Эта книга («Волна и камень». — Г.М.) твоя победа, победа русской литературы, победа человеческой нравственности над бездуховностью», — под этой фразой Евгения Евтушенко подписались бы многие, в том числе и те, что промолчали, но думали точно так же. И дело вовсе не в похвалах адресату, а в направлении мысли: «Воздух (ли) империи, обвевающий нас», по выражению Булата Окуджавы, был тяжелей свинца. И кому, как не поэтам, было преобразовывать его в пригодный для вольного дыхания состав.

Цена вопроса была куда как высока. Вот как судит Евгений Сидоров: «После войны именно воевавшим психологически было очень трудно снова идти на смертельный риск. Они, как декабристы, стояли перед выбором.

Большинство выбрало стих (из настоящих поэтов), думая, что это истина».

И прибавляет (утверждая? сомневаясь? оставляя возможность другим вариантам мирочувствия и волеизъявления?): «Наверное, так оно и есть». Что так оно и было, спорить не приходится.

Горькая и гордая участь поэта во второй половине XX века, по окончании сталинского кровавого шабаша, была все-таки сильно смягчена читательским вниманием, ощущением своей необходимости не только в кругу коллег, но и за его пределами. Л. Копелев, со свойственной ему добротой, конечно, преувеличивает про миллионы любящих сердец, но все же их набиралось немало.

Глухие годы безвременья с их тусклой и тоскливой безнадежностью было бы трудно (а то и невозможно) пережить без «чувства локтя», без радостного (несмотря ни на что) и очень интенсивного общения — его стилистика просвечивает и в публикуемых письмах.

Теперь обычаи и нравы тех времен принадлежат уже истории литературы и умонастроений мыслящей части общества, среди которых и утраченное чувство солидарности.

*Г. Медведева*

Дорогой Дезик!

Прочитал в «Гарусских страницах»<sup>1</sup> Вашу поэмку «Чайная». Взяла она меня за живое: стало радостно и грустно. Радостно прежде всего от ощущения таланта. Поэмка подхватила и несет. Частушечный размер понят Вами как богатство ритма, а не как бедность его. <...> Замечателен дебют: Федор Федорыч сначала сам по себе, песня инвалидов — сама по себе. И вдруг встает Варвара — и речь ее, как выстрел. А

тут еще рядом старичок в углу, такой символический старичок, который курит табачок и молчок. Все это захватывает, и ждешь в финале чего-то очень большого. А финала нет. Поэма, как Аму-Дарья, теряется в песках. Надо поработать над ней, Дезик: у нее все шансы войти в большую литературу. Но права еще нет: он весь в сюжете, который недоработан.

Не считайте мое письмо обидным. Очень Вас люблю.

Ваш Илья Сельвинский  
10.XII.61.

*1 «Тарусские страницы». Литературно-художественный иллюстрированный сборник. Калуга, 1961, Калужское книжное издательство.*

Дорогой Дезик!

<...>

С большим интересом узнал из Вашего письма, что Вы написали трагедию о Меншикове<sup>1</sup>. Жадно хочу с ней познакомиться. Да и вообще — с Д. Самойловым — я ведь знаю его не очень хорошо. Рад, что Вы еще вернетесь к «Чайной». Жаль, что Вы, зная о ее незаконченности, напечатали вещь, имея в виду когда-нибудь заняться ею вплотную<sup>2</sup>. У Вас, Дезик, помимо поэтического таланта, талант зарывать свой талант в землю. Честолюбие, вероятно, не относится к числу высоких доблестей души, но без него могут пропасть и сгинуть даже шедевры. Надо уметь драться, если не за себя, то хотя бы за свое в искусстве. Берите пример с крестьянских поэтов: дарования на грош, а звону на полтину. Большой славы в наши дни не нужно («мы знаем, как она дается»), но надо, чтобы тебя знал тот передовой слой читателя, для которого Д. Самойлов — подлинный поэт.

Итак, жду Вас, дорогой, в Перedelкине. Желаю в 1962 г. резкого перелома в Вашей литературной судьбе.

Ваш Илья Сельвинский  
30.12.61.

*1 «Сухое пламя». Драматическая поэма // Давид Самойлов. Поэмы, М.: «Время», 2005.*

*2 Невзирая на обещание, данное Самойловым своему учителю И.Л. Сельвинскому, финал «Чайной» не был изменен. По сравнению с «Тарусскими страницами» в последующих публикациях были убраны две строфы в разделе № 3 и добавлены четыре строфы в разделе № 6.*

Дорогой Давид Самойлович!

<...>

Среди того, чем мы живем, Ваши стихи давно и достойно занимают первое место. Ваша последняя книга<sup>1</sup> была для нас с Лилей праздником, хотя большинство вошедших в нее стихов мы знали и раньше. В ней есть стихи, читая которые, хочется кричать и смеяться от восторга и счастья, как «Пестель, поэт и Анна», «Смерть поэта», «Красота», «О март-апрель», «Голоса», «Выезд», «Гончар», «Фотограф-любитель», «Советчики», «Вода моя», «Конец Пугачева» и еще добрый десяток других, есть, которые нам нравятся меньше, вроде стихов, навеянных «Солярисом»<sup>2</sup>, «Гамлета» или «Эстрады»<sup>3</sup>, но в ней нет ни одного плохого стихотворения. Меньше всех нам понравился «Гамлет», мне кажется, что такие стихи мог бы написать Слуцкий, мысль, сама по себе, может быть, и значительная и верная, не стала в нем той высокой и естественной поэзией, которой живут великие стихи. Так нам показалось. Огромное же большинство стихотворений безукоризненно и совершенно, как лучшие стихи великих. Спасибо Вам за то, что Вы пишете такие стихи, за то, что Вы так чувствуете, так думаете, так живете. А говорят, что у Вас есть кучи стихов ненапечатанных, вот бы послушать или почитать.

<...>

Ваш Борис Чичибабин  
24.11.70.

- 1 Речь идет о книге Д. Самойлова «Дни». М.: «Советский писатель», 1970 г.  
 2 Стихотворение «Читая фантаста».  
 3 «Оправдание Гамлета», «С эстрады».

Дорогой Давид Самойлович!

Только что я прочел цикл Ваших стихотворений в «Тарусских страницах» и не могу не написать Вам о глубоком волнении, которое я при этом испытал. Это не новое чувство, я и раньше с таким чувством читал, слышал или переписывал Ваши стихи. На этот раз были особые обстоятельства: это — воскрешенная Вами память о Ривине. Он был моим другом, мы несколько лет были очень близки. Вы сказали о нем те слова, какие может сказать только поэт. Вы правы, он был инвалидом будущей войны<sup>1</sup>. <...>

Крепко жму Вам руку и еще раз — спасибо за Ваши стихи.

Ефим Эткинд  
 23.XI.61.

- 1 Речь идет о стихотворении «Памяти А.Р.».

Дорогой Дезик!

Пусть не удивляет тебя это письмо. Я звонил тебе, но не застал. Мне так захотелось поблагодарить тебя за стихотворение в № 5 «Москвы»<sup>1</sup>. Поразительное стихотворение — широкое, умное, человеческое. В последнее время в нашей поэзии ничего равного твоему стихотворению не попадалось. Оно помогает подняться над той жизненной и литературной суетой, на которую мы обречены, а это бывает не так часто. <...>

Обнимаю тебя! Желаю тебе всего самого лучшего.

Твой Лазарь Лазарев  
 13.VI.1966.

- 1 «Пестель, поэт и Анна». Журнал «Москва», № 5, 1966.

Дезик, дорогой, все эти дни в поезде мы тебя очень любим<sup>1</sup>.

Читаем то врозь, то вместе друг другу, снова и снова повторяем давно знакомые и всегда новые любимые стихи. Если стану перечислять, все письмо на это уйдет — но вот для меня от сороковых, роковых, от «Перебирая наши даты», когда бы, где бы ни читал, ни услышал, какая же это радость, озноб в душе и в гортани вязко. И что про Варшаву полнее, чем в первом издании<sup>2</sup>, что напечатан Лейпциг и сквозь память<sup>3</sup> и «Пестель, поэт и Анна», словом, радостей много и верим, что будет «Чайная» и что Меншикова на сцене увидим. Только б ты был здоров, чертушка, и хоть чуть-чуть чаще вспоминал про нас. Не сомневаюсь, что тебя очень крепко любят ну, скажем, несколько сот человек и просто любят, вероятно, уже несколько миллионов. Но мы имеем нескромность числить себя в группе А, рвемся в полуфинал и даже финал и чихали на разных там Грибановых<sup>4</sup>.

Вот так-то, дорогой ты наш, вроде бы свой-пересвой; а на поверку Богом избранный, музами целованный, живое чудо, без которого уже и жизнь — не в жизнь. Сколько раз мы на тебя сердились; вконец забыл, обещал поэму — не дал, обещал зайти — и поминай как звали; встретится — ласков, говорит, что любит, грозит стихи посвятить, а с глаз долой — из сердца вон, месяцами не вспомнит. Но стоит прочесть или услышать первые строки, те, что сами наизусть уже помним и тем более если новые — и все обиды, всю затаенную горечь, как лужи на песке под солнцем, сам не замечаешь, как исчезают. <...>

И еще у меня просьба теперь уже к Галке, на тебя шалопая-Моцарта не полагаюсь; Галочка, родная, милая, прошу тебя, умоляю, призываю и требую — отложи 3 (три!!!) «Равноденствия»<sup>5</sup> на предмет посылки дахин-дахин<sup>6</sup>, а Беллю<sup>7</sup> пошли от себя, но обязательно пошли. <...>

Будьте все здоровы, Целую крепко.

Ваш Лев. (Лев Копелев)  
19.IX.1972.

- 1 Вместе с женой Раисой Орловой Л. Копелев совершал путешествие поездом «Россия» по маршруту Москва—Владивосток.
- 2 Речь идет о поэме Д. Самойлова «Ближние страны», которая впервые (с изъятиями) была напечатана в сборнике с одноименным названием. М.: «Советский писатель», 1958.
- 3 «Помолвка в Лейпциге» и «Сквозь память» — главы поэмы «Ближние страны».
- 4 Грибанов Борис Тимофеевич (1920—2006) — писатель, переводчик с английского, издатель БВЛ.
- 5 «Равноденствие» — книга стихотворений и поэм Д. Самойлова, о которой пишет Копелев. М.: «Худлит», 1972.
- 6 дахин-дахин (нем.) — туда, т. е. на запад.
- 7 Генрих Белль — немецкий писатель, друг Л. Копелева и знакомый Д. Самойлова.

Дорогой Давид!

В «Весне поэзии» 1975 г. мы включаем большую подборку из русской поэзии. Я перевел твои «Перебирая наши даты», «Давай поедem в город», «Дождь пришел в городские кварталы», «Болдинская осень». Вчерне сделал и твою любимую «Анну»<sup>1</sup>, но видел, что все вокруг внутренней рифмы «тиранство—дилетанство» не подошло бы вкусу нашего редактора, и оставил пока. Честно признаюсь, что трудновато было, но старался сделать как можно лучше. Как получилось — тебе скажут другие. <...>

Привет твоим близким. И — это против твоего вызова — надо беречься!<sup>2</sup> Чтоб в Новом году — все, как было!

Твой Альфа (Альфонсас Малдонис)  
Вильнюс, 21.XII. 1973.

- 1 «Пестель, поэт и Анна».
- 2 Речь идет о заключительных строках стихотворения Д. Самойлова «Давай поедem в город»: «И что нельзя беречься / И что нельзя беречься».

Дорогой Давид Самойлович, большое спасибо за «Волну и камень»<sup>1</sup>, за добрую надпись на книге. Читаю ее и перечитываю каждый день и нахожу все новые и новые радости. Вы достигли той эфирной высоты (если употребить выражение Фета), при которой слово становится и действием, и музыкой, и вещью, и символом. Если с Землей ничего не случится эсхатологического, то наши внуки, любящие поэзию, будут, полные счастья, читать и «В воздухе есть напряжение», и «Мне снился сон» — стихотворение великое, и «Заздравную песню», и «Полночь под Иван Купала», и удивительный «Свободный стих», и «Солдата и Марту», — да что перечислять — все, все! Очень большое и очень горькое стихотворение «Поэт и старожил»<sup>2</sup>. В Ваших стихах всегда царствует мысль, и она всегда чувственна, музыкальна, живописна. И я верю, что это «лишь начало дня»<sup>3</sup>, что Вам предстоит сказать еще много важного в той литературе, которая в XIX веке стала тем же, что эллинизм в древности.

Желаю Вам в Новом году всего, что Вы заслужили.

Искренне Ваш Семен Липкин  
28.XII.1974.

- 1 Д. Самойлов. «Волна и камень». М.: «Советский писатель», 1974.
- 2 Настоящее название стихотворения «Поэт и гражданин». Из-за цензурной непроеходимости пришлось его изменить.
- 3 Строчка из поэмы Д. Самойлова «Цыгановы». В оригинале — «и это было лишь начало дня».

Дорогой Дезик!

После стихов из «Доктора Живаго» (а это 20 лет тому назад) никогда не испытывал такого счастья, читая стихи. «Стихи и проза», «Легкая сатира», «Неужели всю

жизнь», «Пятеро», «С постепенной утратой зренья», «Хочу, чтобы мои сыны», «Купальщица», «Лишь изредка родится в нас», «Рассвет», «Не мысль, не слово, — а под снегом...», «Когда с досадой и печалью», «Что-то вылепится», «Полночь под Иван Купала», «Я ехал по холмам Богемии», «Ты, Боян, золотой соловей», «Березняк», «Тоски ледяной гребешок», «Свободный стих» (!), «Туман, туман, туман», «Одиночество — пошлая тема», «Песня о Кладенце», все о Цыгановых, «Поэт и старожил», «Последние каникулы» (особенно гениально про шашлык) — словом, почти все — полно ощущением свободы, мудрости, силы и даже юности с большим горизонтом. Я опьянел от счастья, читая эту книгу. И хотя ты написал «не склоняй доверчиво слуха к прозревающим слишком поздно», сделай меня исключением, склони ко мне свой слух. Эта книга твоя победа, победа русской литературы, победа человеческой нравственности над бездуховностью.

Отдельные замечания.

46 стр. «Девушки, как стаи белых утиц» — вместо птиц. Или опечатка?

11 стр. вместо «обобщенней» — «обостренней»<sup>1</sup>.

36 стр. «последний гений» — вместо слова «последний» — другое, выражающее недогениальность Фета<sup>2</sup>.

30 стр. лучше «серебряной березовой тоскою»<sup>3</sup>.

Целую. Твой Женя Евтушенко  
31.VII.1974.

P.S. Книга твоя вселила в меня впервые что-то, опасно похожее на сомнение, что я первый поэт Руси-матушки. Борюсь с этим неплодотворным чувством путем графоманства (после чтения твоей книги за 3 дня написал 35 стихов!)

Е.Е.

P.S. Чтобы твоя сердитая на меня жена не подумала, что это письмо — покаяние за якобы недохвал тебе в моей статье в «Литгазете» — информируй ее, что, несмотря на восторг мой этой книгой, все мои прежние замечания в силе. И эта книга доказала, что я был прав, ибо в ней спало, отшелушилось все то, что я вежливо критиковал.

Е.Е.

1 У Самойлова: «С постепенной утратой зренья / Всё мне видится обобщенней».

2 В стихотворении «Кончался август» о Фете сказано так: «Среди владений / И по лесам / Последний гений / Гуляет сам».

3 Евтушенко имеет в виду стихотворение «Березняк», где Самойлов пишет: «И наша деревенская судьба, / Еще не став судьбою городской, / Одним нас наградила навсегда — / Серебряной березовой мечтою!..»

К письму Е. Евтушенко приложено стихотворение, напечатанное позже в журнале «Аврора», № 2, 1975 г.

### Дезик

Стал я знаменитым еще в детях.  
Напускал величие на лобик,  
а вдаль, в тени Самойлов Дезик  
что-то там выпиливал, как лобзик.

Дорожил он этой теплой тенью,  
и она им тоже дорожила,  
и в него, как в мудрое растение,  
непоспешность вечности вложила.

Мы его встречали пьяноватым (разноватым — цезурный вариант)  
С разными приятелями оплечь,

Только никогда не тeneвaтaм:
 Свет, пoжaлуй, лишь в тени нaкoпишь.

Нашa знaть эстрaднaя Рoссии
 вaжнo, снисхoдитeльнo кивaлa
 нa сoрoкoвыe-рoкoвыe,
 и нa чтo-тo прo цaря Ивaнa.

Мы нe дoпyскaли в сeбe дерзкoсть
 и пoдyмaть, чтo он пишeт лyчшe.
 Дyмaли мы: Дeзик — этo Дeзик.
 Ключ мы сaми, Дeзик — этo ключик.

Нo тeпeрь мы пoняли хoть чтo-тo,
 стaнoвясь, нaдeюсь, глyбжe, чищe —
 вeдь пoрoй oгрoмныe вoрoтa
 oткрывaет ключик, нe ключищe.

И читaю я «Вoлнy и кaмeнь»,
 тaм, гдe мyдрoсть вышe пoкoлeнья.
 Oщyщaю и винy, и плaмeнь,
 пoзaбытый плaмeнь пoклoнeнья.

И сeбя я чyствyю тaк стрaннo,
 бyдтo сдoхлa слaвa, кaк вoлчицa.
 Мнe пишaть стихи, пoжaлуй, рaнo,
 нo пoрa пишaть стихи учиться.

28 июля. Больница МПС,  
по прочтении книги «Волна и камень»  
Евг. Евтушенко

Дорогой Давид Самойлович!

Молю Бога, чтобы редактор знал Брейгеля лишь понаслышке, т.к. Ваш «Отрывок»<sup>1</sup> не только не имеет к нему отношения, но и противоположен его картине. Брейгель, как и все до него и после него, шел за Матфеем<sup>2</sup>. Вы не пошли даже за Лукой<sup>3</sup>. Пользуясь Вашими словами, Вы снова «существо явления взорвали до самых недр»<sup>4</sup>, показали его суть, отбросив сказочный реквизит. Парадоксальная штука — по времени Ваш отрывок самый отдаленный, по существу же самый современный и достоверный во всей трагической простоте бытия. Теперь — после Вашего отрывка! — остается только пожимать плечами: ну, конечно же, только так и могло быть на самом деле — вовсе не пещера и никакие не ясли (какая мать положит новорожденного в ледяные ясли, сколько бы волов ни сопело в них!), а лачуга, в которой Мария с младенцем, и здесь же весь убогий прибыток ее — овцы, которых так мало, что у них есть собственные имена, над очагом именно дыра для дыма, и т.к. все дрова уже сгорели, остались только угли, дыма уже нет, в дыру видна звезда (потому и единственная, что сквозь дыру!), и никого более, только сердечные и простодушно жестокие пастухи... Но главное не в том, что Вы так лапидарно и с такой неотразимой достоверностью открыли реалии двухтысячелетней давности, а в том, что могло быть написано только сейчас, в конце второго тысячелетия — ответ Марии: ничего живого в жертву Богу, как бы он ни назывался. И вряд ли случайно созвучие имен Шошуа<sup>5</sup> и Ешуа... Здесь все — предвестье и неизбежность предстоящей беды...

Может быть, я неверно все толкую. Иначе не умею.

Каким болтливым и сусальным выглядит теперь пастернаковский аналог<sup>6</sup> (я уж не говорю о смешных нелепостях в нем). Наверно, Вы скажете, что негоже одним

произведением пинать другое. Я этого и не делаю. Но сравнение возникает невольно, хотя бы того авторы или нет. Оно неизбежно, как неизбежно обращение поэтов снова и снова к вопросам, от которых некуда человеку деться и на которые каждый пытается ответить по-своему. Невозможно сосчитать написанное на тему «Отрывка», однако, несмотря на это, и для Вас стало необходимостью написать его. Сколько было «Дон Жуанов»? А сколько после Горация написано «памятников»? Нисколько не удивлюсь, если у Вас появится — или уже появился — свой. <...>

Будьте здоровы и благополучны! Любящий Вас

Николай Дубов  
24.III.1977.  
Киев

- 1 Из комментария к этому стихотворению, данному А.С. Немзером и В.И. Тумаркиным: «Самойлов писал Н.И. Дубову в феврале 1977 г.: «...посылаю стихотворение «Брейгель», которое на самом деле называется «Отрывок» и к Брейгелю не имеет никакого отношения — это название для цензуры — может, пройдет в книге». Давид Самойлов. Стихотворения. Новая библиотека поэта, «Академический Проект», СПб.: 2006, с. 689.
- 2, 3 Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки.
- 4 Отсылка к стихотворению Д. Самойлова «Слова»: «И понял я, что в мире нет / Затертых слов или явлений. / Их существо до самых недр / Взрывает потрясенный гений».
- 5 В «Отрывке»: «...Баранов / Зовут Шоцуа и Мадох».
- 6 Стихотворение Б. Пастернака «Рождественская звезда».

Дорогой Давид Самойлович!

Большое спасибо и за «Весть»<sup>1</sup> и за письмо. Я не критик, Вы позволите мне не пересказывать своих впечатлений словами, притязаящими на выразительность. Из больших стихотворений для меня самым важным — очень важным! — были полные «Цыгановы», из малых — «Рассвет в Пярну» и «Вот и все. Смежили очи гении...». А самым, наоборот, не удовлетворившим меня — «Стихи о Дельвиге». Как от стиховедства — особенное Вам спасибо за трехстопные ямбы, которых так много в этой книге. Я специально занимался не ритмикой, а семантикой этого размера, научился различать в нем 15 семантических окрасок (как 15 значений слова в толковом словаре), написал об этом статью, которая должна выйти через год, — и встреча с ними в «Вести» (после поэмы о Ствоше<sup>2</sup>) была мне очень отрадна.

Можно задать один стиховедческий вопрос? Насколько осознанно было в «Ночном госте» использование размера и мотивов — не «Поэмы без героя», которое дано почти открытым текстом, а образца «Поэмы без героя», кузминского «Кони бьются, храпят в испуге...»? И еще один, в отрицательном ответе на который я почти уверен: он пришел мне в голову, когда я только что выпечатывал заглавную строчку «Вот и все. Смежили очи гении...» — не вспомнилась ли Вам, хотя бы постфактум, заглавная строчка стихотворения Зоргенфрея о похоронах: «Вот и все. Конец венчает дело, А казалось — делу нет конца...»? Простите меня за эту неуместную любознательность: вопрос о поэтике реминисценций для меня очень близок. <...>

Сердечно Ваш

Михаил Гаспаров  
20.VI.1978.

1 Д. Самойлов. «Весть». Стихи. М.: «Советский писатель», 1978.

2 Поэма Д. Самойлова «Последние каникулы».

Дорогой Давид!

Я потрясена Вашей книгой и благодарю за нее бесконечно. Когда читала в первый раз — одно только слово было на уме: волшебство! А когда перечитываешь — книга впечатляет еще сильнее. И думаешь о том — откуда это волшебство берется? И видится самое главное — Ваша душа, Ваша бесстрашная мысль, мудрое и щедрое

Ваше сердце. Это просторная ширококрылая книга. И Вы все набираете и набираете высоту, Давид! Я счастлива, что до этой книги дожила.

Грустно очень, что наши великие, о которых Вы пишете «смежили очи гении», не прочтут этой книги, при них Ваше слово прозвучало бы громче, сильнее, нежели без них, — было бы кому как следует услышать, и понять, и порадоваться за русскую поэзию. <...>

...Меня, помимо всего другого, поразило Ваше стихотворение «Мне снился сон жестокий...», оно как вдох и выдох — две первые строфы. Все нечетные строки — повышение голоса, все четные — понижение. Четные звучат глуше и глубже. В чем здесь тайна — не понимаю. В третьей строфе смена регистров исчезает, меняется интонация. А в строках —

«Холодно. Вольно. Бесстрашно  
Ветрено. Холодно. Вольно» —

пожалуй, больше всего сказала душа Вашей книги. <...>

Мария Петровых  
1978 г.

Дорогой Давид Самойлович, спасибо за память, спасибо за надпись, а главное, за стихи спасибо. Твои мне всегда нужны, всегда необходимы. Не в том для меня суть, какие хорошие, какие отличные, а в том, что отзываются в душе толчками: глотну, как из фляги, и тотчас охота жить и сочинять. Совсем-совсем далекое от прочитанного, но почему-то залежавшееся в каком-нибудь там подкорковом слое, а тут, глядишь, и полетел, как на салазках с ледяной горки.

Еще раз спасибо, что «Вестью» весть подал. <...>  
Обнимаю!

Юрий Давыдов  
31.VII.1978.

Дорогой Давид Самойлович!  
<...>

Больше других мне нравятся Ваши большие вещи («Снегопад», «Цыгановы», «Сон о Ганнибале», «Струфиан»).

Кажется, я уже однажды говорил Вам, что, по-моему, Ваша сила в эпических, точнее, лирико-эпических сюжетах, где Вы неторопливо разворачиваете сюжет, как пружину, а стих обретает свободу, изящество, словно движется не по одной, а сразу по нескольким дорогам, петляя и радуя неожиданными счастливыми обмолвками, подробностями и находками.

По-видимому, у всех поэтов (настоящих) есть своя, особая область, в которой они — хозяйева положения. У Ахматовой, например, — лирический психологический фрагмент (а гражданские вещи и поэмы у нее сомнительны).

Вот и у Вас в эпической лирике — Ваша область, Ваша территория.

Остальные стихи, при том что среди них есть и очень хорошие, вроде «Не оставляйте письма» и «Нам остается жить надеждой и любовью», все-таки кажутся отходами с Вашего стола.

Есть такие заводы, которые наряду с основной продукцией, допустим, танками, выпускают еще утюги. Такими необязательными (для Вас!) вещами кажутся мне, например, «Деревья прянули от моря...», «Красота пустынной рощи...».

Как Вам живется в Пярну? Судя по стихам, — хорошо, спокойно, уединенно. Жалею, что мы совсем не встречаемся.

Гале большой привет.

Ваш Александр Кушнер  
26.VI.1978.

Давиду Самойлову  
Получена благая «Весть»... Как хорошо — поэты есть!!!

Елена Благинина  
Март 1979, Москва

Дорогой Давид!

Спасибо тебе за стихи, что ты с такой добротой адресовал мне в память Марии Петровых<sup>1</sup>. Я был дружен с нею в течение почти 56 лет, — и ты понимаешь, как тяжела для меня была ее очень нелегкая смерть: она умерла через несколько дней после того, как у нее вырезали почку. Бедная она, как намучилась.

<...>

Я — вообще говоря — очень люблю твои стихи, особенно последних лет — и люблю каждую твою строчку; как бы ни писались твои — в них прекрасная ясность светится из сферы кажущейся легкости исполнения, словно ты — как пианист, для которого не существует трудностей исполнения, при обычной твоей глубине замысла, — и еще — я привык высоко ценить твои стихи за то, что очевиден адрес стихотворения, цель, поставленная перед собой поэтом.

Целую тебя, благодарю тебя и очень тебя люблю.

Твой Арсений Тарковский  
10.11.1980.

<sup>1</sup> Стихотворение, которое Д. Самойлов послал А. Тарковскому, к этому моменту существовало в рукописном виде и было опубликовано только в книге «Голоса за холмами», издательство «Ээсти раамат», Таллин, 1985, под названием «Арсению Тарковскому».

Дорогой Давид Самойлович!

<...>

Да, я очень люблю Вас, Вашу поэзию, Вашу правдивость, честность, мудрость, богатство Вашего ума и Вашего сердца. Я пока еще не насытился Вашей книгой<sup>1</sup>. Нахожу в ней новые и новые для себя открытия, нюансы, обертоны. При всей ее — этой книги — сдержанности и в порывах, и в уколах иронической шпаги — столько в ней страстности, веры в человека и человечности! Нам пришлось жить во времена роковые. Счастье это или несчастье? Горести и триумфы. Они слились. Их не разъединить. Нелегко быть в наше время поэтом, да еще таким настоящим, как Вы. Спасибо Вам.

<...>

Ваш Микола Бажан  
28.X.1980.

<sup>1</sup> По всей видимости, речь идет об «Избранном» Д. Самойлова. М.: «Худлит», 1980.

Дорогой Давид!

Очень рад твоему письму. По себе знаю, как трудно в нашей суете прочесть присланную книгу, да еще написать великодушный отзыв<sup>1</sup>. На похоронах Трифонова я еще раз понял, как узок наш литературный круг, и хочется держаться теснее. Мы с тобой годами не встречаемся, но я читаю и люблю то, что ты пишешь — и поэзию, и рассуждения. Можно повторить давнее: ты у нас оригинален, потому что мыслишь. И когда случай дает возможность увидеться, как осенью, в шуме чужой

квартиры<sup>2</sup>, есть чувство понимания и возможность (неутоленная) долгого дружеского разговора. <...>

Крепко жму руку и обнимаю.

Владимир Лакшин  
28. IV.1981.

1 В. Лакшин прислал Д. Самойлову свою работу «Биография книги». М.: «Современник», 1979.

2 Речь идет о прощании с Л. Копелевым и Р. Орловой перед их отъездом в Германию в квартире Льва Осповата и Веры Кутейщиковой. Тогда Лакшин среди общей печали воскликнул: «Все уезжают. Кто же остается?». На что Самойлов, не раздумывая, ответил: «Не беспокойся, Володя. Я — остаюсь».

Дорогой Давид Самойлович!

<...> За книгу спасибо!<sup>1</sup>

Многое знал. Многое порадовало, как всегда радует Ваше.

Что касается «Кломпуса»<sup>2</sup>, то — «Кломпус» тронул меня не слишком. Как не могу назвать лучшими творениями Пушкина «Графа Нулина» или «Домик в Коломне», так и тут... Много блеска, изящества, неповторимого самоейловского юмора, но... Юмор есть и в «Снегопаде»! И даже фривольность там есть. И все-таки — не сравнишь.

Таковы мои вкусы и пристрастия.

Простите.

<...>

Ваш Л. Пантелеев  
24.XII.1981.

1 Д. Самойлов. «Залив». М.: «Советский писатель», 1981.

2 Поэма Д. Самойлова «Юлий Кломпус».

Милостивый государь!<sup>1</sup>

Книги Ваши прекрасны, но эстонская<sup>2</sup> вне всяких сравнений. Я плакал над ними от радости и печали, как не плакал уже давно. Как все в них точно, своевременно. Какая гармония мысли и чувств!

Хоть я и помоложе Вас несколько, но Ваша печаль мне очень понятна, и о том же думаю я, глядя на себя самого. Так что же это? Воздух ли империи, обвевающий нас, или просто дань преклонным летам?

Самое прекрасное заключается в том, что Ваш герой не переменялся, он стал задумываться на пути, согреваемый красотой, добротой, любовью и прощением.

Возбужденный чтением Ваших стихов, ощутил в себе потребность к стихосложению, но, как ни старался, все получалось похожим на Вас. Таковы обстоятельства, сударь.

Желаю Вам здоровья и счастливых сновидений.

Булат Окуджава  
Апрель 1986 г.

1 Б. Окуджава и Д. Самойлов были близкими товарищами и, естественно, обращались друг к другу на «ты». Однако все письма Булата, адресованные Д. Самойлову в Пярну, написаны так же, как это, — в суперпочтительной и несколько витиеватой манере, стилизующей его собственную прозу.

2 В Эстонии у Д. Самойлова вышли две книги: уже упоминавшиеся «Голоса за холмами» и «Улица Тооминга». Таллин: «Ээсти раамат», 1981.

Судя по дате письма, Булат имеет в виду, скорее всего, «Голоса за холмами», называя книгу «эстонской». Вторым сборником, отправленным автором в дар, мог быть такой: Д. Самойлов. Стихотворения. М.: «Советский писатель», 1985.

Милый Давид Самойлович!

<...>

Во-первых, самое главное! Ваша книга<sup>1</sup> — молодость и музыка. Огромное спасибо за нее. И вот что странно. Через два стихотворения на третье Вы прощаетесь, но так по-юношески, что печаль радует. И сам звук мне кажется свежим и щемлящим, как утренний холодок на реке.

<...>

Обнимаю Вас, Галю и всех чад и домочадцев.

Анатолий Гелескул  
13.03.1986.

*1 «Голоса за холмами».*

Дорогой, дорогой Давид Самойлович!

Просто, как говорится, «не могу молчать». В. Баевский прислал мне свою прекрасную книгу<sup>1</sup>, которая меня глубоко задела и взволновала. Я еще раз остро поняла, как мне дорога Ваша поэзия и Вы сами. <...>

Сейчас я о том, что Вы — замечательный поэт, опыт которого (не только стиховой, но и опыт литературного поведения) для меня невероятно важен.

Сердечно Ваша

Татьяна Бек  
19.V.1986 года.

*1 Вадим Баевский. Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М.: «Советский писатель», 1986.*

Дорогой Давид Самойлович!

<...>

Сейчас вечер, я один в квартире и понемногу читаю стихотворение за стихотворением. Думаю не только о Вас, но, как водится в России, о поколении — о Б. Слуцком, о Межирове, о Наровчатове, Луконине, Винокурове. О том, что вы сделали и чего не успели — все и каждый. Вы зря (хотя чисто по-человечески, этически все понятно) отделяете себя от М. Петровых. Вы, Дезик, не лгали и не предавали стих, даже нечаянно. (Простите, что я обращаюсь к Вам столь фамильярно, но это на правах старого, молодого товарища.)

<...>

После войны именно воевавшим психологически было очень трудно снова идти на смертельный риск. Они, как декабристы, стояли перед выбором.

Большинство выбрало стих (из настоящих поэтов), думая, что это истина. Наверно, так оно и есть. А Слуцкого сделало большим поэтом еще и страдание, внутренний трагизм. И форма тут очень существенна. Бывают времена, когда музыкальность есть грех более тяжкий, чем косноязычие. Хрипая лира — это так<sup>1</sup>.

Голоса, голоса за холмами... Какая грустная, осенняя книга, и очень Ваша. Мне трудно с моими сверстниками в литературе, и легче дышится, когда рядом Вы, родом из двадцатых. <...>

Обнимаю Вас.

Евгений Сидоров  
29.VIII.1986. Москва.

*1 Из стихотворения Д. Самойлова «Стих Слуцкого. Он жгуч»:  
«На струнах из воловьих жил / Бряцает он на хриплой лире».*

Дорогой Дезик!

Пишу тебе по довольно странной причине.

Огромное тебе спасибо за черную книжку<sup>1</sup>. Я ее без конца читаю, полошу ею душу, как Мандельштам полоскал Пастернаком горло. <...> Очень хорошо подобрано, хорошо оформлено, а, главное, стихи первый сорт, и еще ими лечишься, с ними отдыхаешь.

Странное дело, мне постепенно стал надоедать Слуцкий. 35 лет любил его, а теперь прямо по Лермонтову: «И мне наскучил их бессвязный и утомительный язык...». Нет, нет, я не отрекаюсь, я его люблю, как свою молодость и зрелость. Но теперь мне ты дороже всех, как «под вечер тихий разговор». По-моему, так и должно быть. С молодости — Слуцкого, под старость тебя. И ни для кого тут нет обиды. Хуже, если бы было наоборот. Я бы не доверял молодому человеку, который прямо с детства стал бы зачитываться Самойловым. По-моему, в нем чего-то бы недоставало.

<...>

В твоих стихах меня очень трогает воздух. Воздух между словами и строчками, нигде не перенажато. Раньше мне это казалось задачей, а теперь я вижу в этом естественность. Что же до голоса, то он всегда был в твоих стихах. Но раньше я слышал голос внешний, то есть тот, которым ты читал стихи вслух. Теперь схватываю внутренний, что куда важнее.

Все это, разумеется, не ограждает меня от возможных в будущем споров с тобой. <...>

Крепко тебя обнимаю и благодарю.

Твой Володя Корнилов.  
13.VII.1987.

*1 Д. Самойлов. Стихотворения. М.: «Советский писатель», 1985.*

Дорогой Давид Самойлович!

Простите меня, бедного, что я не сразу ответил Вам насчет «Беатриче»<sup>1</sup>. Compliments комплиментами, но здесь самое главное тонкость психологической драмы. Какой-то очень важный акцент после Данте, Петрарки, Шекспира. Эта драма рождается из духовной страсти, из страсти, которая по своей природе духовная, а не плотская. Не знаю, насколько точно я выражаюсь, словом, есть в этом деле по своей сути что-то испанское... Может быть, это вырастает из Ваших «цыганских» мотивов? Конкретно о переводе боюсь и подумать!

<...>

Сердечно Ваш Сигитас Гяда  
28.IX.1987. Вильнюс

*1 Д. Самойлов, видимо, послал С. Гяде журнал «Дружба народов» № 3 за 1986 год, где впервые был опубликован цикл «Беатриче».*

Дорогой Давид Самойлович!

<...>

«Беатриче»<sup>1</sup> — это очень хорошая книга. Целостная и чем-то неожиданная. <...>  
С сердечным приветом

Лидия Гинзбург  
2.IV.1989.

*1 Давид Самойлов. «Беатриче». Книга стихов. Таллин: «Ээсти раамат», 1989.*

Подготовка к печати, публикация, примечания  
и вступительная заметка Г. Медведевой

Георгий Соснов

## Кризис и так далее

### КРИЗИС У НИХ И У НАС

Когда в 2008 году основательно сдулись два главных пузыря американской, а потом и европейской экономик — банковская система и рынки ценных бумаг, — их российские собратья оказались близки к инфаркту. Не секрет, что российская экономика встроена в мировую только своим нефтегазовым комплексом, а другие ее составляющие, даже такие значительные, как торговля металлами и импорт продовольствия, имеют второстепенное значение. А мировая экономика прямо влияет на российскую (за вычетом цен на нефть) главным образом через банковскую систему и рынок ценных бумаг. Удар и по системе, и по рынку оказался очень чувствительным. Особенно если учесть младенческое состояние обоих при полном отсутствии невинности: большинство игроков на этом поле довольствуются спекуляцией бюджетными средствами и дутыми активами компаний.

Мировую экономику в 2008 году действительно потрясло. Но ее трясло и раньше, да и должно трясти время от времени, поскольку любая сложная система на определенных этапах развития стремится к саморазрушению и поэтому требует корректировок извне. С другой стороны, без таких встрясок ослабевает ее собственная иммунная система — в данном случае способность к саморегуляции и самообновлению, — а правящие элиты теряют навыки эффективного управления или квалифицированной перестройки экономического курса.

Не надо при этом забывать, что потрясло именно либеральную модель развития, которая сыграла решающую роль в выводе из кризиса мировой экономики во времена Р. Рейгана, а в начале 1992 года была привита и России. Правда, вскоре она обрела здесь избирательный характер и стала применяться только к тем, кому не удалось приватизировать часть Кремля или хотя бы получить туда прямой или косвенный допуск. Всем, кроме последних, было предоставлено право свободно тонуть, но, конечно, и пытаться выныривать. Эта модель не слишком изменилась до сих пор. Но это к слову.

Представляется, что в результате нынешнего кризиса весьма возможен возврат мировой экономики к кейнсианской модели развития в той или иной ее модификации — прямому вмешательству государства в экономику — или же выработка смешанной кейнсианско-либеральной модели. Какие-то пожарные меры в этом направлении уже приняты: по существу, проведена национализация целого ряда крупнейших банков и корпораций в США и Западной Европе.

Небезынтересно вспомнить, насколько возбудимой оказалась при распространении кризиса наша экономическая и особенно публицистическая элита, каким еди-

**Об авторе** | Георгий Соснов — востоковед, экономист, историк. Более 10 лет работал в Турции в представительствах Союза и России. Владеет турецким и английским языками. Автор статей и монографий, опубликованных в профильных научных изданиях в России и за рубежом, а также романа из истории Византии. Последняя публикация в «Знамени» — «Война и мир», 2009, № 3.

нодушным был вопль о системном кризисе капитализма и очередном — очевидно, окончательном — крахе общества потребления. Немногие проявляли сдержанность. Из среды западной бизнес-элиты и крупных политиков вопля соизмеримой силы не последовало, а в основном прозвучали упреки в адрес бывшей американской администрации, ведомой Дж. Бушем (или водившей Дж. Буша), и это понятно: даже такая сверхмощная экономика, как у США, не может себе позволить столько воевать за границы без затяжки поясов на собственном населении. А политика затяжки поясов ведет, как известно, к проигрышу на выборах.

Поэтому в последние годы в Соединенных Штатах практика надувания финансовых пузырей, не подкрепленных реальными ресурсами, по меньшей мере не ограничивалась. Однако рано или поздно реальность дает о себе знать — она и дала, причем в несопоставимо больших масштабах, чем, например, в России в незабываемом 1998 году, когда лопнул пузырь ГКО.

Под это дело ряд ведущих стран уже подкрутил кое-какие социальные гайки, например, иммиграционное законодательство и системы медицинского и социального страхования — при довольно вялом сопротивлении населения и с благословения международных организаций. Поэтому не отпускает сомнение: а не было ли подброшено экономистам и публицистам задание придать очередному кризису столь апокалиптические черты? Теперь, когда в ведущих экономиках намечилось некоторое оживление в промышленности (как одно из свидетельств этого — цены на нефть выросли с апреля 2008 года с 32 до 80 долларов за баррель), они стали прилюдно почесывать свою коллективную репу, но гонораров за трансляцию апокалиптических видений не отдают...

Что касается российской экономики, то для ее поддержания на плаву было предпринято экстренное спасение банковской системы, без функционирования которой все остальное и в самом деле схлопнулось бы: после двух—трех инфарктных недель ей сделали спасительный бай-пасс путем вливаний из бюджета, расходная часть которого в свою очередь заметно обмелела. Этим все и ограничилось. О поддержке, по примеру Запада, промышленных корпораций путем частичного выкупа их активов никто и не заикался. А банкам и прежде было не до их поддержки. Поэтому нашим компаниям и предприятиям государственного и частного секторов было предписано продолжать, как и до кризиса, плыть в полузатопленном состоянии, поскольку наша «либеральная» модель развития ничего иного им не предлагает (кому предлагает — см. выше).

Определенное исключение на этот раз все же было сделано для ВПК и некоторых научных программ. Как и что из этого получается и какие вообще новые закоулки высветил наш кризис, давайте посмотрим.

### **РАСТВОРИВШИЙСЯ РЕЗЕРВ**

В условиях падения мировых цен на нефть (и, соответственно, на газ и на уголь) в первом полугодии 2009 года заметно упали объемы поступлений валюты в нашу страну — соответственно и вливания в доходную часть бюджета. Этот механизм кризиса понятен уже, кажется, всем.

Вместе с тем доход бюджета, хотя и заметно уменьшился в первом полугодии 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 года, все же составил немалую сумму — 43,6 миллиарда долларов. По сравнению же с показателем 2007 года, когда никто о кризисе и не думал, это всего на 30% ниже. Выходит, наша экономика чуть не легла на бок от нехватки 30—40 миллиардов долларов? Для сравнения: экономика Греции — страны с одиннадцатимиллионным населением — чуть не рухнула от нехватки трехсот миллиардов, причем евро.

Запасы валюты в Резервном фонде Минфина РФ на момент начала кризиса достигли 143 миллиардов долларов. Для того ведь и копили деньги в этом фонде, чтобы поддержать, если тряхнет, бюджетные организации, а вместе с ними не дать согнуться до земли и тем структурам, которые от них прямо или косвенно зависят.

Или все-таки не для этого? Помнится, как почти весь 2008 год наш министр финансов озвучивал идею покупки активов крупнейших американских корпораций. Слава Богу, не успел. А то и представить себе не могу, как зауважали бы его американские налогоплательщики — шутка сказать, они выложили бы в случае такой покупки из своих карманов на сотню миллиардов долларов меньше...

А тяготы кризиса при этом почему-то пали на бюджетные структуры, например, Министерству обороны пришлось отменить подавляющую часть заказов Военно-промышленному комплексу и науке на 2009 год, а оплатить уже выполненные ими заказы оно оказалось не в состоянии. От отсутствия заказов пострадали предприятия ВПК, их смежники и так далее.

Оптимистично настроенный читатель скажет: «Так ведь выделяют же деньги бюджетникам, ВПК, науке, поддерживают их как могут, да и культуре, говорят, перепадает, а ради преодоления кризиса эта помощь вроде бы даже и умножается...». Да, часто прямо в системе «он-лайн» озвучивается каждое из поручений руководителей страны по всем этим направлениям. Под такие поручения действительно выделяются огромные средства, назначаются исполнители и ответственные за контроль. А затем...

Львиная доля этих средств (скептики уверяют, что до восьмидесяти процентов, а злопыхатели — до ста) невероятным образом растворяется и пропадает по пути к адресатам, не оставляя ни следа, ни виноватых.

Как же так: вместо реанимации ВПК и науки происходит... рост воровства?

А как же он может не происходить? Именно это и происходит: большие деньги из бюджета и Резервного фонда РФ побежали... в годы отлаженные коррупционные каналы.

Интересно получается: наблюдается ли у нас экономический рост или экономику ведет под откос — результат, несмотря на благие намерения наших лидеров, примерно одинаковый: образуется еще одно поле для потравы. В применении к нынешней ситуации это означает, что обогатиться теперь можно и в самом задурном из секторов экономики.

Чтобы не быть голословным, хочу предложить читателям несколько свежих примеров освоения выделяемых из бюджета ресурсов. Возможно, и читатели смогут дополнить его какими-то поучительными штрихами из собственных походенных за бюджетными и подобными им средствами — например, из Резервного фонда Минфина РФ.

### **КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ НАУКУ**

В Физико-техническом институте им. Иоффе РАН РФ до недавнего времени работал доктор физико-математических наук П.Д. Алтухов, занимавшийся физикой полупроводников.

Исходя из сложившейся в последние два десятилетия практики, каждый из руководителей того или иного направления в науке должен сам заботиться о финансировании работ. Он и заботился — ходил и писал — и в РАН РФ, и в профильное министерство.

Ему объясняли: «Денег сейчас на это нет, но как только что-то появится, мы вам обещаем: на полупроводники дадим в первую очередь». Через год сказали: «А, это вы? Так мы вам опять обещаем, заходите иногда». Тогда из намеков приятелей и второстепенных чиновников, а потом показалось, что и из самого воздуха тех коридоров к нему пришла подсказка: «Вот эта структура может помочь». Оказалось, что таких структур-лоббистов вокруг министерства — примерно столько же, сколько в нем завоёв или даже чуть больше.

Надо признать, что при его обращении в одну из таких структур она вначале все прочитала и убедилась в полезности и реальности предложенного ей проекта. Потом объявила: «Обязательно пробью финансирование, но из пробитой мной суммы на вашу долю придется сорок процентов (могло быть и двадцать, и даже десять),

а остальное, сами понимаете, составят мои накладные расходы и зарплата сотрудникам. Но вы распишетесь в получении всей выделенной вам суммы». Зарплату сотрудникам эта структура действительно платила: секретарше владельца, помощнику, шоферу и внештатникам — юристу и научному консультанту...

Вообще-то практически все от отчаяния на это соглашались. А Павел Дмитриевич отказался. Вместо этого он заинтересовал в реализации проекта «Неравновесные процессы в полупроводниках» Европейский инвестиционный фонд и сумел добиться финансирования. Под проект была создана Управляющая компания фонда (совместная ФРГ и РФ), которая определила точные объемы затрат. Но руководство института попросило Павла Дмитриевича отдать пятьдесят процентов от получившейся суммы на институтские дела. Только немцы умеют считать — лишних денег попросту не было. Требовалось или все вложить в разработки, или проект затевать было бессмысленно. Иначе, глядишь, Павел Дмитриевич и отдал бы от безысходности. Но вот уперся.

В результате его, руководителя группы «Многоядерные явления в полупроводниках», лауреата Государственной премии, биография которого опубликована в издательстве Кембриджа под рубрикой «Тысяча крупнейших физиков», уволили из института РАН с формулировкой «за несоответствие должности».

Я далек от мысли обвинять руководство института в вымогательстве — институт тоже должен как-то выживать, а на какие шиши это делать — никому не известно. И дисциплину надо поддерживать: если тебе повезло отхватить денег у буржуйского фонда, изволь, дорогой товарищ, поделиться с коллегами: не одному тебе нужно двигать российскую науку. Но...

Нравы у нас теперь довольно жесткие: или отдавать приبلудным структурам большую часть бюджетных денег, да еще и подтверждать их получение, или с родной администрацией делиться тем, что невозможно поделить. Третьего не дано.

### **КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ ВПК**

Начиная с осени 2008 года и по сей день регулярно проводятся совещания с участием первых лиц страны, высших чиновников и руководителей предприятий ВПК. Они имеют хорошую прессу и освещаются по основным каналам нашего телевидения.

На одном из таких совещаний с участием премьера присутствовал и мой хороший знакомый. Он до сих пор работает, поэтому назовем его вымышленным именем Анатолий Федорович.

Анатолий Федорович отметил, что на совещании была дана объективная оценка положения в отрасли и намечены эффективные меры по устранению препон в ее развитии. Директора предприятий были также проинформированы о том, что в дополнение к уже выделенным им из госбюджета средствам за выполненные ранее работы они в ближайшие полгода получат еще как минимум столько же — под новые заказы. Некоторые, говорят, стали улыбаться.

В заключение премьер поинтересовался, начали ли предприятия использовать уже полученные ими средства. Возникла пауза. Никто не рвался отвечать первым. Наконец решился Альберт Андреевич, директор завода ракетных двигателей. Он встал и извиняющимся тоном спросил:

— Что-то они пока не доходят. Может быть, можно поручить это как-то проверить?

Премьер тут же поручил проверить и довольно жестко взглянул на правое крыло стола, где сгруппировались министерские чиновники во главе со своим вице-премьером. Говорят, что в лице вице-премьера, как всегда в таких случаях, не дрогнул ни один мускул, а глаза как глядели вперед и вниз, так и продолжали глядеть.

Проверить начали прямо в перерыве совещания, за бутербродами с осетринкой: один из чиновников подвел к вице-премьеру начальника производственного объединения, в которое входит завод Альберта Андреевича. Вице-премьер что-то

строго объяснил ему, и он стал кивать — Альберт Андреевич не знал, ликовать ему или рано. Узнал спустя три дня, когда прочитал приказ о своем освобождении от должности в связи с уходом на пенсию. Правда, новый директор осмелился взять его к себе в качестве советника по науке: не всегда пропадают смелые люди.

Как мне сказал потом Анатолий Федорович, на следующем совещании какой-нибудь из директоров уже вряд ли попросит проверить, почему до его завода не доходят средства из бюджета. И добавил, что ВПК давно обложили некие структуры, которые могут поспособствовать получению бюджетных средств, но, конечно, не всей суммы полностью. Или всей, но с тем чтобы изрядный процент этих средств был переправлен туда, куда они скажут.

Подобные схемы предусматривают, что предприятие, изготовив, допустим, самолет за сто миллионов рублей, получает за него из бюджета двести миллионов, сто из них оставляет себе — платит зарплату, рассчитывается за сырье, материалы и прочее, — а остальные сто «перегоняет в откат». Минобороны все равно, сколько платить за этот самолет, ведь двести миллионов — бюджетные, общие, а вот откат... Перепадает из него, конечно, и директорам. Говорят, многие из них платят из этого «фонда» премии сотрудникам (в конвертах). Есть даже мнение, что это единственный способ затормозить отток специалистов.

Под посещения предприятий ВПК первыми лицами страны этим предприятиям оплачивают долги государства за ранее выполненные заказы и подбрасывают обеспеченные деньгами новые заказы. Правда, иногда, как это ни странно, случается и так: один из лидеров, посетив какое-либо предприятие, радуется ему, что деньги поступят на счета в конце недели, а потом в министерстве уточняют: по-видимому, имелся в виду конец не этой недели, а вот какой именно недели — они как раз сейчас выясняют. Бывает, что выяснения затягиваются.

У лидеров огромной страны должны быть, наверно, иные заботы, чем своими появлениями обеспечивать оплату долгов и финансирование последующих работ. Но если это некому больше доверить, то — куда деваться?

### **КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

Примерно год назад у меня аж дух захватило от озвученного председателем Сбербанка РФ желания выкупить у американской «Дженерал моторс» акции ее дочерней компании — немецкого «Опеля». Нет никакой возможности, да и желания, вникать в политическую составляющую этой сделки (свыше 60% акций «Дженерал моторс» принадлежат правительству США) — просто не отпускает грусть. Ведь чем выкладывать дяде огромные финансовые ресурсы на выкуп убыточных акций «Опеля» деньгами российских вкладчиков — причем уровень процентных ставок по нашим с вами вкладам упал на этапе оформления сделки вдвое — можно же было найти им применение на российских просторах. Одолжить, допустим, какому-то инвестиционному банку, необязательно российскому, оговорив обязательность их использования именно на российском рынке и свои права на действенный контроль и блокирование возможностей неубедительного использования.

С облегчением узнал об отмене этой сделки компанией «Дженерал моторс», а по существу — правительством США. Но деньги-то у нас, оказывается, и в самом деле есть. Интересно, в экономику какой страны их собираются вложить теперь президент нашего Сбербанка и его единомышленники?

### **КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ КУЛЬТУРУ**

Многотомный словарь «Русские писатели. 1800—1917» задумывался еще при советской власти, и никто тогда даже представить себе не мог, что финансирование этого уникального научного и культурного проекта может быть остановлено. Отметим, что ничего похожего на этот проект не бывало ни в российской, ни в мировой

практике. Период XIX — начало XX века — время великой русской литературы, и словарь рассказывает практически обо всех прозаиках, поэтах, беллетристах, мемуаристах, критиках, публицистах, издателях, литераторах-дилетантах, путешественниках и этнографах эпохи.

При этом словарь «Русские писатели» — проект принципиально новый: статьи в нем не компилятивные, а исследовательские, а такое исследование требует месяцев кропотливой работы, когда сведения выискиваются по крупинкам, составители копаются в архивах, устанавливают неизвестные обстоятельства жизни, сопоставляют отзывы современников, перепроверяют факты — и так далее.

И все же этот проект с завидной регулярностью закрывают. И это несмотря на постоянные обращения виднейших представителей российской культуры во все мыслимые властные структуры. Достаточно назвать личное письмо А.И. Солженицына В.В. Путину, тогда президенту.

Вспомним, что Солженицын никогда ничего у властей не просил. Это единственный случай, когда писатель счел возможным изменить принятому правилу, в своем письме он назвал словарь «бесценным достоянием отечественной культуры», напомнил, что он уже завоевал «мировое признание глубиной и объемом содержания», и попросил содействия «в спасении уникального памятника русской литературе».

Как письмо удалось доставить по назначению — это отдельная детективная история, вот только что без убийств и поджогов. На том этапе на завершение издания требовалось около тридцати миллионов рублей — в масштабах государства сумма неприметная. Говорят, Путин сам позвонил Солженицыну и заверил его, что не даст погибнуть уникальному проекту.

В редакции стало известно о звонке и это обещание было воспринято даже некоторым опьянением. Тем болезненнее было отрезвление.

Не секрет, что на таком уровне практически ни один проект резолюции не заготавливается аппаратом без предварительного согласования с будущим исполнителем (если только этот исполнитель не принадлежит к вражеской группировке внутри правящего сословия). Таким вот образом и был заготовлен благожелательный, но ни к чему конкретно не обязывающий проект резолюции на письме Солженицына: «Оказать содействие». И поручение лидера цинично «замотали», сбросив в три министерства — культуры, печати и образования. Два из них к поручению не отнеслись никак, а Минкультуры, после долгих, унижительных хождений представителей редакции, согласилось выделить восемь (!) процентов оговоренной суммы. Но не грех ли ругать Минкультуры с его скудным бюджетом, а примем еще во внимание, что из этой скудости надо умудриться выкроить — кому на скромный коттедж, кому на квартирку в центре или на обучение чада в Лондоне... Гольтба, не позавидуешь.

Главное же — в резолюции никак не фигурировал Минфин с его деньгами. Надо думать, что его руководитель — уж точно не из вражеской группировки. И, если бы в проекте резолюции было прописано что-нибудь вроде: «изыскать средства и доложить об исполнении, срок — три дня», не увернулись бы. Но на то и чиновник, что бы заготовить «нужный» проект резолюции.

Знающие люди утверждают, что даже за приличную мзду подложить на высокую подпись резолюцию, нарушающую спокойствие Минфина, — предприятие не только дерзкое, но и опасное: вход только для своих. А выхода можно вообще не найти — разве что в компании с прокурором.

А просили-то на словарь — по минимуму, согласно смете расходов. Ведь редактор (квалифицированный филолог с научной степенью) зарабатывает 7—8 тысяч рублей в месяц. Авторы получают за словарную статью от 2 до 15 тысяч, в зависимости от объема. Это за месяцы работы. А есть еще технические работники, архивы, библиографические службы — им тоже надо хоть что-то платить.

Тем не менее на подачку Минкультуры редакция словаря довела почти до готовности его пятый том. И тут деньги кончились совсем, руководство издательства «Большая российская энциклопедия» проект закрыло, уволив редакцию, но под напором общественности (коллективные открытые письма, целый ряд выступлений и статей) отступило и приняло компромиссное решение: вывело надо-

евшую редакцию за штат, лишив занимаемого помещения и зарплаты, а заведующего поменяло.

Редакция, сидя по домам без зарплаты, героически выдала в свет многострадальный пятый том. Но впереди — еще два тома, и, чтобы завершить работу на том же научном уровне, требуется еще лет пять — и совсем уж скромные, по меркам государства, деньги — около 12 миллионов рублей. Примерно столько же стоит коттедж чиновника невысокого ранга — руководителя среднего звена или полковника милиции — в не самом престижном районе Подмосковья. А вот второго писателя или ученого масштаба Солженицына, к которому прислушалась бы верховная власть, у нас, увы, нет. Разве что собраться толпою всем, кого еще интересуется что-то помимо гламура и уголовщины, и выйти к Лобному месту с хоругвями?

### О БУДУЩЕМ

Масштабные, поглощающие немереные средства мероприятия по внедрению в сознание граждан веры в усилия руководства страны помочь науке и культуре, боюсь, так и останутся на уровне политического гламура. И приходит крамольная мысль: а вот бы деньги, затрачиваемые на антикризисный пиар, и направить на науку и культуру? Да так, чтобы они дошли до адресатов без распила и отмывки, проскочив мимо структур-паразитов? И знаем же: мысль не проскочит, птица не пролетит — а все допускаем крамольные мысли из вредности...

Все же интересно: сколько еще можно сосать кровь из экономики и игнорировать культуру, пока хотя бы часть окружения первых лиц согласится наладить каналы для проводки средств без изумляющих огромностью откатов?

Из разговоров с людьми из самых разных слоев нашего общества — от сантехника до доктора наук и директора крупного оборонного предприятия — знаю и ответственно заявляю: вера в реальность перемен и даже в самую возможность их осуществления — отсутствует у всех.

Не в прямой ли связи с этим у нас вновь и вновь испытывают общественное мнение дискуссиями: а чего это в народе никак не утихает тоска по Сталину? Участвуют даже приличные люди с учеными степенями... Но, по сути, что же непонятно в его популярности среди людей, распахиваемых по обочинам жизни? Не давал воровать главный друг детей и физкультурников — даже ближайшим соратникам, да и сам этим не грешил. За всю многовековую историю — только при нем ведь и не воровали. Тут, как ни дискутируй, а результат получается неутешительным: только большая кровь способна пригасить хватательный инстинкт российского чиновника, допущенного к распределению мало-мальски значимых благ.

Неужели так и не найдется никакого спасения, кроме периодического точечного отлова тех, кого на данный момент не особенно жалко? Ведь обо всех известно все. Не нам, конечно, с вами, а тем, кто в этой игре тщательно собирает козыри. Они будут вытаскиваться из больших рукавов поближе к предстоящему президентскому розыгрышу — чтобы обыватель не успел оценить результатов игры.

Есть и еще один интересный вопрос: как поведет себя наша чиновничья бизнес-элита, если жизнь все-таки заставит ее корректировать нынешнюю квазилиберальную модель развития? В состоянии ли она, а главное — захочет ли начать работать, пусть и подворовывая (но не всласть), или будет продолжать воровать, слегка подрабатывая?

В последнем случае все модели развития примерно одинаковы, и толковать при их выборе о чем-либо — это продолжать развлекать ерундой себя и сограждан.

Татьяна Марьина

## Университеты русской Швейцарии

### Эх, дороги...

Мой путь в науку был похож на дороги Костромщины. Я не говорю даже, что я припозднилась, но наука меня ждала. Так ждет автобус на автовокзале Костромы бессовестно проспавшего пассажира. Только в одном уголке страны моей бескрайней отяжелевшая в целлюлите Фортуна, пересчитав пассажиров по головам и заметив разницу между проданными билетами и присутствующими головами, тормозит водителя и заставит ждать опоздавшего, не рискуя вызвать негодование. Нет, в салоне будет терпеливо-тихо, потому что это — Кострома; и точность костромичи вежливо оставляют королям.

А далее автобус витиевато пошуршит не напрямую, по мосту через Волгу, в столицы, а — в глубь бесконечной провинции, по собственной губернии, до иных райцентров которой добраться иногда дольше и сложнее, чем от Костромы до Москвы.

Не успели выехать за пределы губернского города, навстречу понеслись многочисленные мосточки через речушки в бассейне близкой Волги, и, чем дальше от Костромы, речек этих не становится меньше, но стоки их уже иные — другие полноводные и обильные реки: Кострома, Нея, Немда, Унжа, Ветлуга...

Колеса подсакивают на стыках мостов, автобус гремит всеми своими потрохами, и хорошая дорога незаметно покидает нас, превращаясь в сплошные ямы и колдобины, стыки мостов или бетонированных плит, коими вымощены отдельные участки, ведущие ранее к так называемым «точкам» (военным объектам, которые сегодня почти все «приказали долго жить»)... И уже не только съезды и въезды мостов

**От автора** | Я родилась в п. Ленинском Тульской области, в 1977 году закончила Заокскую среднюю школу. Высшее инженерное образование (факультет механизации сельского хозяйства) получила в 1985 году в Костромском сельскохозяйственном институте. Работать мне кем и где только не приходилось: токарем-револьверщиком на Серпуховском заводе в Московской области, инженером по сельхозмашинам в Ярославской области, техником-технологом и диспетчером производства на Балакиревском механическом заводе во Владимирской области, а еще — санитаркой, уборщицей, сторожем... Побывав безработной и бомжем, я вернулась в Кострому и начала жизнь заново. В своем родном вузе — теперь уже сельхозакадемии — я работала паспортисткой, уборщицей, лаборантом, ассистентом, закончила очную аспирантуру по специальности «Эстетика» и в 2002 году защитила кандидатскую диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала старшим преподавателем, а сейчас — доцент кафедры философии в академии. Разведена, имею взрослых детей: дочери — 23 года, сыну 22. С шести лет пишу стихи, с девятнадцати — прозу. Работаю в этом направлении самостоятельно, много, серьезно — поставив творчество на первое место в жизни — и безрезультатно. Основная тема творчества — бездомность (до сих пор живу в общежитии по контракту, т.е. пока работаю — живу) и дороги (оно и понятно!). Нигде не публиковалась. Первая книга — сборник ранней прозы «Дети общежития» (Кострома, Издательство Костромской ГСХА, 2008) вышел в мои 49 лет, и повесть из него «Надежда умирает последней» стала моим первым значительным результатом — вышла в финал премии им. И.П. Белкина.

напоминают о существовании души, а сплошное неудобье как отличительная особенность российского бытия, и в частности — дорог...

Народ не возмущен и смиренно молчит, хотя на первом этапе поездки у многих, даже привычных, кишки, как говорится, перекрутили горло, но с этим как-то свыкаются, а самые психически стойкие или, наоборот, сраженные бесконечной тряской, умудряются дремать, разбалтываясь телом по сторонам, на выражах инстинктивно хватаясь за соседа или за воздух. Неизбывный шансон властно опрессовывает мозг, но и без того пассажир запрограммирован на длинную и изнурительную дорогу, потому что коротких расстояний на Костромщине не бывает.

Редко-редко попадетесь на маршруте случайный заезжий человек — и вслух начнет возмущаться и поминать всяко и прошлого, и настоящего, и будущего губернатора, но попутчики местные и привычные лишь усмехнутся, пустые речи не поддерживая. Они знают: ругаться в долгой дороге ни к чему: дурные слова материализуются, тут, разоряясь по пустякам, не отдать бы совсем Богу душу — этот необходимый для жизни, но так и не материализовавшийся субстрат.

Самым страшным, к чему я никак не могу привыкнуть в костромских путешествиях, является езда по обочинам, причем не только своей полосы, но и встречной; и маневры такие столь же часты и обыкновенны, как кресты, памятники и обелиски с венками вдоль дорог, которых уже намного больше, чем жителей в вымерших деревнях.

Водитель виртуозно объезжает ямы и ямищи, сбрасывает скорость на рытвинах и ухабах, и захлебывающийся двигатель всхлипывает по-человечьи, одолевая очередное препятствие. Автобус катит по самой кромке обочины, почти под колесом проплывает оберегом вкопанный на оползне столб, которого мы едва не касаемся бортом; и сердце екает не столько от того, что это — обочина и край, сколько оттого, что полоса-то — встречная, и навстречу тоже идет непредсказуемыми выражами транспорт, изловчаясь выбирать путь полегче; и наш водитель обреченно выворачивает руль, чтобы успеть увернуться. Но вот опять путь свободен, и, надав газку, автобус стремится проскочить по более удобным местам более долгий участок... Наше путешествие напоминает детские компьютерные игры, с той лишь разницей, что в запасе у нас нет дополнительной жизни...

Путешествовать по Костромщине лучше на рейсовом транспорте, и спрашивать лишь те поселения, что стоят вдоль дорог. Чуть в сторону — и редкий водитель, даже опытный, подскажет вам, на каком повороте выходить. А выйдешь не там — топтать будешь десятки километров, и это здесь — тоже дело обычное: широка страна моя родная! Указатели, конечно, есть, но необходимых вам вполне может и не оказаться. На своем транспорте ехать не стоит хотя бы потому, что свой — не казенный, жалко; к тому же на больших перегонах сутками никого не встретишь. И не раз бывало, что своим ходом заезжали настолько не туда, а потом пытались спрямить путь проселками, — что теряли, блуждая, по трое — четверо суток. Прямо ворона летала, да в гнездо не попадала. В этом случае уж лучше вернуться и начать путь сначала. Потому что основные направления от Костромы расходятся лучами, районные города на них нанизаны бусинами, но часто между отдаленными центрами соседних направлений нет прямого сообщения вообще. И то, что известно о прямом пересечении местности, например, охотнику, вашей легковушке может и не подойти.

Надеяться на встречных тоже не стоит; встречный, даже местный, может и не знать нужного вам места (верный признак того, что не туда заехали), да и проводник может оказаться лукавым Сусаниным, да и Сусанин, говорят, сам заблудился... А вот это-то и неудивительно: если немудрено заблудиться сейчас, когда леса сведены более чем вполовину и многие болота осушены, то каково же было Сусанину зимой 1612—1613 годов?..

Я люблю в окно знаменитыми костромскими лесами — гордостью нашей; пусть это не сибирская тайга, но есть отдельные массивы — например, Кологривский, — которые тайге соответствуют: реликтовый лес, как говорят ученые, изучающие и берегающие эти джунгли. Даже вдоль дороги белоствольные березы — раз в пять выше подмосковных, сосны — поистине корабельные; дремучие, раскидистые, колдовские ели подпирают небеса.

Мало кто озирается по окнам на знакомые картины, но если не лишены восприимчивости к свету Божию, то увидите, почувствуете в колдовстве и плутании дороги среди непролазных чащ наши российские жизни и судьбы — трудные и непредсказуемые, пробивающиеся часто не благодаря, а вопреки, с одной лишь разницей, что мало кто доедет до цели...

...Какая-то из них моя?..

Ревет движок и едва-едва тянет в горку, за которой, словно пропасть, стремительно приближающийся откос, и мост через очередную речку, но, утомившись тряской, привыкаешь даже к страху, и глаза останавливаются на другом — на том, чего никогда бы не заметил в своей городской круговерти. Белою кипенью черемух okayмлены поймы рек и окна изб в редких деревнях, и покинутые человеком, заросшие ивняком поля в этом майском роскошном цветении видятся желтой пеной прибора на зеленой волне.

Но вот автобус приваливает к районной автостанции. Из обступившего ее с трех сторон леса чуть ли не под ноги к разминающимся пассажирам безбоязненно выкачивается ошалевшая от сытости белка и, лишь слегка тормознув, соблюдая приличия, с любопытством потянувшись к предложенному кем-то яблоку, вмиг исчезает вместе с ним.

Вот так здесь рядом — опустошенные, будто после вражеского нашествия, полувывершие села (зато с неперменной вышкой приема мобильной связи), зарастающие лесом поля, дикая природа, жаждающая приручения, и измученные горожане, во втором, а то и в первом поколении разучившиеся понимать красоты мира. Все рядом: и импортный автобус на убогой, латаной-перелатаной дороге, и водитель-ас, перед которым за эту дорогу стыдно, и безмерная терпеливость людей, которая ничем никогда не окупится. И на каждом шагу загородных маршрутов, как на каждом шагу здешней жизни, — преграды и пределы, боль и страдание, восторг от красоты и щемящее чувство любви, оттого что это — твое, и что ты здесь — свой... Все вместе: и подвиг, и риск, и жалкое существование; и сила, и бессилие; и возникающая из небытия жизнь, и тающая в небытии смерть...

Однажды со студентами Костромской сельскохозяйственной академии «Караваяево» мы поехали на экскурсию в усадьбу драматурга А.Н. Островского Щельково. Академический «пазик» довольно резво довез нас до райцентра, названного в честь великого соотечественника, а далее автобус, заунывно скрипя, долго бился в амплитудах стиральной доски. Девчонки — а путешествовали студентки факультета агробизнеса, в основном сельские, крепкие, с пеленок привыкшие к любым перегрузкам, — даже и не приуныли, и не переставали щебетать, не боясь прикусить языки. Они и не заметили более чем часового путешествия на двадцативосьмикилометровом отрезке ужасной дороги (водитель жутко ругался за перерасход топлива, остановив автобус на обратном пути у заправки, и мне пришлось доставать свой кошелек — расплачиваться за дозаправку).

Мы не торопясь облазили с фотоаппаратами все горки, овраги, веранды, беседки, мостики и мощеные тропинки с великолепными перилами в этой «русской Швейцарии» (так назвал свою усадьбу сам великий драматург, но удивляет, почему точно такое же название на языке экскурсоводов имеет и усадьба художника Поленова на моей родине); торопиться было некуда, автобус у нас — свой, и экскурсовод свой.

Уже забираясь в автобус, девчонки узнали новость дня: прибывший в Щельково на экскурсию американец — молодой человек двадцати двух лет — дорогу выдержал с трудом, а выходя из автомобиля, разрыдался... На мое шутовское предложение посмотреть на этого кавалера они чуть ли не хором ответили: «И смотреть не на что!».

Правда, на обратном пути их укачало, и они недовольно заметили: «Не надо было говорить нам, что дорога плохая»...

Всем лучшим в жизни я обязана Костромской сельскохозяйственной академии «Караваяево». Своим человеческим, личностным и профессиональным становлением. Я так и говорю студентам, что заканчивала лучший в мире вуз и лучший факультет — механизации сельского хозяйства. Это — мой старт, моя база. Это — мои большие возможности. Мехфак — это не образование и не карьера, это — состояние души.

Нас учили не искать легких дорог и обучили надежности. Ни один из моих однокурсников, пройдя искушения перестройки, не стал подлецом. Наши учителя не были просто педагогами, они были нашими единомышленниками и относились к нам как к равным.

### **СТРОЙОТряды, МЕХОТряды**

В нашей академии вновь возродилось стройотрядовское движение. Есть и механизированные звенья, и ветеринарные отряды. Поэтому вспоминать прежний опыт — очень даже своевременно.

Стройотряд «Энергия», куда я отрядилась поварихой, тянул в Макарьевском районе линию электропередачи, поэтому место дислокации мы меняли дважды. Сначала весь отряд забросили в село Тимошино двумя партиями. Нас, первую партию, привезли из Костромы в Макарьев на автобусе, а потом переправили через Унжу на пароме, там — до Тимошина на вездеходе по вязкой песчаной дороге, пробитой сквозь сумрачную костромскую тайгу. Сорок километров одолели за три часа... Но, как оказалось, измучились мы меньше тех, заброшенных из Костромы в Тимошино на самолете: они вышли, шатаясь, с позеленевшими лицами и сразу повалились на траву.

В советское время сообщение по воздуху было в Костромской области хорошо отлажено. Отдаленные райцентры, а также села, куда «только самолетом можно долететь», имели свои аэродромы; и даже отдаленные небольшие деревни — хотя бы общий аэродром и нечастое сообщение. Сейчас этого нет. Да и крупные села, вроде Тимошина, опустели, а многих деревень просто нет. Исчезать деревни стали еще с укрупнением колхозов и совхозов, тем более при таком-то бездорожье. В город молодые дорогу находили быстро, а вот обратный путь... К хорошему быстро привыкаешь.

Тимошино было большим и крепким селом. Поговаривали, что старообрядческим. Это типа — где и воды напиться не подадут, а если подадут, то кружку после тебя выкинут. Ничего подобного я не заметила. В самом деле, дома стояли просторные и крепкие, огороды — ухоженные; в глаза бросалось трудолюбие селян и чистоплотность их быта. Мы жили в двухэтажной школе, закупали продукты в магазине. Нам много чего приносили женщины со своих огородов, либо угощая, либо за небольшую плату. Молодежь, особенно дети, по вечерам собирались к нам поиграть в волейбол и «картошку». Взрослые были сдержанно приветливы. Вообще внешнюю прохладность костромичей (в противовес нашей тульской пылкости) я никогда не принимала за холодность и отторжение. Костромичи не раз спасали и отогревали меня в обстоятельствах, когда мои пылкие земляки могли запросто отвернуться...

У туляков есть особенность: жить вместе, соборно, публично. Эта сплоченность, вероятно, сохранилась с тяжелого военного и послевоенного времени, когда она помогла людям выжить. В нынешней жизни она смешна, а рвение помочь там, где не просят, просто раздражает. Моя мать, прожившая в Белоруссии до девятнадцати лет, а в Тульской области — более тридцати пяти, в первый же приезд в Кострому заметила с осуждением: «Да, войны здесь не было. Люди не такие: умирать будешь — не помогут». Вот в этом — все тонкости различия: у туляков — жажда помочь где надо и не надо, вездесущая навязчивая дружба, и в то же время — желание осудить; у костромичей — прохладная отстраненность от чужих проблем, пребывание в собственном замкнутом мире. Но в соприкосновении с чужими судьбами они помогают по необходимости, не ставя человека в зависимость и не распространяясь о своем великодушии.

В селе нам жилось хорошо и вполне цивилизованно. Был и телевизор, и электроплиты, и молоко с фермы досыта. Ходили мы по селу босиком, потому что, увязая по щиколотки в крупнозернистом песке, быстро поняли бесполезность здесь всякой обуви. Все вместе взятое позволяло позднее называть Тимошино курортом.

Труднее пришлось отряду, когда убрав старую линию электропередачи и поставив новую, он углубился по лесопросеке до двадцати километров, и стало трудно добираться до работы. Тогда часть отряда ушла вперед по трассе, разбив палатки на

берегу чистой лесной речушки. Я была у них в гостях, и более всего мне запомнились заросли смородины у реки. Таких огромных ягод я не видела даже у садовой, сортовой смородины. В лесу часто встречались деревянные щиты с предупреждением, что собирать ягоды и грибы нельзя, так как в научных целях данная зона обработана химическими веществами. Но как можно было в восемнадцать — двадцать лет не соблазниться огромными, вкусными лесными ягодами и грибами, которые сами выскакивали под ноги?

Наша бригада на вездеходе была перевезена в деревню Малая Торзать. Мы поселились в брошенном доме, где единственный ободранный диван с выпирающими пружинами ребята отдали мне, поварихе, прибавив над ним жестяную инструкцию электрика: череп с перекрещенными костями и надписью «Не влезай! Убьет!». Для себя они вповалку настелили матрацев прямо на пол — никогда более у ног моих не было столько мужчин. На этом новый уют закончился.

Очаг я сложила сама, из кирпичей, прямо на улице — печь в доме порушилась, и топить было нельзя. А потом началась черная полоса в нашей отрядной эпопее. Нас «закинули» в деревню, но не дали денег. Продукты были на исходе; техника где-то застряла, и по существу парни остались без работы и без средств к существованию. Работа была только у меня. Я вставала ни свет ни заря, раскочегаривала печь и готовила пищу из единственно уцелевшей пшенки ни с чем. Парни валялись иногда до полудня, вяло съедали под накрытыми телогрейками сохранившую тепло кашу и со всеми претензиями в плане быта и пищи в мой адрес опять уползали в дом — резаться в карты. Тупое безделье вылезло на небритые лица, которые давно не споласкивались по утрам, хотя я каждое утро наполняла рукомойник. Чтобы кто-то натаскал журавлем воды из колодца или донес ведра — и речи быть не могло. Печали усугублялись и тем, что мой очаг приглянулся деревенскому быку. Дом был не огорожен, и, не сразу, но заметив в стороне от своего магистрального пути некое инородное сооружение, он в мгновение ока раскатал и кирпичи, и горящие поленья, и плиту, и мои почти вскипевшие ведра с водой.

Каждое утро начиналось со складывания очага. Вставала я теперь поздно, когда прогоняли стадо (все равно парни спали до обеда), складывала очаг и готовила еду. Но вечером бык вновь задавал мне наряд на утро. Никто не хотел мне помочь, разъярившегося быка никто не пытался прогнать, нашу территорию никто не пытался хоть как-то огородить. И однажды я решила сделать печь основательно. Попросила у соседки лопату, отбила в новом месте дерн по периметру и стала углубляться в землю. В азарте работы не обратила внимания на рев трактора, остановившегося поодаль. Через некоторое время ко мне подошел однокурсник Сережка из бригады, которая жила в лесу.

— Что ты делаешь? — удивился он.

— Могилу себе рою, — ответила я. По форме мое произведение было и впрямь похоже на могилу.

Ничего не сказав, Сережка отправился в дом. До меня донеслись крики и ругань. А я копала. Я давно уже не чувствовала, что у нас бригада, коллектив — ничего этого от нашего сброда не осталось. Около часа продолжался галдеж, потом Серега вышел, отобрал у меня лопату и вырыл достаточно глубокую яму. Вырыв, спросил:

— Тебе хватит?

— Мне — хватит! — ответила я двусмысленно.

К тому времени я натаскала из-под навеса наколотых кирпичей и намесила давно припасенной густой глины, которую нашла далече, натаскала ведрами и припасала впрок. Вдвоем мы быстро обложили кирпичами стенки нашей «землянки». Сережка устроил плиту, вымыл руки и пошел к трактору. Он вытащил двух глухарей, бросил прямо на землю и в сердцах плюнул:

— У нас тоже денег нет, да и купить негде. А у вас — деревня, люди, магазин, а вы? Мы гаечными ключами молодых глухарей бьем, и у нас всегда мясо: благородное мясо, дичь! И компот со свежими ягодами... А они (он кивнул с отвращением в сторону дома) не умываются и не бреются.

Сережка уехал.

...Ели хмуро. И пшенку мою «с дичью» не критиковали. И друг с другом не разговаривали — видно, на «собрании» наговорились. Я, ни к кому не обращаясь, сказала вслух:

— Ставить новую линию без техники мы не сможем. Но вручную убирать старую — можно. Бабкам в деревне дрова нужны. Они за дрова дадут картошки. Можно помочь им распилить и расколоть.

Я была на три — четыре года постарше своих однокурсников. И эта разница выявилась именно в быту... Вечером у нас была картошка, пожелтевшее сало, квашеная капуста. А главное — была усталость, и я выпалась, потому что ночью никто до одури не пел, насаживая глотку. Да и печку по утрам перекладывать больше не приходилось: углубленная в землю и прочно сложенная, она не поддавалась быку, и он утратил к ней интерес.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых первый в Нечерноземье студенческий механизированный транспортно-уборочный отряд стал целой эпопеей для малолюдных Антроповского и Парфеньевского районов. Первый сводный отряд (1978 год), состоящий из четырех линейных, общим количеством в 160 бойцов, попал в самые жесткие, можно сказать, жестокие погодные условия, когда урожай буквально приходилось спасать, таская тракторами комбайны по раскисшим от дождей полям, заготавливая вручную сено и просушивая его на «вешалах» — деревянных приспособлениях, устроенных над заболоченными землями. Отряд потом увеличился до двухсот человек, в основном это были студенты факультета механизации, но также и агрономы; поварами и связистками в штабе работали девчата с экономического факультета. Чтобы не наносить большого урона учебному процессу, четверокурсники выезжали на посевную, а потом возвращались почти к сессии. На сенокос и уборочную уезжал уже третий курс. Это была хорошая школа для будущих инженеров и хозяйственников. Техниккой, как старой, так и новой, отряды были обеспечены сполна и дорожили ею, но не могли спасти от зимнего браконьерства местных механизаторов: с запчастями в советские времена было туго. Годы спустя, анализируя опыт мехотрядов, его сочли чуть ли не вредительским: дескать, по неумению много техники погубили студенты. Но почему-то забывалось, что порой на 70—90% отчетные показатели по вспашке, посеву и уборке в некоторых хозяйствах были выполнены именно «колосятами». Для студентов «Колос» явился не только школой практических навыков в будущей профессии, но и школой выживания, потому что погодные и бытовые условия были порой невыносимыми. Конечно, был и ущерб, но на чаше оценки подготовки наших выпускников его перевесили профессиональный рост и обретенные деловые качества. В те годы в подборе кадров многое решал вопрос, был механик в мехотряде или нет.

Поезд Кострома—Свеча, кланяющийся каждым столбу, останавливается в Антропове глубокой ночью. Пустынный, ярко освещенный вокзал приютил меня до утра. Даже примерно зная, в какой стороне гостиница, я не рискнула идти в крошечную темень, начинающуюся за четко обозначенным кругом света единственного фонаря. Утром я начала спрашивать, как добраться до деревни Степурино, но антроповцы ничего сказать мне не смогли. Лишь после двухчасовых поисков один человек сумел ответить, что это очень далеко, и транспорт туда никакой не ходит. Но, чтобы облегчить путь, посоветовал доехать хотя бы сначала до села Палкино. От Палкина я пошла пешком в деревню, где в начале восьмидесятых доживала свой век последняя семья: муж-механизатор, уже пенсионер, и жена, ведущая полное натуральное хозяйство — она даже хлеб пекла сама. Обработать поля в округе стал один из линейных отрядов «Колоса», а поселились ребята в заброшенных домах.

Я шагала по дороге бойко: виделась та дорога не покинутой, но все же редко используемой. А я была полна сил и впечатлений. В отряд я ехала поварихой, только что поступив в институт, да еще только что отгуляв свадьбу у лучшей своей подруги. В саквояже у меня лежали не только два платья и босоножки, в которых я повеселилась на свадьбе, но и высокие литые сапоги, фуфайка, теплый платок и рабочая одежда. Солнце светило ласково, дорога была приветливой, пейзаж радовал. Долго ли,

коротко ли, показалась на горизонте деревня. Ускорив шаг, почти вприпрыжку, я вошла в нее с видом победителя. Но мертвенность пустых незрячих окон быстро охладила мой пыл. Кое-где окна и двери были заколочены досками сплошь, кое-где — накрест, кое-где оставлены как есть.

Был 1980 год. Я никогда в жизни не видела брошенных деревень. Думаю, даже брошенный дом способен повергнуть в уныние неискушенного человека. Я долго еще оглядывалась на удаляющуюся призрачную деревню, а когда она исчезла совсем, пошла веселее и поспешнее, ведь солнце уже поднялось к полудню.

Скоро сказка сказывается, да не скоро ноги идут. Саквояж мой будто бы потяжелел, да и есть хотелось неумолимо. Но когда я увидела вторую деревню, ноги будто сами понесли меня! Едва ли не бегом я влетела в нее... И эта деревня была покинутой — ни единого признака жизни. Полное отчаяние охватило меня. Возвращаться назад у меня не было сил, да еще на пути стояла та пустая, зловещая деревня. Идти вперед тоже было страшно — я вообще не знала, правильно ли иду.

Не могу сказать, сколько времени еще я брела по этой среднерусской пустыне, но когда показалась третья деревня, я и сама себе уже казалась миражем. С полным безразличием мы вглядывались друг в друга, пока на подходе мне не почудился запах живого жилья. Поистине — «человеческим духом пахло». Проходя покинутые избенки, я отчаянно всматривалась в потухшие глазницы окон, и только у хлева последней увидела приоткрытую дверь и услышала протяжный коровий мык. Я оставила саквояж и, боясь спугнуть судьбу, не дыша, прислушивалась к чиркающим по ведру струйкам молока, ожидая хозяйку. Наконец деревня как мир и, очевидно, подслеповатая старуха выползла из хлева. Обрадовавшись и одновременно испугавшись ее, я издали начала с нею заговаривать, боясь и ее испугать своим появлением. Но бабушка, завидев меня, не просто испугалась, а ошалела от страха. Действительно, откуда могла на ее одиночество тут свалиться девица?

Не могу сказать, страшно ли было жить одиноким старикам в глухой деревне двадцать пять лет назад. Но что сейчас очень страшно — это так. Бомжи, цыгане, пьянь — много у них, беззащитных, обидчиков. А в те далекие уже времена существовал доходный и порочный промысел — грабить заброшенные церкви, а разграбив, переключились на сельское население — ведь самые ценные иконы верующие люди разбирали по домам. Ужас в глазах одинокой старушки и означал постоянную готовность к нашествию безбожников (а девушку вперед послали); ведь самым ценным для этой бабульки и были ее намоленные иконы.

Мы едва поняли друг друга — бабушка была глухая, но все же она подтвердила, что есть тут бригада на тракторах, и надо идти в следующую деревню, по той же дороге, не сворачивая. После этой встречи я поняла, что означает «вновь возвращается жизнь». Выйдя за околицу, я почувствовала себя — свою сильную усталость — и поняла, что просто не дойду. И тогда я оставила свой саквояж со свадебными и рабочими одежами посередине дороги и пошла налегке.

Пришла вечером, бойцы сидели под самодельным навесом за грубо сколоченным столом и ужинали. Были они в промасленной рабочей одежде, бородачи, с вьезшими в руки и лица копотью и мазутом. Увидев меня, исполнили «немую сцену» гораздо лучше любого сработавшегося театрального коллектива. Командир лихо сгоял на «колеснике» за моим саквояжем, и я обосновалась в «Колосе» на три сезона.

Вспоминая те дни, мы чаще всего говорим о легендарных антроповских дорогах. Почвы в районе глинистые, и дожди превращают дороги в непролазную грязь. Разбитые техникой колеи цепко держат трактора, проваливающиеся на полметра и более, «плывущие», как лодки. Речушки, не вбирающие большие осенние ливни, разливаются и отсекают сообщение деревень с внешним миром. Например, деревня Олоино вряд ли сегодня существует. Там пахали на тракторах две наши студентки мехфака, и парни их там оставили со спокойной совестью — были они родом из этой деревни и жили у родителей.

Я помню, что трактора у нас часто переворачивались, а раз даже упал набок зерноуборочный комбайн с жаткой (ширина захвата жатки — шесть метров, но и это не спасло). Драматичнее всех перевернулась моя однокурсница, нейчанка Люба

Невзорова. Она была самым опытным трактористом, потому что после школы год проработала на тракторе. Был такой призыв — «С аттестатом зрелости и комсомольской путевкой — на вторую целину», на который откликнулись в 1976—1978 годах 3500 выпускников средних школ Костромской области. Нечерноземье было объявлено Всесоюзной ударной стройкой.

Нам всем командир доверял гусеничные трактора и комбайны. Я работала в тот сезон на гусеничнике с лущильником или дисковыми боронами: катайся по полю, с него точно не свалишься и в столб не врежешься. А Любе доверили колесный трактор, и ездила она на нем даже в райцентр — за продуктами и по делам.

Тогда она везла обед в поле. Попутную речушку трактора одолевали вброд, но гусеничные машины так разможили дорогу, к тому же размытую рекой, что Любин колесник ее попросту не одолел. Привычно Люба въехала на пониженной малой скорости в воду, а выбираясь на горку, быстро переключила скорость и поддала газку. Движок взревел, задние колеса буксанули в реке, передок задрался, и трактор, кувырнувшись через задний мост, опрокинулся на крышу. Как Люба вылезла из кабины и из реки, она не помнила, — пришла в отряд мокрая насквозь.

У нас на факультете было три каскадера — и у всех фамилии с приставкой «не-»: Некипелов, Невзорова, Неупокоев...

Я как трактористка не ценилась: парни рассказывают много технических ляпсусов с моим участием, причем сама я их не помню — думала, что так и надо... Поэтому я всегда работала у плиты — что умела.

В отрядах я была пять сезонов, из них в Антроповском районе — трижды. Условно менялись к лучшему; в последний раз мы жили в щитовых домиках, у нас были баллоны с газом, холодильник, телевизор. Но все-таки с перестройкой «Колос» приказал долго жить. Почему?

Я выскажу только свое мнение. Первые отряды ехали в Антроповский район как целинники на целину, как на подвиг шли, как в бой. Их провожали напутствиями первые лица института и области, их встречали приветствиями. Газеты пестрили репортажами о бойцах, снимались фильмы, отряды приглашались целиком на Праздник урожая в Антроповский район, где их всех награждали не только на местном уровне, но и на уровне всесоюзном (очень почетно было получить значок Центрального комитета комсомола «Золотой Колос»). Обком партии, обком комсомола, антроповские райкомы и власти сельхозинститута работали в тесной связке и являли общую заинтересованность. В Антропове был создан координационный штаб. Поддержка «сверху» была очень мощной. При таком подходе каждый боец осознавал значимость возложенных задач и чувствовал ответственность. Недостатки не замалчивались; я читала подшивки старых газет и особо запомнила «круглый стол» с командирами и комиссарами отрядов. Так вот там настолько резкой и жесткой была справедливая критика, что такую критику от нынешних студентов в адрес руководства, я думаю, просто получить невысказанно.

Теперь формулирую основной вывод, и этот вывод — пропаганда. Меня тоже, господа, корезит от этого слова, но грамотная пропаганда родила популяризацию студенческого движения, следствием которой явились энтузиазм и те результаты, за которые стоило бороться. Потом то ли произошел разлад между институтским, областным и районным руководством, то ли кризис общественных отношений перестроечного времени в том числе явил себя в указанных отношениях, то ли изнасилась техника, а новую закупать теперь стало проблемно даже в хозяйствах, что уж говорить про студенческие отряды, но... Но считаю одной из причин развала ту, что «Колос» стал непопулярен и ездить туда стало неprestижно. На высоком уровне было сказано, что толку от студентов мало, что они «всю технику ухлябали» (попробовали бы так сказать в 78-м году, — партийным билетом расплатились бы). За восемь лет и механизаторы разбивали технику основательно, тем более что в отрядах новой и старой техники было половина на половину.

Предвижу вопрос: а что это вы, мадам, все о преданиях старины глубокой, неинтересно, что было там, в вашем Антроповском районе, двадцать пять — тридцать лет назад? Отвечу: сейчас на полях, где работал наш «Колос», вырос лес.

И еще: поднимать сельское хозяйство области (региона, страны) силами самих жителей — это безумие. Нечерноземье не могли поднять даже с государственной помощью. Во всем мире сельское хозяйство получает дотации. А Нечерноземье, к тому же, — зона рискованного земледелия. Здесь даже и окультуренная земля может не оправдать вложений из-за погодных условий.

### **МОИ СТУДЕНТЫ**

В Галиче есть где погулять. Приезжаю я сюда обычно в студеную погоду — ранней весной или поздней осенью, при этом неприкрытое сиротство древнего города видно весьма отчетливо. По ходу к центру минуя остатки крепостных валов с наполненными водой рвами; где-то отреставрированные под магазины и офисы, но чаще обшарпанные дома-развалюшки; запущенную, с закопченными окнами церковь, используемую под котельную или пекарню; и, почти на главной площади, — руины двух трехэтажных старинных домов, один из которых, наконец, в свой последний приезд я увидела облагороженным. Уникальная ценность Галича общепризнана, но вот разительных реставрационных перемен не наблюдается. Галич — один из немногих старинных городов, сохранивший торговые ряды, правда, не полностью, как Кострома, но все же. В старинные ряды бесцеремонно встроили административные здания советских времен — сегодня там по-прежнему управленческие структуры. Возможно, из-за этих-то инородных вкраплений и была порушена целостность белоснежного ансамбля купеческих торговых рядов. Центральная площадь непозволительно огромна — древние и средневековые площади европейских столиц уступают Галичу.

Галичский рынок, расположенный в стороне от площади (и правильно!), банален. Неслучайно торговцы частного сектора с товаром своего подворья стоят не на рынке, а вдоль проезжей части, на тротуаре. Их совсем немного, и товары их мне более интересны: картошка, молоко, сметана, творог, огурцы, грибы и ягоды (сушеные, моченые или свежие — по сезону), мед всех сортов, а главное — рыба. Я не сразу оценила галичскую рыбу: мерилom благосостояния у туляков советского периода считалась московская колбаса, и к рыбе мы равнодушны. Уж лучше потратиться на что-то мясное — воистину съестное, — чем на какую-то рыбу, которая по стоимости почти как мясо, да не мясо! Костромичи рыбу любят. Да и как ее не любить в краю озер и рек? И хотя сейчас колбаса произрастает не только в Москве, а и на местных мясокомбинатах (и в Костроме, и в Буге, и в Галиче, но самый знаменитый — Шуваловский) — поди зарплат-то местных на нее не хватает.

Галичское озеро — главное украшение этих мест. Водная мощь всегда впечатляет, даже если она окаймлена обозримой сушей. А Галичское озеро необозримо — 17 километров — и поистине величаво. Мне не приходилось видеть его спокойным и приветливым, в межсезонную стужу оно просто пугало.

Еще недавно рыбу из Галичского озера можно было купить в местном магазине в любой день. Теперь в магазине ее нет: не поставляют местный рыбхоз. Но если повезет сюда приехать в субботу или воскресенье — спешите к полудню на площадь и обязательно купите. Продает ее женщина средних лет, иногда наспех собравшись на рынок после рыбалки. На ней — водонепроницаемый комбинезон с сапогами, прикрытый сверху цветастым фартуком. Когда местные женщины журят ее за внешний вид, она говорит просто: «Я только с озера, что же мне, в озеро в юбке лезти?». У нее есть и свежая рыба, и холодного, и горячего копчения. Она называет ее, но я не могу запомнить, беру привычно востроносую щучку и леща, да еще целый пакет дешевых мелких окуньков, которых моя рыбачка Соня (так я ее про себя называю) протяжно и нежно называет «окушки-и-и». Эту ершистую мелочь на первый взгляд не то что чистить замучаешься, но и есть не захочешь, но у меня есть свой резон. Чистить действительно мука, а без головы и внутренностей — почти ничего не остается. Но если пропустить через мясорубку, первый раз — по три-четыре штучки (каждый раз разбирая мясорубку и снимая с винта хребты), а второй раз — всю массу

сразу — все! Вы вознаграждены! Добавляете булки, яиц, лука — и вкуснее котлеток не бывает!

Когда мы жили очень голодно, в общежитии сосед промышлял рыбалкой (он тоже диссертацию писал, а дети есть просили). Жена подешевле продавала крупную рыбу, а мелочь отдавала мне «за спасибо». Когда я начинаю возню с рыбьей мелочью, дети иногда говорят: «Ностальгия по временам?». Сосед-то, кстати, не только кандидатскую, но и докторскую защитил...

Я преподаю всего девять лет — читаю лекции. У меня шесть курсов: философия, социология, эстетика, русская философия, культура поведения (этика), эстетика архитектуры и дизайна. И каждый курс — авторский. И я всегда ими недовольна. Шеф говорил: если преподаватель успокаивается на достигнутом, он перестает быть преподавателем. И еще: если перед каждой лекцией тебя не бьет озноб, ты кончаешься как преподаватель. Я с моим стажем — начинающая. Представляете, как каждый раз я волнуюсь? У нас отпуска по два месяца и один методический день в неделю для разработки и подготовки занятий. Много времени, казалось бы, но все съедает учебный процесс — на науку ничего не остается. А науку для нас тоже никто не отменял. Как хочешь, так и успевай — спросят за все.

В лихие девяностые многие преподаватели нашей сельхозакадемии в прямом смысле плотно перешли на натуральное хозяйство — еще и это успевали. Даже анекдоты ходили, например: читает Марь Ванна лекцию, а сама в окно смотрит. Как там коза Машка? Не отвязалась ли? А отвязалась — бежит Марь Ванна за козую, забыв про лекции, или двоечника какого посылает.

Расположение академии такому ходу дел способствует: мы — за городом. Здесь у нас свой поселок — академгородок. Понятно, не как в Новосибирске, а в соответствии с профилем — сельское поселение. Общежития, дома, лужки, полянки, аллейки, огороды и дачи. Всё рядом, и все рядом — и живем, и работаем, и отдыхаем. Вся жизнь — на виду, как в аквариуме.

Мои курсы не сильно меняются год от года, разве что социология. А вот преподаватели экономических дисциплин едва успевают обновлять свои лекции. Многие подрабатывают «на производстве», не только ради дополнительного заработка, но и чтобы знать проблемы современного рынка. Самыми «неграми» среди нас являются преподаватели факультета агробизнеса, которые во время наших отпусков пропадают со студентами на опытном поле. А после учебной практики спешат на собственные участки...

Я иду на занятия от вокзала по черной, блестящей, как антрацит, жирной галичской грязи мимо дощатых домиков и дощатого военкомата. Меня тут ждут. И это тем радостнее, что меня мало где и мало кто ждет... В академии таких, как я, — полным-полно, а в Галичском аграрном техникуме, где расположился наш заочный филиал, я — величина. «Это к нам, из Костромской сельхозакадемии», — услышала я уважительное в свой адрес еще в автобусе.

Бросаю сумки в преподавательской у нашей улыбчивой заведующей, одергиваю костюм, оправляю воротничок и иду учить жизни. Жизни, в которой сама давным-давно ничего не смыслю...

По области у нас два филиала — в Буге и Галиче. На базе Буйского техникума высшее образование получают строители и бухгалтеры. А здесь, в Галиче, — экономисты, а значит, почти одни девушки.

Костромички — скуластые, двух типов: бледненькие, угловатые, с крупными или, наоборот, чересчур меленькими чертами у русоволосых или яркие, с узкими глазами, — у брюнеток. К бабке ходить не надо, чтобы угадать, проходил здесь Май или нет: на лицах написано...

Специфическую костромскую красоту я вспоминаю, глядя на своих студенток в Галиче. Красавицы на Костромщине — галичанки: большеглазые, светло-русые (как сейчас говорят, «натуральные блондинки»), с налитыми щеками-яблочками в ямочках, с литыми, крепкими фигурками — полногрудыми, кругобедрыми, с осиной талией. Они сидят передо мной, созная свою пригожесть, с прыгающими бесенятами в глазах, а я с грустью думаю: где же вы, девоньки мои, женихов себе достойных

найдете? Девоньки мои убеждены, что в Галиче и ловить, и делать нечего. «Одно пьянство да скука», — сетуют.

Мужчины костромские — яркие и привлекательные на первый взгляд. Но это только на первый. Прохладная костромская рассудительность и неторопливость составляет невидимые барьеры при подступах — костромской мужик разборчив и привередлив, пребывая в меньшинстве по отношению к прекрасному полу. Как неторопливая окающая (строго по правописанию) речь замедляет их беседы на долгий срок, так и их мировосприятие плавно и величаво, и размеренность жизни до раздражения неспешна — Эстония отдыхает!

Контингент заочников сильно помолодел. В первые годы учились люди немолодые, руководящие кадры; состоявшейся карьере и бесценным практическим навыкам могли бы позавидовать и наши преподаватели; не хватало только диплома. Не первой молодости дамы, обремененные должностными и семейными обязанностями, в сессиях видели редкую возможность забыться от проблем. Однако, вырвавшись ненадолго, они не «отрывались по полной программе», жили дружно, весело, общаясь с людьми похожего образа жизни и сходной судьбы искренне и опрятно. Костромские преподаватели не виделись им залетными Жар-птицами, здесь диалог велся на равных — и это казалось естественным и позволительным для их практического профессионализма и житейского опыта. Правда, в вопросах дисциплинарных они сами устанавливали необходимую дистанцию. Их неподдельный интерес к изучаемым предметам, жажда усвоения нового были столь велики, что не позволяли сомневаться: выбор в пользу высшего образования сделан осознанно.

Теперь — не то. Сегодня сразу после техникума выпускники подаются к нам за высшим. «А чем еще тут заняться? — говорят они, работая абы как и абы кем, а то и вообще не работая: в маленьком городке нет выбора. — Диплом получим и уедем куда-нибудь, в Кострому или Москву». Ждут их там...

В Буге и Галиче наши студенты получают высшее по сокращенному сроку обучения и учатся платно. Оплата небольшая по сравнению с московскими филиалами, но огромная по отношению к местным заработкам. Учить одного студента родственники чаще всего берутся вскладчину, и самой большой надеждой для семьи, учащей студента «в город», являются бабушка или дедушка, пенсию которых ему и спонсируют. Старики еще ой как могут помочь, и вы даже представить себе там, в своих столицах, не можете, чем. Например, они могут *экономить на дровах, потому что две зимы подряд были теплые*. Вы кожей прочувствуйте такую формулировку... *Экономить, чтобы одеть внука после армии (потому что он и до армии был одет, как бомж)*.

Бабушки и дедушки, повывавшие еще дармовую работу в колхозах на трудодни (уж если не сами так трудились, то их родители), как показал исторический российский опыт, могут обходиться и без «пензий», копошась на огородном подспорье, столуясь в семьях детей, справляя посильную домашнюю работенку, впрочем, сильно не утруждаясь. Стариков берегут и жалеют, вероятно, еще и потому, что перестроечное время сблизило в горестях поколение отцов и детей и убедило, что выживать в одиночку — труднее. «Нет старика — купил бы, есть старик — убил бы» — такая вот еще есть истина. Но терпят, терпят в семьях все — лишь бы жил старик-то, и «пензия» была.

На некоторых специальностях обучение только платное, на некоторых есть бесплатные места. Даже на престижном экфаке ежегодно есть десять бесплатных (бюджетных) мест, но конкурс велик. Правда, контингент поступающих — слаб, и у умных есть реальные возможности получить престижное бесплатное высшее. Но умные учатся на очном сразу после школы. Каково же это — выучить студента-очника, который ведь не дважды в год едет на сессию, а постоянно проживает вдали от дома? Я вообще не представляю, как это возможно одинокой маме из какого-нибудь Пыщуга, Павина или Вохмы, работающей, к примеру, библиотекарем, учительницей или воспитательницей детского сада. Как выучить студента из тех же или чуть ближних мест семье сельских тружеников, где папа — тракторист, а мама, положим, — наша бывшая выпускница агрофака? Зарплаты задерживают, а они — столь мизерные, что в пору студенту самому заботиться уж если не о родителях, то хотя бы о себе.

Очень многие студенты работают. Деревенские — чтобы выжить, городские — чтобы не зависеть от родителей и жить «красивой жизнью». Те и эти, стремясь к самостоятельности и вырвавшись из-под родительской опеки, не всегда справляются с искусствами и соблазнами взрослой жизни и нередко, по причине неуспеваемости, покидают академию.

Если двадцать — тридцать лет назад было мало студентов из самой Костромы, в основном — из области; то теперь много городских, особенно на экфаке, ветфаке, архитектурно-строительном факультете... На селе они работать не будут, да они и понятия не имеют, что такое село. На вопрос, чем собираются заниматься после академии, разнаряженные ветеринарши говорят: «Кошечек и собачек лечить будем!». Первые выпускники ветфака устроились очень хорошо: культ животных у городских жителей высок: сам умру, а на питомца денег не пожалею...

Моя молодежь инертно, заплетающимися ногами, бредет в аудиторию, усаживается, и первую пару с усилием и старательностью тарашится на меня. Мой энтузиазм не знает границ, и я все-таки хотя и не сразу, но добиваюсь, чтобы они хотя бы что-нибудь записывали; но чтобы они писали, надо диктовать, а если диктовать — то я просто не успею изложить весь материал. А материал такой интересный и соблазнительный (пальчики оближешь!), который я несу им в горстях, боясь расплескать, читаю взмахом и с блеском глаз, и с пеной у рта... Но им мои лекции не кажутся, вероятно, интересными и соблазнительными, и они просто с удивлением смотрят на меня, как на артистку из погорелого театра, выделяя не артистку, а погорелый театр как синоним наших нынешних философских наук... Чеховский герой из «Скучной истории» кажется мне счастливым — интерес его студентов к предмету был обусловлен еще и тем, что у студентов под рукой не было ни «мобил», ни «компов», ни «асек»...

Курс у меня плотный, сжатый, я обязана выдать его за три дня, по четыре пары в день, и меня всегда потрясает, как мои студенты умудряются, ничегошеньки не делая, устать больше меня? Однако, пропрыгав три дня перед ними, я понимаю, что тоже устала. Мне кажется, я чего-то им недодала, что курс прочитан отвратительно; все это меня сильно напрягает, и от меня не укрывается вздох облегчения, что наконец-то все закончилось. Но есть, есть и редкие вздохи сожаления перед расставанием.

У меня — консультация перед экзаменом, и мне задают вопросы, к предмету не относящиеся. Как сделать карьеру, почему такие мужчины безответственные и замуж выйти не за кого, куда можно уехать из этой глуши, почему дети болеют и идут в садик с ревом. Меня спрашивают, чьи стихи я читала, когда говорила о грехе суицида (в контексте стоической философии как науки умирать), и я вынуждена сказать, что свои... Да, но книги нет, и подарить не могу; и купить нельзя, конечно, если ее нет. Сама с удовольствием купила бы такую книгу... Они задают много вопросов, и я отмечаю, что слушали все-таки, раз смотрят на меня с таким... мне хочется сказать «с восхищением», но это как-то неловко по отношению к себе.

С детства цепко держит меня иной комплекс: страх перед наглостью и хамством, и поклонение перед людьми большими в своей истинной простоте и талантливости... Таким простым и талантливым был для меня мой научный руководитель — доктор философии, профессор Леонид Борисович Шульц, который в смутные времена не только создал в Костроме свою философскую школу (чем может похвалиться далеко не каждый московский профессор), но и пел в вокально-оперной студии, виртуозно владел фортепиано, писал стихи...

Да и только ли он? Я не могу теперь вспомнить даже фамилии той молодой учительницы — девочки из Тульского пединститута, так не похожей на учительницу, организовавшей в только что открывшейся Богучаровской средней школе для собранных из всех окрестных деревень детишек танцевальный кружок (слова «хореография» я тогда не знала, но, как и многие девочки моего поколения, впервые увидев черно-белый телевизор, мечтала быть балериной). И была эта Юлия — как чудо, как диво для нас всех, и покоряла она именно простотой, способной обнадеежить каждого, что и мы скоро будем танцевать так же великолепно, как она. После занятий танцами ребята быстро разбежались и разъезжались, из моего Севрюкова

я была одна, и, хотя стояла деревня на симферопольской трассе, бойкой весьма и весьма, транспорта к нам никакого не ходило, а ездить попутками мы боялись. И ходить одна я боялась тоже, и все оттягивала свой уход, желая к тому же подольше побыть с удивительной Юлией. А потом бежала, онемев от страха, в ранних сумерках, рассекаемых фарами мчащихся машин, и шарахаясь от пронзительных сигналов... Встречный же человек казался чуть ли не разбойником, хотелось перебежать на противоположную сторону, но транспорт на обеих полосах мчался сплошняком, и сердчишко обмирало в груди.

Мать пригрозила, что пойдет в школу и скажет сама этой Юле, чтобы не задерживала ребенка. А она меня не задерживала. Она просто три часа должна была ждать свой автобус в Тулу...

*г. Буй — п. Каравеево  
Костромская область*

## Настоящий Чехов

Антон Павлович Чехов прожил короткую — всего 44 года, — но чрезвычайно насыщенную жизнь. Насыщенную прежде всего творчески, — но и путешествиями, впечатлениями, дружбами, женщинами, беззаветно в него влюблявшимися. Любовь — тоже.

У Чехова — четыре музея: в Таганроге, где он родился; в Москве, где развился в полную силу его талант; в подмосковной усадьбе Мелихово, где он высаживал свой сад, собирал родных, писал свои пьесы, и, наконец, — в Ялте (знаменитая белая дача в Аутке — музей, первым директором которого была сестра Чехова Мария Павловна). Все эти музеи дают возможность увидеть реалии жизни Чехова, и это замечательно.

Но Чехов вырывается за рамки музейной экспозиции — прямо и непосредственно в жизнь творчества.

Чехов так и не написал «большой книги», — у него было точное ощущение «своего формата» и своих негероических героев. Героев безгеройного времени.

Он изобрел новый театр, театр нового века, театр абсурда. Этот Чехов — поэт, каким он никогда не позволял себе быть в прозе. Влияние его безмерно, и, сколько существует театр, будут ставить Чехова. Он вышел в мир. Но и триумф, и провал его пьес все равно прошли под знаком непонимания.

Неслучайно Треплева играл Мейерхольд. Чехов дал миру пьесы, где начинались (и определились) и Мейерхольд, и Станиславский. Чеховский спор о новых формах («Чайка») оказался самым главным и для нашего времени.

Читая письма и записные книжки Чехова, мы ищем ответы на загадки чеховского антибиографизма.

Так где же и в чем — настоящий Чехов?

Об этом в «Знамени» размышляют театральные режиссеры, писатели, литературоведы, кинокритики.

Разговор будет продолжен и в следующих номерах нашего журнала.

Наталья Иванова

### Кама Гинкас

Я всегда любил А.П., хотя путь к его пониманию был довольно долог. Папа, интеллигентный еврейский человек, считал необходимым приучать детей к высокой литературе. Дача, лето, жара. Папа усаживает нас на траву (мне двенадцать, брату восемь, сестре три) и читает юмористические рассказы Чехова. Читает плохо. Иногда прерывает чтение, чтобы объяснить нам, где и почему смешно. Читает по-русски, объясняет по-литовски...

На втором курсе, учась режиссуре у Товстоногова, берусь написать экспозицию по «Вишневому саду» («Иванов» ведь традиционная пьеса, «Чайка» — мало авангардная, «Дядя Ваня» — скучная, «Три сестры» — ставит в своем театре Товстоногов). Работаю усердно и долго. Получается нечто метафорическое, что-то про кузнечиков в банке, которые все подпрыгивают вверх, очень стараются, но, недопрыгнув, валятся вниз... Написанное вызывает у Товстоногова нескончаемые веселые сарказмы. Сидя у учителя на репетициях «Трех сестер», я поразился тому, что самое главное (то, что так интересно зрителю!) автором нагло пропущено.

Действительно: когда и как Вершинин влюбился в Машу? Как и когда произошла их первая любовная встреча? Наконец, скажите пожалуйста: где супервыразительная (театр любит *такое!*), где сцена ревности полубезумной жены Вершинина? Ее нет. Все происходит между актами. На сцене играют только следствия этих важнейших событий.

Я вдруг открыл для себя, что чеховскими персонажами движут не события, происшедшие только что и здесь, как в традиционных пьесах, а события, находящиеся далеко за пределами пьесы и, возможно, случившиеся давно. Я догадался, зачем Чехову: «Тарабумбия, сижу на тумбе я», в какие моменты вдруг возникает чеховское «Он ахнуть не успел, как на него медведь наел». С удивлением отметил, что во время того, как крутился волчок, издавая ровный, долгий, низкий звук, у меня ни с того ни с сего мурашки по коже. Ничего же не случилось! Никто никого не убил. Никто никого не застал с любовником. Никто не сообщил о начале войны. Гости просто смотрят на очередной подарок. А он вертится и гудит. Непонятно! И еще раз те же мурашки побежали по телу, когда гости замерли в ожидании, пока старинный фотоаппарат закончит свое довольно долгое шипение, и все будут сфотографированы. Ничего же не происходит?! Все стоят, никто даже не шевелится! Я вдруг понял (ощутил!) — в эти секунды, пока шипит фотоаппарат, происходит главное: уходят секунды моей жизни. Я просто слышу, как они уходят. Гениальная режиссура. То есть я хочу сказать: Чехов — гениальный режиссер. А далее я понял, что как ни сложна пьеса «Три сестры», как ни сложны шекспировские пьесы («Гамлета» я тоже пытался поставить на втором курсе) — самая трудная, самая авангардная и до сих пор мало разгаданная пьеса — «Вишневый сад».

Авангардность Чехова (кроме всего!), в том, как он строит пьесы. Мы до сих пор только пытаемся что-то понять, и, кажется, теоретически я знаю, но практически не берусь это делать. Вот почему лично я ставлю рассказы и не ставлю пьесы Чехова. И удивляюсь, честно говоря, тем, которые берутся это делать. Особенно — «Вишневый сад»! Иногда кому-то кое-что удается, потому что есть талантливые люди. Все-таки с «Вишневым садом» какая-то ужасающая несуразность. Если, скажем, в «Иванове» или в «Гамлете» есть хороший артист Иванов или Гамлет, то, как бы там ни поставили, все равно история случается, потому что это пьесы про Иванова и про Гамлета. Но если в «Трех сестрах» даже все три сестры — замечательно играют — ничего не получается, потому что дело совсем не в трех сестрах. А в «Вишневом саде» будь самая разгениальная Раневская, или самый гениальный Лопухин, или кто хотите — спектакль все равно не складывается! Не складывается, потому что дело не в главном герое. Вернее, потому что главный герой этой пьесы — вишневый сад. Но что такое вишневый сад? Как это поставить? Сад же, извините, не действует!

Обычно моторами пьес являются либо деньги, либо ревность, либо страсть, либо жажда власти, либо предательство. В «Вишневом саде» ни один из этих мотивов не двигает пьесу. Деньги? Вообще их можно достать, но ими почти никто не занимается. Страсть? Она существует в водевильном ключе. Варя хочет Лопухина, но бьет его метлой; Епиходов ревнует Дуняшу и поэтому брэнчит на гитаре: «Что мне до шумного бала»; все персонажи сплошные фрики или, как называет их Фирс, «недотепы». Главный трагический персонаж — Епиходов. У него постоянно скрипят ботинки, и он не знает, жить ли ему, собственно говоря, или умереть, во всяком случае, он постоянно носит с собой револьвер. Раневская, кажется, кого-то любила в Париже и этот кто-то ее там бросил, но мы про это почти ничего не знаем. Три акта подряд она рвет по письму, пришедшему отсюда, в четвертом — едет туда. Лопухин все рвется помочь Раневской с выкупом сада, но неожиданно для себя его приобретает. Что-то все смахивает на водевиль. Но почему-то не очень смешно. И длинно... И еще: в «Вишневом саде», как обычно у Чехова, в первом акте приезжают, а в четвертом — уезжают. Такое ощущение, что приезжают для того, чтобы уехать. В большинстве пьес этого странного автора часто встречаются слова: «все равно» или слово «пустяки» или слово «чепуха». В «Трех сестрах» это «чепуха» выступает оборотом — «реникса». Звучит угрожающе. Какое-то заклинание, черт подери. И действительно, все здесь кажется «реникса» — «одним бароном больше, одним меньше».

В «Вишневом саде», по существу, нет сцен (в привычном понимании). Обычно в пьесах конфликтуют два или несколько персонажей. Конфликт взрывает сцену или постепенно он исчерпывается. Тогда начинается сцена последующая. Нередко все начинается, или же действие резко поворачивается с «приносом» события. Отсюда вестники, случайно найденные письма, платки и браслеты. Ничего этого нет в чеховских пьесах. Даже мелодраматическая сцена: дядя Ваня вдруг видит обнимающихся Астрова и Елену, заканчивается ничем — Астров: «А тебе вот» (делает нос).

В этой же последней треклятой чеховской пьесе почти нет еще и прямых диалогов: я сказал тебе, а ты ответил мне, как обычно. Хотя слов очень много. Нет прямого взаимодействия. Любое обращение утыкается в пустоту. Я говорю тебе, а ты говоришь ему. Он же обращается к ней, которая говорит кому-то, находящемуся то ли за кулисами, то ли в Париже, то ли там, где, возможно, решается или уже решилась наша судьба. Это как игра в бильярд: ударяешь в один шар, он ударяет в другой или в целых два, которые бьют по последующим, а в лузу попадает какой-то совсем сбоек находящийся шар. Все позывы, все действия персонажей устремлены не друг к другу, а к этой «лузе». И в «Вишневом саде» «луза» эта — звук. Помните тот звук лопнувшей, как бы натянутой между небом и землей струны. Этот звук — собственно, и есть смысл и содержание пьесы.

Здесь, в «Вишневом саде», нет вестников. Хотя, впрочем, есть весть, которую со страхом, не расшифровывая, называя ее по-разному («Сад продан, сад продан»), ждут все. И дожидаются. Слышен стук топора. Фирс сидит неподвижно.

Я всегда боялся ставить эту последнюю, гениальную и почти не удающуюся чеховскую пьеску. Но делал многое, чтобы приблизиться к ней. Ставил «Насмешливое мое счастье», малюгинскую пьесу, составленную из чеховских писем к разным лицам и их ответов. И ставил ее, как чеховскую пьесу. Дело в том, что диалог в письмах — это не живой, непосредственный диалог. Он опосредованный. Как бы через какое-то препятствие, как бы рикошетом. На мое резкое письмо вы можете написать не прямо мне, а кому-то третьему, негодую и матерясь. А этот третий отпишет еще кому-то, отражая свою реакцию. Возникает какое-то броуновское движение или, как я это для себя назвал, — бильярд. К тому же взаимоотношения персонажей в спектакле, основанном на письмах, не предполагают физических соприкосновений. Персонаж может писать «страстно целую», но не может сделать это буквально. Это приближало меня к чеховской конструкции пьес, к его манере. Вместо «Я люблю тебя» или «Встретимся за углом» — знаменитая «Та-ра-рам» из «Трех сестер».

...Это было лет тридцать пять назад. Я составил некую композицию из маленьких рассказиков Чехонте, к ним прилепил «Даму с собачкой» («Черного монаха» тогда еще не было в этой композиции) и «Скрипку Ротшильда». Назвал все это «Жизнь прекрасна. По Чехову». Жизнь ведь действительно прекрасна, но... но по Чехову. Я хотел показать, как мотивы, сюжеты и как юмор Чехонте перекочевывают, почти не видоизменяясь, в совсем другие, «взрослые» рассказы Чехова, в рассказы, которые мы называем трагическими. А еще я хотел проявить то, что мне кажется самой главной чеховской темой, то, что его делает всемирно интересным, независимо от традиции, менталитета, культуры и всего остального, то, что делает его понятным всем: и корейцам, у которых мы гастролировали с «Черным монахом», и американцам, которым месяц играли «Скрипку Ротшильда», и нашим северным соседям финнам... Все (или почти все) творчество Чехова — про «человека, который хотел». Сорин — «человек, который хотел». И я, и вы «...и финн, и ныне дикий... друг степей» обязательно чего-то хотим от жизни. Когда рождаемся, мы так талантливы, так интересны! У нас бесконечные возможности. Говорят: «Это такой талантливый ребенок, красавец, умница, как он сказал «мама» — просто удивительно, а когда он скажет «папа», то это будет гениально. Потом, когда вырастет, он обязательно будет и самый сильный, и самый красивый, и самый умный! А как он послужит отечеству! А как обществу!...». Но почему-то все происходит несколько иначе: ребенок перестает быть интересным, талантливым, умным. Он перестает открывать себя, мир, перестает удивляться, перестает чего-то добиваться, очень быстро смиряется с обстоя-

тельствами, становится в ряд, превращается в общее место. По существу, он не живет. Он удивительно рано начинает умирать. Чехов, который, как известно, довольно долго болел и знал как врач, чем все кончится, с моей точки зрения, не боялся смерти. Во всяком случае, он не писал про страх смерти. Чехов писал про долгое-долгое *ожидание* ее.

Дядя Ваня говорит: «Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их?». Его попытка *полюбить* Елену была его последней попыткой *жить*. С отъездом Елены сорвалась и эта попытка. Теперь надо ждать (тринадцать лет, долго!), того, что неминуемо, — смерти. И это страшно. Что остается? Что? Только «небо в алмазах» — какой жуткий сарказм! Нечто похожее есть и в «Даме с собачкой». Последняя фраза рассказа: «И им обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается». Трудно присутствовать при омертвлении любви.

Мне хотелось показать, как Чехонте превращается в Чехова, как легкомысленное отношение к жизни и к проблемам демонстрирует свою безжалостную изнанку, как дурацкие проблемы становятся трагическими и абсолютно непреодолимыми. Жизнь, которая поначалу выглядит, как легкий, безответственный курортный роман, пройдя через всевозможные препятствия, «сплошные огорошивания», как говорил Александр — старший брат Чехова, через неудачные браки, болезни, через всякие глупости и несправедливости — выглядит удручающе «убыточной». «Жизнь — убыточна, а смерть прибыльна». Одна из ужасающих шуток Антона Павловича, мило поглядывающего на нас сквозь пенсне.

Чехов не верил ни в Бога, ни в черта, ни в светлое будущее. Так случилось. «— Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. — А бессмертие? — Э, полноте!». Это из «Палаты № 6». Страшный, трезвый взгляд на себя и окружающее сжирал его. Может, это и была его главная болезнь. «Человек должен быть верующим или искать веры. Иначе его жизнь пуста...». В этих словах Маши мне слышится страшное, почти кричащее, признание самого А.П. Чехова.

### Максим Осипов

Чехов писал по-русски так умно, как никто ни до него, ни после. В отличие от большинства своих великих предшественников и современников Чехов никогда не переступал черту хорошего вкуса, даже не приближался к ней.

Чехов сообщил нам, что интеллигенция бывает очень мелкой и очень пошлой, но что она — соль земли. И чем образованнее и культурнее человек, чем он тоньше чувствует искусство, тем он в общем-то умнее, добрее и свободнее.

Опять-таки в отличие от великих предшественников Чехов не питал иллюзий в отношении так называемого народа. Пустоту народной жизни он называл пустотой и не искал в ней дна. Чехову, кстати, не нравилось противопоставлять интеллигенцию народу. «Интеллигенция — обыватели» — вот настоящее чеховское противопоставление. Но среди чеховских людей «из народа» есть подлинные святые: вспомним Липу из повести «В овраге».

Чехов никого не судит, даже себя. В этом — очень существенная для меня черта Чехова-христианина. О религиозности Чехова мы знаем мало. В записных книжках он пишет, что между верой и безверием есть множество промежуточных состояний. В одном из таких состояний Чехов, видимо, пребывал. Церковную службу, кстати, Чехов знал лучше, чем кто бы то ни было из писателей, но так вышло не совсем по его воле.

Чехов был единственным большим русским писателем, у которого помимо литературы была еще одна настоящая профессия. Мне как врачу очень дорого следующее признание Чехова: «Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих на-

блюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с медицинскими науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе...». Это из письма Чехова Россолимо.

Чехов по-врачебному внимателен, чистоплотен безо всякой брезгливости к описываемым явлениям и людям. Притом он лишен неврастении, чеховская наблюдательность иного свойства — она не мешает ему различать главное и неглавное, высокое и низкое. О небрезгливости Чехова, кстати, говорит и такой факт: судебных следователей в его рассказах и повестях насчитывается не меньше десятка — и каждый раз в совершенно человеческом облики, у кого еще из русских писателей такое найдешь?

Сложилось представление, что врачом Чехов был заурядным, но о Чехове-враче мы знаем только по его собственным отзывам. Думаю, дело тут в его скромности. Если бы мы судили о том, какой Чехов писатель с его собственных слов, то результат был бы тем же. Низкая самооценка Чехова не должна нас обманывать. Кроме того, представления о медицине тогда и теперь очень различаются. Ритуальная сторона медицины играла в чеховские времена куда большую роль. Возможностей помочь было мало, но, думаю, Чехов их использовал с присущей ему добросовестностью.

Чехов не оставил нам врачебных историй наподобие булгаковских. Не потому, вероятно, что их в его жизни не было, а потому, что, записывая эти истории, нельзя избежать ложного положения: «Ах, какой хороший человек писал!». Вот Чехов и не писал о себе-враче. Разумеется, в том, что автор — человек хороший, нет ничего дурного. Однако от автора мы ждем, чтобы прежде всего он был живым. «Даму с собачкой» и «Три года» писал живой человек.

Жизнь Чехова кажется очень тусклой, многие письма его написаны как через вату. Тому есть медицинское объяснение: Чехов очень плохо себя чувствовал всю вторую половину своей жизни, от юности и до смерти. Говорят: Чехов предстает нам застегнутым на все пуговицы, Чехов-человек от нас ускользает. Но если подумать о том, что с двадцати с небольшим лет Чехов страдает кровохарканьем, что у него почти всегда тяжелая анемия, что ему иногда и одеться тяжело, то ничего странного в том, что Чехову хочется застегнуться на все пуговицы, уже не будет.

У нас пока нет хорошей биографии Чехова — сочинение Дональда Рейфилда сейчас очень популярно, как всякая сплетня о великом человеке, но это не биография художника. Вот как передает Рейфилд содержание «Дуэли»: «Два главных героя повести являют собой две авторские ипостаси, вступающие между собой в конфликт на фоне равнодушной природы». И еще одно замечание по поводу жизни Чехова: в отличие от остальных великих русских писателей, он не пережил жизненного краха, во всяком случае, не сделал нас его свидетелями.

И последнее: в ответ на наши стенания я иногда слышу трезвый голос Чехова. Этот голос говорит вещи неожиданные в своей простоте, что-нибудь вроде: «А вы, молодые люди, водки меньше пейте».

### Елена Степанян

Известен тезис о «зеркальности» Чехова, о том, что он отображает читающих, то есть нас самих, отображает, по крайней мере, что-то, на чем мы (каждый из нас) сосредоточены. Это свойство искусства вообще, но к Чехову это относится в первую очередь, очевиднее и прямее, чем к кому бы то ни было. Нет необходимости обращаться к каким-то историко-литературным прецедентам, посмотрим, как пишут о Чехове сегодня: вот Дм. Быков начинает юбилейную статью о Чехове с замечания, что в чеховское время *все было смешно*, и Чехов у него — это тотальный юморист и почти мастер конференса. Вот Олеся Николаева говорит в статье «Мучитель наш

Чехов» о его холодном нравственном релятивизме. Вот А. Флакер, хорватский исследователь русского искусства, утверждает, что отсутствие проповедничества, «указующего перста, страстно поднятого», — определяющая и привлекательнейшая черта писателя. Но М. Дунаев последовательно выявляет у Чехова христианские мотивы, так сказать, на поверхности сюжета, а И. Есаулов обнаруживает формирующий слой христианской символики в глубинных слоях чеховской прозы. «Слово Чехова адогматично», как заметил современный исследователь, точнее сказать, оно зеркально и всеотражающе (недаром в одном из приступов мизантропии и скуки Н.Н. Пунин, таким приступам подверженный, восклицает в дневнике: опять этот скверный, нудный Чехов! Не Чехов тут отразился, а сам Пунин со своей мизантропией и депрессивностью).

А между тем не такое уж он наше зеркало, он показывает нам нередко и то, чем мы никак не располагаем; не наше, а свое добро. Например, Чехов не пропустит даже намек на доброе чувство, малейшего поползновения к хорошему, простого проявления деликатности, скромности, житейской порядочности, тонкости, красоты. (Недаром же в облике человека, скажем, занимающегося лесопосадками или скупающего земельные участки, он отмечает детали, совсем не идущие к делу, — «ты изящен, у тебя музыкальный голос», например). Разве это мы отражаемся в чеховском зеркале? В его мире возможно возрождение человека, в которое мы, как правило, не верим, о котором мы не помышляем, когда общаемся с личностью вроде Лаевского, так сказать, «в реале», в рамках нашей действительной повседневной жизни. Вспомним «Дуэль», «Скрипку Ротшильда» или «Жену», где герои воскресают (в «Скрипке Ротшильда» уже почти за пределами земной жизни). Для «агностика» Чехова, который был готов удивляться интеллигентской вере Д.С. Мережковского («бойкого богоносца», по выражению Чуковского), — так вот для «неверующего» Чехова актуальны были слова пророка о Христе, что Тот «льна курящегося не угасит». То есть, опять-таки, не так уж в отношении нас Чехов и «зеркален»: мы-то готовы угасить курящийся лен и не видеть в человеке ни грана доброго и хорошего.

Кстати о «курящемся лне», который писатель «не угасает». У Чехова нередко полнотой истины, умением правильно расставить смысловые акценты в предлагаемой ситуации, способностью отделять главное от неглавного наделены второстепенные, нет — трехстепенные персонажи, люди незначительные, простые, недалекие. В той же «Дуэли» комический добряк доктор Самойленко говорит томiaщемуся главному герою: «Избалованы вы очень, господа!.. Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную — ты отказываешься, а мне бы дал Бог хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и...»

Самойленко спохватился и сказал:

— И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила».

Вообще «Дуэль» дает много материала для читательских размышлений о вере и неверии Чехова, о его антроподицее и теодицее. Другой персонаж второго плана — дьякон принадлежит к тому же типу «малозначительных», обычных людей, что и Самойленко. Но ведь именно ему суждено вмешаться в ход событий и отменить дуэль, разорвать цепь зла. И именно ему принадлежит мысль о том, как на самом деле должны отнестись люди друг к другу: «За что он (фон Корен. — Е. С.) ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон... если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них!» (Курсив мой. — Е.С.) Или вот тоже одна из «малых сих» чеховского творчества, нянька Марина из «Дяди Вани». Все страдают от эгоизма и самодовольного паразитизма профессора Серебрякова, и только она одна из всех находит слова утешения для него самого: «Пойдем, я твои ножки больные согрею, Богу за тебя помолюсь, ты и уснешь...».

Чехов широк и доверен, но не холоден, вернее — не прохладен (в библейском смысле этого слова). У ряда авторов приходилось сталкиваться со ссылкой на

«Скучную историю» как самый безнадежный рассказ Чехова. Чехов смел и тверд перед лицом смерти своего героя, человека, увы, утратившего «общую идею». Но в то же время автор дает нам очень развернутое представление о его жизни, не только текущей (вернее, утекающей), но и о прошедшей. Мы узнаем, как она, эта жизнь, была полна и богата и любовью, и творчеством, и такими лишь по внешности малыми, а на деле важнейшими вещами, как, например, радость обеда всей семьей, вместе с детьми, с подающей блюда кухаркой Агашей, с «уменьем пьянеть от одной рюмки водки... с взаимными ласками», с ощущением радости и единения. Да, сегодня у умирающего старика этого нет, все это сменилось отчуждением. Но ведь это было, и никто уже не в силах это вычеркнуть из жизни уходящего из жизни человека. Так же, как в «Трех годах» рядом с неудавшейся жизнью Лаптева разворачивается полная труда, вдохновения, жажды жизни судьба Ярцева, этого, похоже, прообраза Юрия Живаго. Лаптев свою любовь потерял, Ярцев показан на пороге новой любви. Это совсем не значит, что из жизни исключаются боль и скорбь, нет, они предполагаются. Но как не повторить за Ярцевым слова, сказанные им даже не о будущем, а о настоящем: «Как богата русская жизнь, ах, как богата!». И Чехов это сознает и это показывает — не как зеркало, скорее как прозрачное стекло, не замутняющее картину Божьего мира, а позволяющее этот мир видеть в полноте. Отсюда — историзм Чехова. Его прозрачность и достоверность помогают оценить объективную картину дальнейшего развития русской истории, как она самому автору видится (и это наряду с таинственными, не понятными по сегодняшнему дню восторгам его героев по поводу будущего). Что такое повесть «Степь», как не повествование о детстве, становлении человека, встрече с природой? А вместе с тем — какая историческая пронизательность! Встречи Егорушки с людьми, случающиеся во время его путешествия, как будто эскизно очерчивают и современное бытие России (разорение помещиков, мощное становление русского капиталиста), и ее близкое будущее. Недаром читатель видит тут образы русского хулиганства и бунтующего еврейского сознания, пока еще не встретившихся друг с другом на пространстве степи, но уже готовых к встрече, готовых взорвать все вокруг себя. Или (пусть это частность, малость, но какая выразительная, говорящая!) места, упоминаемые в дивной повести о неудавшейся любви «Три года» — это Бутово, Алексеевский монастырь. То есть в недалеком для персонажей повести будущем они станут местами мучений, где расстреливали и взрывали. Недаром персонаж «Трех годов» Ярцев, видя купола Алексеевского монастыря, замечает: «Москва — это город, которому предстоит много страдать». Случайно ли это? Повесть кончается словами: «Поживем — увидим». Да, они проживут... и увидят. А может, герои Чехова, переживающие разрушение человеческих взаимосвязей, являются провозвестниками куда более масштабных страданий? И здесь скрыто свидетельство глубочайшего равнодушия, неиндифферентности писателя и к его персонажам, и к людской участи вообще? Объективность Чехова любовна и сострадательна.

Чехов адогматичен, то есть, как говорят многие, пишущие о нем, безыдеен. Нет, *он идеен. Его идея — это деталь*, занимающая у него ключевое место и нередко говорящая о несравненной красоте мира и о счастье жить и быть. Как могут люди быть несчастливы, если, например, есть сад, обрызганный росой и оттого кажущийся счастливым? Это — нелепость, это — от неумения жить. Видимо, прав был Толстой, замечавший о чеховских пьесах и их героях: помилуйте, да все так хорошо, гитара, сверчок, чего же лучше... Герои пьес томятся от вида падающего снега или поднявшегося в полет журавлиного клина, они не знают, зачем это, они должны постигнуть причину этих явлений. Милые, родные, да ведь причина — это вы сами, этот мир — для вас, а снег и журавли — явление красоты, знак качества сотворенной ради вас природы. Чехов заставляет если не своих персонажей, то по крайней мере нас, читателей, осознать это.

Дарья Маркова

## Синтез ядра

С одной стороны, календарные рубежи провоцируют на подведение итогов, с другой — похоже на то, что ни в 90-е, ни в нулевые не хватило остановок для ассимиляции опыта. Сейчас в разных видах современного искусства активно предпринимаются все новые попытки осознать и объяснить — *что это было?* Что происходило со страной и с людьми на протяжении XX столетия.

Судя по опубликованному хотя бы в 2009 году, история сейчас явно в центре кадра, но это вовсе не означает всеобщих стараний по выработке хотя бы некоего общего ядра представлений о давно- и недавно-минувшем. Произносит же Леонид Юзефович (<http://yarcen.ru/content/view/26462/179/>): «Некоторые вещи в нашем прошлом по возможности нужно заклясть молчанием», что несколько противоречит его же высказыванию о прошлом, которое необходимо «вобрать в себя и переварить».

Из-за непереваренного прошлого отрывки и изжога мучают старших, фантомная память — младших. Тех из них, кого это вообще волнует.

В «Дружбе народов» (2009, № 3) публиковалась подборка фрагментов сочинений белгородских школьников (5—7-е классы) на тему «Что я знаю о Советском Союзе и причинах исчезновения этого государства». Среди комментариев взрослых — замечание их учителя Елены Коняевой: «В 90-е годы девизом нашего педагогического труда был лозунг: “Школа вне политики”. Мы предвкушали: никаких политинформаций, занудных партийных месячников. В начале следующего десятилетия стало ясно: в российских школьниках нужно воспитывать гражданственность». О том же много раз писала Мариэтта Чудакова, которая потому и взялась за создание детских детективов. Речь не только о школьниках, но и о молодых людях, детством и краем взросления заставших СССР и 90-е: сколько раз Захар Прилепин ностальгировал по украденному советскому детству?

Поэтому в первую очередь здесь меня интересуют не метафоры исторического развития, не философские и исторические концепции «потерянной» или «приобретенной» России, но автобиографическая проза, часто — нон-фикшн. Книжки, созданные с внятно заявленной целью: осмыслить опыт самим и передать его младшим. Отдельное место занимает подростковая литература, где послание преподносится в виде детектива или фантастики.

Авторы книг, о которых пойдет речь, придерживаются разных воззрений, но все успели вырасти, а то и состариться, в СССР. В основном — довольно условно — это представители двух поколений: 1930—1940-х (Н. Трауберг, А. Чудаков, М. Чудакова, В. Личутин) и 1960-х годов рождения (А. Архангельский, А. Жвалевский, В. Кунгурцева). Первые детьми застали Великую Отечественную, повзрослели, но были еще молоды к «оттепели»; вторые — к перестройке. Максимальный разброс — между Натальей Трауберг (1928) и младшим соавтором Андрея Жвалевского Евгенией Пастернак (1972). Исключение всего одно — Олег Сивун (1983), представляющий другой взгляд на мир — из другого мира.

**От автора** | Родилась в Москве в 1978, окончила филологический факультет МГУ, к.ф.н. Публиковалась в «Знамени», «Иерусалимском журнале», «Историке и художнике». Ребенком жила в СССР, а с 1991 года — в России, осталось понять, куда и откуда состоялся переезд.

Ряд можно было бы бесконечно расширить, так как непосредственно о том же «Автопортрет» В. Войновича, «Перемена убеждений» Ю. Карякина, «Альбом для марок» А. Сергеева, «Счастливое детство» А. Бараша, «Подстрочник» Л. Лунгиной, «Сеульская Атлантида» Н. Коняева, «Записки реваншиста» Д. Каралиса, «Минувшее — навстречу» Ч. Гусейнова...

Дело за переходом количества в качество, за тем, чтобы разные эти истории были прочитаны, обдуманы и стали основой представлений о прошлом. Потому что пока если и формировалось ядро, то скорее пушечное, да еще разрывное. Бомба называется.

Первое, что можно попытаться сделать, — выстроить хронологию. Отнюдь не новую, это оставим Эдуарду Лимонову, активно популяризирующему труды Носовского и Фоменко. Его собственная «великая ревизия истории», сделанная для юных, столь же гротескна и нежизнеподобна.

Есть потребность в хронологии, обобщающей истории разных людей и семей.

Почти всегда взгляд назад выхватывает вещи — все мы, как кум Тыква, помним свои кирпичики. Потому еще один аспект разговора — предметный мир. Тем более что XX век действительно во многом изменил отношение к вещам: «Чем старое чинить — лучше новое купить». С одной стороны, психология беты-плюсовички, с другой — большая свобода от вещного.

Наконец, цель многих названных книг — послание, стремление передать свой опыт молодым. Далеко не все согласятся с тем, что это можно сделать только исповедально, другой испытанный (что не означает всегда работающий) инструмент, — дидактика, привычный и неизбежный элемент, а у кого-то фундамент произведений для детей и подростков.

### **ОСЫПЬ ИМПЕРИИ**

Воспоминания старших из тех, о ком речь, восходят к 1940-м, самое раннее — к 30-м годам. Т.е. в поле зрения — советское государство, объединенное после всех перетрясок своего первого 20-летия, новым, самым суровым испытанием — Второй мировой.

Великая Отечественная и Юрий Гагарин — две основные точки приложения центростремительных сил, первая — по-прежнему, что особенно хорошо видно по детской литературе. Заградительный миф продолжает действовать. Недаром Дмитрий Каралис в «Записках реваншиста», дневниках 2004—2005-х гг., уходит в тему блокадного Ленинграда, вероятно, в поисках той самой «мощной, доброй и справедливой ко всем своим гражданам» страны, возвращения которой он взыскует. Так как ее нет и не было, приходится удовлетворяться наиболее героическим моментом ее истории.

Тем интереснее видеть, каким образом собственно война, военная тема уходит из центра, как смещается интерес с 1960-х гг. на 50-е, с одной стороны, и на 70-е — с другой.

Александр Архангельский в романе-исследовании собственного года рождения «1962. Послание к Тимофею» констатирует: сверстники его родителей «свято верили, что Великая Отечественная война шла очень долго, закончилась совсем недавно, а новой войны быть не может». Сам он вписывает Вторую мировую в контекст последних десятилетий, в том числе — войн конца века, вычерчивая кривую, тянущуюся от Афгана к Прибалтике, Украине, Карабаху, Чечне, к путчу, ко всем российским 90-м годам.

В книге очерков Натальи Трауберг «Сама жизнь» война наравне с лагерем названа безоговорочным злом, не несущим в себе ничего хорошего. Из воспоминаний военного времени здесь можно найти сокрушенный рассказ о «лауреатнике» (доме киношников в эвакуации в Алма-Ате) и память об ужасе, собственном «состоянии сжавшегося зверька».

У Владимира Личутина в автобиографической повести «Сон золотой. Книга переживаний», основанной на письмах его отца к матери — военной вдове, на истории их любви и воспоминаниях писателя о детстве, сама война остается за кадром. Ее суть передана через довоенные и тыловые переживания, в первую очередь судьбу матери, молодой вдовы, поднимавшей в одиночку четверых детей: «акт страдания», растянутый «на многие годы, десятилетия, всю жизнь». Но этот акт страдания, как и сама война, представляется проверкой духовной высоты.

Таким образом с недавних пор Личутин оправдывает и «новоявленных мечтателей», в 1917 году задумавших «сделать людей счастливыми тут, на земле-матери, не дожидаясь грядущих райских кущей. Мечтание блаженных и наивных? — наверное; но оно обряжало сердце “простецов” не в железную кольчужку гордыни и честолюбия, но в серебряные ризы праведного служения народу». Прежде у Личутина 1917 и 1991-й годы уравнивались как эпизоды «тысячелетнего похода против русского народа», здесь он, с одной стороны, следует традиции новокрестьянских поэтов и писателей первой трети XX века — их раннему увлечению революцией, а с другой — в своем взглядывании в прошлое позволяет восторжествовать идиллии (а «Сон золотой» — именно она), противопоставленной нынешним «последним» временам.

В другой идиллии, романе Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», отношением к Великой Отечественной поверяется не духовная высота, а разница мировоззрений представителей двух старших поколений: деда, родившегося в конце 70-х годов XIX века, и его зятя — отца главного героя Антона Стремоухова, альтер эго автора.

Для деда уже не существует России, за которую он бы пошел умирать; отец записался добровольцем и отдал в фонд обороны все свои сбережения. Он разделяет власть и страну, вопрос о лагерях для него отодвигается войной, для деда — нет. Последний оправдывает и коллаборационистов из репрессированных, вновь резко сталкиваясь с отцом Антона. Романтическое мировосприятие надолго остается внуку, деду — спокойно-язвительные комментарии к «столбцам» «Правды».

Собственно, среди трех поколений Саввиных-Стремоуховых в самом печальном положении среднее — отец Антона. Дед спокоен и тверд, он целиком из дореволюционной России, внук влюблен в деда и довольно долго в советские мифы, приживающиеся на детской и отроческой романтической почве. Верность деду и привытым им вечным ценностям остается, как и привычка наблюдать, формулировать и размышлять, наносное уходит. В промежуточном положении оказывается отец, усвоивший двуязычие и искреннее двоемыслие. Трудно понять, где привычки, а где уже собственные убеждения: шкура прирастает, живешь в газовой камере — учишь дышать газом. Дышишь веселящим газом — смейся.

Вот уж действительно, страна счастливых стариков и детей.

Эту аналогию — страна, как газовая камера, где одни каким-то образом учатся дышать в отсутствие воздуха, другие умирают или сходят с ума, — использует Трауберг. В «1962» то же описано как жизнь под стеклянным непрозрачным колпаком: накрыли, продезинфицировали, воздух выкачали, веселящий газ закачали, для непонятливых — отдельный отсек.

Одним из таких отсеков выглядит в романе Чудакова городок Чебачинск, принятый глазами ребенка «райский уголок, курорт, казахская Швейцария». На «курорт» попали в конце 1930-х — в 1940-е годы ссыльные и эвакуированные, в результате Чебачинск стал точкой сбора: возникает детское ощущение, что едва ли не все исчезнувшие из нормальной жизни оказались здесь. Как говорится в романе, «четвертая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань».

Так как в центре этого мира дед и бабка (он из семьи потомственных священников, она из дворян), их дом, то на страницах книги воссоздается еще и предшествующий советскому миру уклад. Все советское время для деда одноцветно, обнадеживающие 50-е — только очередной оттенок, тогда как для повзрослевшего, выбравшегося в Москву Антона «все было новым, все начиналось, во все верилось». Со многими вместе герой ищет новый, неизвращенный, настоящий социализм, увлекается ранним марксизмом, Сен-Симоном, Фурье, чтобы потом полностью вернуться к убеждениям деда.

Прежний культ «шестидесятников» с их коллективизмом подтачивается сейчас с разных сторон, другой вопрос, что предлагают взамен. Трауберг — «пятидесятников», ненавидящих зло и неприемлющих любое насилие. Говоря о них, она выходит за пределы нашей «газовой камеры»: «Вообще мне кажется, весь мир пережил в 1950-е годы какую-то реформацию, поклонился детскости». Сейчас мир тоже кланяется детскости, но совсем другой: безответственной, ненасытной, жаждущей игр и увлечений, тогда как у Трауберг речь идет об утопии, мечте Г. Белля, Дж. Сэлинджера о «безгрешных изгоях» без фальши и черствости.

Сейчас у 1950-х больше шансов подняться в глазах молодых, во многом за счет фильма-мюзикла «Стиляги», вышедшего в 2008 году. Картину Валерия Тодоровского бесполезно рассматривать в числе тех, что создают представление об эпохе. Цель фильма — передать не атмосферу 1950-х годов, а дух противодействия, неслиянности, свободы, отсюда и сочетание костюмов и темы 50-х с переработанной в 2000-х годах музыкой начала 1980-х, часть из которой (группы «Браво», «Секрет») действительно обращена к субкультуре стиляг. Это музыкальная фантазия на тему любви и свободы, где использование конкретных исторических дат и известных песен — способ актуализации мысли.

Если бы речь у режиссера шла о прошлом, можно было бы сказать, что, по логике Трауберг, он выбрал почти идеальную форму для разговора. В ее книге не раз повторяется мысль о том, что «жизнь идет выше, не стезями жизнеподобия, потому о ней, а тем более о прошлом, лучше могли бы сказать стихи или музыка. Если уж проза, то нужна аллегория или притча, миракль или миф. Впрочем, опасность последнего, самого распространенного, средства она отлично показывает: миф мгновенно окостеневаает и превращается в муляж.

Тодоровский, собственно, и обращается к нежизнеподобным средствам повествования. Фильм-праздник поддерживает отношение к 50-м как к молодым и счастливым вопреки окружению, а главное, своим гимном свободе фиксирует ту же, что и «Сама жизнь», осыпь империи, приостановленную в 60-х, замороженную в 70-х, загремевшую во второй половине 80-х.

«Сама жизнь» и «1962» выстраивают цепочки, связывают яркие и слепые пятна прошлого, но говорят неизменно о личной ответственности каждого, о маленьких и больших людях, на личном выборе которых стоит история. Книга Трауберг проникнута честертоновской любовью к «common man», к «людям» и «поэтам» в противовес высокомерным «умникам».

«Вообще про каждого из нас нужно рассказывать точно так же, как было когда-то рассказано про главного из людей, про единственного Человека с большой буквы, про Господа нашего Иисуса Христа», — заявляет Архангельский. Потому возможна и прямая отсылка в названии к посланию апостола Павла.

О частном человеке, возделывающем свой сад в «стране дикой», пишет Чудаков.

У Личутина, напротив, разговор о частных людях неизменно сводится к изображению национального характера, лучше всего сказывающегося в годы испытаний. Недаром текст «Книги переживаний» перемежается вставками «Душа неизъясынная» — очерками о русском народе. Тем не менее «простец-человек» Личутина, цельный и духовно здоровый, — по сути, тот же честертоновский «common man». Да и три типа людей те же: люди, поэты-писатели и умники, хотя соотношение между ними несколько иное. Автор «Сна золотого» занимает позицию простеца, соблазненного в начале взрослого пути умничанием и в этот момент противопоставлявшего себя и своим родителям, и отцу народов. К Сталину, как пишет Личутин, он «надолго закаменел» как раз в «оттепель», а оттаял, так сказать, спустя годы, признав и советскую власть «неплохой», и Сталина — «гением великой России», отцом и заступником простого народа, выигравшим войну и сплотившим славян Европы.

С этой точки зрения, лучшим временем для России оказываются 1970-е годы. Эпоху застоя Личутин объявляет ренессансом: пожилы-таки при коммунизме. В дневниках, превращенных в роман «Год девяносто третий» («Сибирские огни», № 9, 10, 2008), эта точка зрения высказывалась не как своя собственная, а как то, «о чем толкует на-

род», там же Брежнев прямо назван одним из проходимцев-грабителей, наравне с Горбачевым, Ельциным и Гайдаром. В интервью последних лет («Правда Севера», 11.04.2006) происходит противоречивое слияние с «народной» версией: «До перестройки была эпоха равновесия, спокойя — самая чудесная эпоха. Почему ее проклинают? Потому что лучше, чем при Брежневе, Россия не жила во все века». Причем духовный застой, «партийное давление на психику» Личутин не отрицает, речь идет о производственном, экономическом расцвете (тоже весьма спорном), «бесконечном пире», который тут же характеризуется как пир во время или в ожидании чумы.

В одной из программ «Тем временем» поборниками 70-х выступали Станислав Куняев и Николай Бурляев. Они в этом смысле пошли еще дальше, объявив 1970-е и духовным ренессансом, оправдывая его расцветом творчества В. Астафьева, В. Шукшина, Ф. Абрамова, Н. Рубцова... Оспаривающие такой взгляд добавили бы много имен, но как Юрий Карякин в 1988-м писал о «единственном недостатке» Сталина и Жданова: «Они были палачи», — так и здесь: единственный недостаток — отсутствие воздуха, существование под спудом. Закваска, конечно, получается посылней, но на расцвет и возрождение это мало похоже.

Отсутствие подобной закваски — одно из отличий современной ситуации от застойной, по мнению Архангельского: сейчас — «думай не хочу. Но именно что не хочу». Тогда под спудом «назревала энергия раздраженного сопротивления — не только надоевшей власти, но и собственной перекосившейся судьбе. Энергия прорыва — куда угодно, лишь бы вырваться отсюда. Энергия наивной, подчас невежественной, незначитанной общественно-исторической мысли. Но — энергия. Теперь же мы видим даже не усталость и разочарованность. А полноприводное наплевательство. Опять же, не только на власть; это беда небольшая. Но и на собственную жизнь в истории. На собственное будущее. Причем не только отдаленное, но и ближайшее» (<http://arkhangelsky.livejournal.com/102948.html#cutid1>, 26.10.2009).

Энергия прорыва, сконцентрировавшаяся в «оттепели», в конце застоя, в перестройке и в августе 1991-го, изрядно поизносилась. Уже о начале 90-х Личутин писал: «Как бы ладно, думалось, если бы явился из небесных палестин Георгий Победоносец и поразил дьявольскую гидру своим копьем. Вставать за правду никому не хотелось». И это пишет сторонник теории заговора (что в «Годе девяносто третьем» заявлено яснее некуда).

Вся последовательно проводимая Архангельским политика культурного просвещения и рекрутирования — попытка создать противоядие, лекарство от наплевательства.

Библейское Послание к Тимофею — пастырское. Послание современного писателя, критика, телеведущего обращено не только к сыну, но и к самому себе. Для сына, правда, здесь много частных задач: узнай, проверь, ответь, — выливающих в приглашение так же раскрыть год собственного рождения, тоже богатый на завязки и развязки 1987-й. Архангельский-просветитель знает, когда подсказать, что уже пора лезть в словари, справочники или хотя бы вопрошать всезнающий Яндекс. Траурберг многое в своем повествовании оставляет на совести читателя: кто знает, кто может, кто хочет — поймет. Из простейших примеров: «Слава Богу, Оруэлл ошибся — год был ужасный, но на нем все и кончилось». Какой год — ясно. Чем ужасный? Узнай. Она не делает выводов, многое не поясняет: кому что нужно, тот сам так и поймет: «Примеры опускаю, их каждый вспомнит сам».

### **ПРЕДМЕТНЫЙ МИР**

Приветствием своему 1962 году Архангельский выбрал «Рождественский романс» Иосифа Бродского:

...как будто жизнь начнется снова,  
как будто будут хлеб и слава,  
удачный день и вдоволь хлеба,  
как будто жизнь качнется вправо,  
качнувшись влево.

Это конец 1961-го. Через десять лет, в 1971-м, написан «Натюрморт», в данном контексте он мог бы стать приветствием душевной эпохе 70-х:

Вещи и люди нас  
окружают. И те,  
и эти терзают глаз.  
Лучше жить в темноте.

В «вещных» категориях осмысляет историю России XX века, понятия революции и эволюции и Чудаков: «Основная проблема — быстрота смены вещного окружения человека, у которого все смелее отбирают вещи привычные и любимые, заменяя их новыми, которые надо осваивать. Раньше вилкой или тарелкой пользовались четыре поколения, а одноразовый пластиковый прибор находится в руках двадцать минут, после чего отправляется на свалку... Предполагается устроить предметный мир меняющимся во всех его элементах — как если б человек всю жизнь куда-то ехал, глядя в окно вагона».

Да-да, главное, не останавливаться, не дать себя поглотить какому-то занятию по-настоящему: «Все, что слишком поглощает, на самом деле не имеет никакой ценности», — откликается герой романа Олега Сивуна «Бренд».

Ни Чудакову, ни Сивуну вещи сами по себе глаз не терзают — по разным причинам. Эта разность меня и интересует, в противном случае здесь не стоило бы говорить о «Бренде».

Оба романа, Сивуна и Чудакова, подчеркнута детские, но только «Бренд» инфантилен, а в романе-идиллии речь о той же детскости, что и у Трауберг, о ребенке открытом, любопытном, не приемлющем любую фальшь, о неутомимом исследователе-экспериментаторе.

«Бренд» — поп-арт роман о плодах общества потребления, сформировавшегося за это столетие: «Сомы грамм — и нету драм!». Нельзя сказать, что Сивун проследживает его формирование; так как в тексте воспроизводится потребительское сознание, он раскладывает перед читателем рекламные проспекты и пресс-релизы, называет крупнейшие бренды, большая часть из которых возникла около ста лет назад, следит за собственным восприятием того или иного товара или услуги.

Роман «Ложится мгла на старые ступени» о противоположном жизненном укладе, для своего времени искусственно созданном, но реальном. Робинзоной книгу уже называли, да это она и есть, помноженная на детское восхищение ребенка, попавшего на необитаемый остров вместе с умелыми взрослыми. Познания деда и его записи о том, «как из камня сделать пар», поражают воображение.

Чего только не хотелось сделать в детстве! Ткацкий станок, например. Книжка-малышка К. Ушинского (это я теперь знаю, что Ушинского) о том, как рубашка в поле выросла, искушала воссоздать весь процесс, было непонятно только, где взять лен. Впрочем, взрослых в Москве, а тем более за ее пределами, в 1980-е занимал тот же вопрос, но с другими дополнениями.

Робинзону Крузо повезло: на корабле уцелело довольно много вещей, пригодных для начала жизни на острове. Семье главного героя романа Чудакова отчасти тоже повезло: в Чебачинск их не сослали, они вовремя спрятались там сами, а в хозяйстве бабки и деда удивительным образом сохранилось множество полезного, начиная с иголок и голландского полотна и заканчивая сургучом и листами оконного стекла.

Старый мир был предметен, без заменителей в виде талонов, очередей, списков, карточек... Саввины-Стремоуховы как могли его восстанавливали, и отнюдь не по ностальгическим соображениям: «Несмотря на непрерывную, с утра до вечера, работу по пропитанию, жили все же голодно-вато; я потом спрашивал, как жили те, кто так не работал, но на этот вопрос не мог ответить никто». Другой вопрос, что именно этой семье для нормальной жизни (или чего-то, ее напоминающего), нужны «излишества», позволяющие им чувствовать себя достойно. Кусок хлеба и чистый воротничок.

Общими усилиями в семье создается все, от медицинского градусника до прессы для отжимания сахарной свеклы. «Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма», — констатирует один из родных, вернувшийся с фронта.

Главное в их «везении», не раз подчеркивает автор, — готовность трудиться не покладая рук. Роман опровергает привычный взгляд на «белую кость» — белоручек. Они представлены не только более сведущими в разных областях и умеющими применять свои знания на практике, но и более выносливыми в ссылках и лагерях: им есть чем жить и держаться.

Открытое противопоставление «белой» и «черной кости» есть и у Личутина. Только выводы делаются прямо противоположные. «Такая партизанская, монашья скрытня, добровольный прислон впору лишь характеру мужицкому, склонному к бродяжничеству и долготерпению. “Белой кости” подобных лишений не снести».

Мир, описанный Личутиным в повести «Сон золотой», сродни миру, описанному Чудаковым, да и ситуация во многом повторяется: предвоенное и военное время, глухомань, необходимость выжить, но несравнимы усилия, которые надо было предпринимать матери, тянувшей троих, потом четверых детей, и совместные труды большой семьи.

Мезень — не Чебачинск, как по климату, так и по составу обитателей, потому трудно сказать, насколько бытовые отличия обусловлены внешними, насколько внутренними причинами. За семьей Саввиных-Стремоуховых — традиции другой культуры, на них концентрируется внимание Антона.

Он и в детстве, и в юности воспринимает происходящее как творчество. «Рабство», — говорит потом отец взрослому сыну. Для героя Личутина это оно и есть. Труды и дни Стремоуховых выглядят, с точки зрения ребенка, интересно и разнообразно; у Личутиных «затрапезная неудачливая обыденка, круговорот которой ежедневно творился вокруг ненасытного брюха», развлекается детскими шалостями и забавами: от коньков и таскания украдкой шанежек до рыбалки и охоты, единственных занятий, позволяющих сочетать с промыслом счастье.

Из «Сна золотого», как и из «Года девяносто третьего», можно почерпнуть много информации о ведении хозяйства. Мир дома: царь-самовар, печка, шторы-подзоры-кружева, за чистотой которых ревниво следит мать, жерновцы, банька, за каждым предметом — труд: добыча дров, готовка, стирка... Рядом с этими простыми вещами, сохраняющими быт предков, — ценности нового времени: единственный на округу велосипед, привычный до незаметности репродуктор — «невидимый столличный собеседник», рисовавший «картины грядущей счастливой жизни».

Чудаков и Личутин создают разнонаправленные идиллии. У первого как раз отец и дед Антона не думают и не делают вид, что та жизнь была раем. У второго взрослый автор отдается «елейности» воспоминаний о детстве, противопоставляя ему нынешние последние времена. Собственно, как и его мать, вскидывавшаяся на каждое обидное слово: «Я-то жизнь хорошую прожила!».

«Прах и грубость» исчезли, остался «сон золотой», праздник, счастливое время, «голос отчины» и «родный ковчег». Голос автора действительно «становится мягким, шепелявым, почти елейным» (самохарактеристика), так неудивительно, что рассказы его до новых детей не доходят.

Когда-то в «Еженедельном журнале» выражали надежду на то, что «послание Александра Чудакова, его рассказ о нормальных людях ненормальной эпохи имеет шанс быть адекватно воспринятым и читателями его поколения, и теми, кто полагает, что Сталин — персонаж спектакля “Мастер и Маргарита” в постановке Виктюка, а голод — это когда закрыта ночная продуктовая палатка» (<http://supernew.ej.ru/00-/life/art/booker/index.html>, букеровский обзор 2001 года). От лица последних написан «Бренд» Олега Сивуна, ясно показывающий, что шанс не то что бы упущен — не востребован.

Мир «Бренда» безусловно молод: дети и старики не прямые потребители, потребление — признак взрослости.

Вдогонку к тексту Сивуна — два фрагмента разговоров. Одному уже несколько лет: «Мама, расскажи о том времени, когда нечего было есть» — «Ну, я этого, к

счастью, не застала, вот спроси у бабушки...» — «Но ты же сама говорила, что в твоём детстве не было йогуртов и глазированных сырков!». Второй подслушан в магазине совсем недавно: «Вот сниму я эти сто рублей с карточки сейчас, а если ситуация потом будет критическая, попить мне захочется или деньги на телефон надо будет положить?».

Пугает личный дискомфорт, а не исторические катастрофы, они в первую очередь неинтересны, как неинтересно герою, кем были его родители в Восточной Германии, где он вырос. Равнодушие — ведущая эмоция, выдающаяся за ироническую трезвость взгляда. «Даже если исчезнет Россия, я, наверное, ничего не почувствую, а если умрет мой кот, то я расстроюсь. И что важнее для истории, гибель моего кота или смерть России, — это еще вопрос. Страна, которая столько раз меняла свое название, мало чего стоит. У моего кота одно имя на протяжении всей жизни».

Имя здесь — суть вещи, а сами вещи при этом теряются. Откуда они берутся, герой «Бренда» не знает. Правда, в отличие от многих других потребителей, он знает, откуда взялись кое-какие бренды, которыми описывается его жизнь.

Разница отношения к миру Антона и персонажа «Бренда» нагляднее всего видна на примере лампочки Эдисона: Антона завораживает знание о шести тысячах растений, перепробованных для спирали, о выборе обугленного волокна японского бамбука и, главное, что лампочка, сделанная десятки лет назад, все еще горит. Хорошо бы, та самая, бамбуковая. Героя «Бренда» если и завораживает, то знание о том, что по-прежнему, уже больше ста лет, существует компания «Дженерал Электрик», информацию о компании с официального сайта GE можно переносить в «Бренд» целиком.

История брендов действительно прослеживается на протяжении десятилетий, все XX столетие выглядит у Олега Сивуна если не веком изобилия и надежности, то его залогом. Счастье и конкретно, и туманно: «Хооочется чего-то...» — способ разрешить «критическую ситуацию» — пойти в супермаркет, в крайнем случае, заказать себе что-нибудь по каталогу «Quelle», в котором овеществлены любовь, нежность, слава, красота, безопасность, уют, да и сама история, если просматривать каталог разных лет.

XX век у Чудакова — мир нехватки, отнятого, отсутствия необходимого, внезапно случившегося искусственного вакуума, но это мир, счастливо (ребенком) воспринятый. Мнимое «хооочется чего-то» заполняется работой, лучше всего — физической. Труд, что в Чебачинске, что на овощебазе, что на Беломорканале или у топки броненосца «Ослябя», — правда, настоящее и насущное, в отличие от обязательных лекций по истории КПСС или каких-нибудь заседаний.

При этом ежедневный тяжелый труд в романе Чудакова не превращается в единственный смысл жизни.

Если бы Антон и герой «Бренда» встретились, возникла бы, наверное, ситуация «Дивного нового мира», хотя финал зависит от того, на чем бы поле встреча случилась.

Происходящее с нашими современниками герой «Бренда» объясняет потерей основного смысла жизни и подменой его множеством маленьких смыслов, как говорил цепляющийся за них Доктор из «Тени» Е. Шварца: «Вот поправился больной... Вот жена уехала на два дня... Вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды...».

Текст Сивуна не столько о брендах, сколько о подмене смыслов и причинно-следственных связей: мебель — это ИКЕА, знание — Google, быть сухим — носить Libero. Памперсы, кто бы говорил, многое изменили в нашей жизни, и у Архангельского 1993-й — год не только разгона парламента, но и революции в семейной жизни: прислушиваясь к выстрелам, молодая женщина рассматривает чудо-чудное, штанишки-подгузник на липучках. Они освобождали время. Бренды забирают его целиком.

Можно ничего не знать о мире, если базовые ценности задает кукла Барби — она ничего не говорит о «насилии, болезни, предательстве и смерти. Я тоже ничего об этом не знаю, за исключением болезней. Но у меня есть медицинская страховка».

Антон Стремоухов хватается в какой-то момент за философию Николая Федорова, его учение о физическом воскрешении мертвых, но героя Чудакова мучает страх не своей собственной смерти, ему, историку, «жаль было уже умерших всех». Проглядывая кинохронику, листая газеты конца XIX века, он вдруг осознал, что все,

кого он тут видит, чьи статьи и объявления читает, все они — покойники. Дело не в смерти старших, хотя первый, о чьей будущей смерти Антон-мальчик рыдает полночи, — дед; не в смерти тех, с кем можно поговорить о прошлом, дело в ощущении живой истории на ладони, переживании и сопереживании другому.

Антон, правда, постоянно не совпадает с реальностью во времени: студентом искал Москву, о которой знал по отцовским рассказам, мальчиком учился у деда всему, от грамоты до умения видеть и понимать мир вокруг, и старательно выписывал еры, а к Новому 1947 году пел песенку «Рождество Христово, Дедушка Мороз». Дедов внук, он не просто родом из детства, с островка их дома в Чебачинске, он вообще живет в другом измерении восторга перед чудесами мира и острой печали по невозвратному, будь то осознание человеческой смертности или того, что последняя Стеллерова корова была убита в 1768 году. Потому и взялся за художественные мемуары историк-литературовед Чудаков. Ему — не все равно, кот или Россия. Ему не все равно — Россия ли.

Чудаков пишет о нормальных людях в ненормальных обстоятельствах и о сохранении нормальности.

Сивун — о нормальных в нормальных для нормальных: «Как дела?» — «Нормально». «Как вам XX век?» — «Да нормально».

### **ОТЯГОЩЕННЫЕ ДИДАКТИКОЙ**

Там, где в «1962» есть дидактика, она открыто выражена в призывах: узнай! Посмотри! Найди! Подумай! — но это послание не к ребенку и даже не к подростку, а отчет о прожитой части жизни, данный себе и уже взрослому сыну. Другое дело детская и подростковая литература, где дидактическая установка в том или ином виде — неотъемлемая часть. Здесь писатели не просто рассказывают или подводят итоги, но объясняют, просвещают, поучают, необязательно прямо, конечно.

Характерно, что взрослые часто воспринимают себя как спасателей, каждое новое произведение для подростков — как в вакууме созданное, единственное. В рецензиях и обзорах в последние годы в качестве спасателей подростков и подростковой литературы называли и Мариэтту Чудакову, и Алексея Слаповского, и Николая Горькавого, забывая о многочисленных их коллегах: Екатерине Мурашовой, Дине Сабитовой, Андрее Жвалевском и Евгении Пастернак, Веронике Кунгурцевой, Асе Кравченко, Валерии Воскобойникове, Марине Москвиной...

Обратная связь может оказаться неожиданной. Интересный пример-перевертыш взаимоотношений взрослых и юных зафиксирован в ЖЖ у Ирины Ясиной, экономиста, директора программ фонда «Открытая Россия», руководителя Клуба региональной журналистики, вице-президента фонда «Либеральная миссия».

Участники и организаторы молодежного проекта «Я думаю» (фонд «Либеральная миссия») вместе смотрели и обсуждали фильм «Россия 88»: «Этот фильм надо смотреть взрослым. Мы и так это всё знаем... А у вас могут быть иллюзии», — заметил один из ребят (<http://yasina.livejournal.com/394283.html>).

Разобраться с иллюзиями — такую задачу ставит перед собой Мариэтта Чудакова. Ее детские детективы призваны просвещать и воспитывать молодежь, убеждать каждого подростка в том, что его дела и мысли имеют значение. Действие романа-путешествия отнесено к началу 2000-х годов, в целом перед нами курс по истории и географии России, переходящий в публицистику.

Автор стремится дать читателю представление о советской жизни и ее следах в настоящем, о том, о чем и в голову не придет спросить современному ребенку или подростку, с пеленок путешествующему по всему миру: о закрытых границах, о соцстранах, о деньгах, на которые ничего нельзя сделать. Разговор ведется так страстно, что об объективной картине говорить не приходится, детектив превращается в публицистику, а уroveň дидактики зашкаливает. Одни эпитеты чего стоят! «Хилые выборные органы», например.

Одна из наиболее ярких и прозрачных образов-анalogий, подытоживающих советскую историю, — деревня, потерявшаяся во времени, совхоз «Победа социа-

лизма». Наркобароны держат всех ее жителей на маке и его сборе, история здесь откровенно фальсифицируется: на охраняемом въезде висит «Правда» с портретом Брежнева и прославлением советских воинов-интернационалистов, сражающихся за свободу и независимость в Афганистане. До 1989 года в деревню еще худо-бедно доходили отголоски событий внешнего мира, дальше Брежнев встал на защиту Отечества и не дал демократам все у народа отнять, теперь генсеку девяносто шесть, он по-прежнему у руля. Совхоз «Победа социализма», единодушно жующий мак, — еще один вариант газовой камеры.

Взгляд ребенка дает не только возможность привычного уже остранения, в первую очередь он позволяет спрятать авторскую иронию за наивностью, вскрыть множество привычных штампов, в том числе связанных с топонимами, говорить о них на пути из Москвы в Сибирь можно бесконечно.

Жене, которой тринадцать лет, дед рассказывал, как жили в России до Ленина, так что ей понятно, почему самая бедная с виду улица названа его именем. В другой раз они оказываются на «площади неизвестно чьей победы»: развалюхи не напоминают дома победителей. Великая Отечественная война часто становится фоном рассказа, но при этом она, как и у Архангельского, вписана во временной контекст. Скажем, история депортации чеченцев в 1944-м подготавливает почву для разговора о чеченских войнах 1990-х.

С литературной точки зрения, большой интерес представляют сказки Вероники Кунгурцевой о Ване Житном. В трилогии (опубликованы две книги) исторические события — фон: по мнению писательницы, любой вымышленный мир скучен по сравнению с недавними реальными событиями. В первой книге герои путешествуют по России 1993 года, попадают в Белый дом, к «Останкину». Во второй — едут в Чечню в 1994-м, в третьей должны отправиться в Косово.

Кунгурцева в первую очередь рассказывает захватывающую сказку, и заметно, что первая, более политизированная, книга провисает в моменты соприкосновения с реальностью: скучна и затянута пародия на президентские выборы, слишком демонстративен разговор двух домовых о Сталине и Ельцине. В споре сталкиваются два взгляда: для одного героя Сталин — собиратель русских земель, хозяин, поднимающий промышленность и выигравший войну; а Ельцин — тот, кто завел народ в трясины. Для другого, чей хозяин сгинул на Беломорканале, в центре — лагеря и раскулачивание, теперь, в 90-е, говорит он, в первый раз «народ свободу почувал». Тем не менее здесь все это фон для истории мальчика, в которой волшебство переплетается с повседневностью, тогда как у Чудаковой фон — детективный сюжет.

Значительно меньше публицистики, сатиры, иронии и мифологии в сказочных повестях Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. В целом подход авторов к истории лучше всего отражает название их последней на сегодняшний день книги «Время всегда хорошее».

Авторов больше интересует личность, а если уж время настолько нехорошо, что никакая личность не поможет, они его пропускают — не забывают, нет, как сказано в «Правдивой истории Деда Мороза»: «Мы специально не рассказываем, что творилось между 1916 и 1919 годами. Слишком это тяжелое было время. Такое тяжелое, что временами даже хуже войны. Поэтому просто напомним некоторые факты». Так они и делают: факты напоминают, а повесть продолжают с 1920 года. Впрочем, ленинградская блокадная зима 1942-го в историю включена. Наверное, потому что к этому времени Дед Мороз (Сергей Иванович Морозов) стал мудрее и готов был дарить чудеса тогда, когда не до праздников. Тем более, когда не до них. В Первую мировую он, впервые столкнувшись с желаниями «чтобы папа был жив», ушел на фронт, а в 1920-м на пятнадцать лет прогнал своих волшебных помощников. К середине 30-х—40-м годам он приходит к осознанию важности своего дела на своем месте. Его дело в СССР — подарки и елка.

История отражается в желаниях: от нормальных детских в мирное время (куклу с меня ростом и обязательно с сиреневыми волосами!), таких простых и замысловатых одновременно, до простейших и несбыточных во время войны: чтобы было тепло и не хотелось есть, чтобы папа и мама были живы.

XX век складывается из желаний:

чтобы ять отменили,  
 чтобы вернули новогоднюю (прежде рождественскую) елку,  
 чтобы с анонимкой о непролетарском происхождении мужа все обошлось,  
 чтобы везде была революция,  
 чтобы я стал космонавтом, когда вырасту.

И все-таки, как и в первой книге походов «Вани Житного», здесь история России второй половины XX века за редкими исключениями опять обобщена до двух событий: Великой Отечественной войны и распада СССР. В этой условности есть и определенный момент вытеснения: «Все! Настало мирное время! Честное слово, больше до конца книги войн не будет!». И нет — ни «холодной», ни Кореи, ни Вьетнама, ни Афгана, ни Чечни. Волей-неволей реализуется установка, о которой Архангельский пишет в связи с поколением своей мамы: «Великая Отечественная война шла очень долго, закончилась совсем недавно, а новой войны быть не может».

Хотя история Деда Мороза и доведена до 2012 года, т.е. до столетия персонажа, на первые пятьдесят лет приходится десять глав, на вторые — две: «Пятьдесят лет подряд» и «Столетний юбилей». Водораздел — опять же 1962-й, здесь выбранный как год первого юбилея Деда Мороза. По сути, более подробно о нем и о времени рассказывалось до 1942 года, 62-й здесь значим для истории Деда и Снегурочки, подтверждающих в этом году свое право на волшебство еще на пятьдесят лет.

Рождественская история рубежа XIX—XX веков почти не сталкивается с реальностью второй половины 1900-х, во введении к предпоследней главе просто названо главнейшее, что случилось за последние пятьдесят лет: СССР перестал существовать. Об остальном спрашивайте родителей. Т.е. подрастайте и читайте Архангельского, например.

Отчасти это «слепое пятно» компенсирует повесть «Время всегда хорошее», где встречаются 1980 и 2018 годы. По мере развития сюжета осуществляется переход от мысли «время всегда одинаковое», «всегда время быть собой» — к заглавной, идиллической.

Детское упрямство в книге Жвалевского и Пастернак — *лед в узкой трещине* (название одного из очерков Трауберг). Тогда как взрослые подсказывают, как можно выиграть у системы на ее же поле: герой апеллирует к военному прошлому бабушки, от которой друга хотят заставить отречься (снова современность, в данном случае как будто бы абсолютно негероический 1980-й, сверяется с Великой Отечественной). От ветеранов не отрекаются — неподсудны. При всем изяществе решения и благородстве целей это пример эксплуатации военной темы.

На вопрос о том, в каком времени вы хотели бы жить, в одном из интервью отвечала Трауберг, не так оптимистично, но, по сути, так же, как Жвалевский и Пастернак: «Если мы говорим не о сказке, то *они все более-менее одинаковы* (курсив мой. — Д.М.). Если о сказке — вудхаузовскую Англию. А в России, наверное, никакой».

Неуникальность страшного опыта прошлого века отмечает и Архангельский ближе к концу книги, подводя к теме Второго Ватиканского собора и возвращения русского образованного сословия к церкви: «Прежние войны были во многом страшнее двух мировых... Варфоломеевская ночь, людоедские эпизоды Столетней войны, строительство Петербурга не были гуманнее Ленинградской блокады, просто случились раньше, помнятся хуже».

Даже поборник русского национального Личутин в последнее время высказывается уже не столько о сионистском заговоре и гибели русского народа, сколько о том, что двадцать лет — ничтожно мало для искажения закладывавшегося веками.

Но все это можно сказать, только освоив и присвоив прошедшее, не передоверяя создание концепции исторического курса официальным лицам. Возвращение к обычному человеку и теме его личной ответственности как в малой, семейной, так и в большой истории, — залог того, что это возможно.

## р е ц е н з и и

### Мир «без-»

**Александр Миронов.** *Без огня.* — М.: Новое издательство (Новая серия), 2009.

**Т**ретья книга стихов Александра Николаевича Миронова появилась в 2009 году, через семь лет после выхода второй, и шестнадцать после выхода первой. Время идет, а знаковый поэт Миронов так и остается поэтом непрочитанным. Впрочем, не становясь от этого менее знаковым — поэтом вне времени. Или поэтом безвременья? «Без огня» — хорошая возможность успеть прочесть. Пока, с огнем или без, безвременье не вступило в права.

Понятие, пожалуй, неотделимое от поэтики Александра Миронова, — двойственность. И это не только два мира, не только два голоса и две эпохи. Хотя о Миронове написано мало, двойственность эта, так или иначе, отзывается почти в каждом сказанном о нем слове. Так и новый сборник еще с нулевых страниц обещает ее, ведь, по меньшей мере, «в книге *«Без огня»* собраны стихи 1970—2000-х годов». Несомненно, двойственность Миронова — это две стороны единого целого: единых мотивов, мыслей и тем. Однако в столь показательном сборнике разница текстов видна даже на уровне графического оформления.

Семидесятые — это стихи развернутые, многословные — щедрые на слово. Двухтысячные — рваный ритм, отсутствие знаков препинания, лаконизм формы, переходящий в словесную скупость, словно автору жалко слов; или их просто нет, они кончились. Вот почему один из излюбленных мотивов Миронова, со сроком выдержки в сорок с лишним лет творческой деятельности — *бессловесье* — получает новый, еще более острый и трагичный вкус. Именно *бессловесье* становится идейной рамкой сборника; в первом же тексте:

— .....

— Молчите. Молчите. Надо ждать следующего вопроса.

(Диалог, 1976)

А в финале — знаменитое стихотворение:

Как бестелесны и просты  
плутанья наши —  
от новой страшной немоты  
до Новой Чаши...

(«Как бестелесны и просты...», 1978)

Хронологическая петля: это стихотворение 1978 года, так что линейное время искривляется, замыкается в круг. И это едва ли случайно: ведь *бессловесье* Миронова есть результат не только «*кривого*» слова. *Бессловесье* — единственно возможное слово «*кривого*» времени, вечного гонителя поэта. Искривлено время, само безвременье — не только историческое, но и шире, в масштабе бытия.

И снова двойственность: если в безвременье семидесятых поэт только предчувствует «вторую смерть», то в безвременье двухтысячных она уже свершилась. Сравним 1977 год:

В Лете, где растворяется времени нить,  
смерть вторая к душе клубом пены подкатится.  
(«Чуть солей, чуть кровей — придушить и размять...», 1977)

И 2004 год:

...камнем, явью, крепью стать —  
вечной смертью умирать.  
(«Изуверясь, извратясь...», 2004)

Вот почему именно в двухтысячных у Миронова так силен мотив родов-аборта — рождения в смерть, выталкивания или, наоборот, затаскивания в смерть:

Нет невода в околородных водах.  
Кто вытянет меня, уroda?  
Ага, уж воды отошли!  
Убили вы меня, «ушли»,  
И ну, теперь тянуть щипцами...  
(«Нет невода в околородных водах...», 2001)

И вновь едва ли случайной оказывается очевидная переключка этой сцены с тем, как в больнице тащит шизофреника санитар:

Зачем тащить меня? Пусти!  
О, в чем я виноват?  
(I. Монолог шизофреника, 2002)

Затаскивание в смерть — такую своеобразную кульминацию получает некогда бывший клише, но успевший стать опытом тяжелого личного переживания (сродни смертельной болезни) образ Родины-матери.

Впрочем, еще одним постоянным спутником темы безвременья, его катализатором, а может, даже основой, служит для Миронова библейская тема. Но и она на страницах сборника распадается надвое. В семидесятых это «бесконечный сон»: мир, о котором автор размышляет, который включает в свой здешний мир, но все же — мир иной. В двухтысячных же он становится для Миронова реальностью: «размышления о» перерастают в прямое обращение к Богу, даже не в молитву, нет. Это обращение предельно личное, лишенное даже тени отчуждения. Вот почему это и отчаянный крик, и плач, и всепринятие, и смиренное покаяние.

Бессловесье,  
Господи, Боже мой, здесь я,  
Господи, в этом словесном затоне,  
В этом селе, в этом коробе, в этом поместье  
Сам, как козел Твой на страшной, червивой иконе,  
Слева и справа.  
(«Бессловесье...», 2002)

Кульминация — пожалуй, в одном из самых лаконичных и болезненных текстов, в выкрике почти в финале сборника:

Все продано, все проклято  
Давным-давно. С берестяной таблички  
Какую руну нам прочесть?  
Скворцы и живчики,  
Синильные синички,

Опомнитесь!  
Бог есть!

(«Все продано, все проклято», 2007)

Безбожие и бездушие мира рождает страх, доводящий до безумия — еще одной, если так можно выразиться, излюбленной темы Миронова, которая также получает новое звучание в двухтысячных: нет горькой и болезненной игривости скоморохов, «выкидывающих колени»; есть крошечный бред и мольба о всевышней милости.

Бессловесье, безвременье, безбожие, безумие... Это еще одно едва-ли-совпадение; это уникальная, сложная «без»-поэтика Александра Миронова: без-слов, без-времени, без-Бога, без-ума... Есть в этой поэтике и еще один «без»-смысл, вынесенный в заглавие сборника: «Без огня». Автор задействует все основные смыслы и ассоциации, формируя опять же уникальный и опять же сложный образ.

Огонь — свет. Один из основных смыслов огня, по Миронову, — это смысл света: свет от свечи или от спички, свет от самого пламени, от его дрожащего языка. В одном из текстов Миронов уподобляет жизнь огню: «мерцающая, светящаяся, угасающая». Однако вопреки традиционному поэтическому образу огонь-свет понимается автором вовсе не как жизнь, скорее наоборот — как смерть. Недаром «огонь животворящий», огонь, освещающий и дарующий жизнь, — «чужой, запредельный». А здесь, в пределах, огонь — это свеча, которую зажигает смерть у постели спящей матери, но задувает, оставляя ей жизнь. Это зажженная спичка, которая высвечивает из темноты «зеленое лицо» «истлевшей девицы», призывающей любезного супруга. Это «свет — давно уж несвет», с помощью параллельных конструкций приравниваемый к бреду. Да и следующий смысл огня неразрывно связан с погибелью.

Огонь — пожар. Пожар, костер, кремация, сожжение (заживо), а после — пепел и тлен. Эта группа смыслов взаимодействует на всем пространстве сборника и выстраивает образ «мира — полустлевшего остова». В нем догорает чудесный чистый сад «Перепелки», в нем всякий раз воспламеняется вновь «содомский грех».

...ну а здесь — что ни день —  
то печаль  
то огонь то зола  
Флорентийская тень  
мои тихие сени сожгла.  
(Locus трезвости, 1976)

Этот же огонь — кремационная печь, избавляющая от страшной болезни; то есть от самой жизни.

Огонь — выстрел. Этот огонь — желание стать субъектом разрушения, стрелять самому, стрелять в себя. И смерть ли дальше, или, наоборот, жизнь?

Боже, дай пистолет  
пострелять, выстрелить в себя.  
Оживиться? Да.  
(Крещенские морозы, 2004)

Огонь — свет разума. Впрочем, не способный выстоять против тьмы мира, гаснущий во мраке жизни. И, конечно, огонь из пословицы: дым без огня как собственная пустота, отсутствие самое себя:

...я здесь как маршал без коня,  
как дым небесный без огня, —  
я здесь — и нет меня...  
(Бес-хранитель, 1976)

Таков огонь Миронова: дарующий смерть как свет посреди безумной тьмы жизни. В таком случае, в авторских координатах «без огня» значит без смерти, без избавления, обреченный жить в мире «без-». Но в координатах более традиционных — без смерти, то есть без забвения, обреченный на вечную жизнь и вечную память?..

Анастасия Бабичева

### «СССР™» как «утопия ордена»

**Шамиль Идиатуллин.** СССР™: Роман. — СПб.: Азбука-классика, 2010.

«СССР™» — не первое обратившее на себя внимание читателей произведение Шамиля Идиатуллина. В 2005 году он дебютировал книгой «Татарский удар». В ней описывалась ситуация, в которой искусно спровоцировавшее развал России и отпадение Татарстана НАТО пыгается взять Татарстан под контроль шпионскими военными методами — и наталкивается на сокрушительный отпор. За «Татарский удар» автора упрекали в татарском национализме, хотя, скорее, он являлся достаточно типичным примером реваншистской политической фантастики, отличающимся от прочих только татарской спецификой. В 2006 году Шамиль Идиатуллин опубликовал в № 6 «Знамени» повесть «Эра Водолея», в которой жители одного из районов Татарстана начали употреблять воду из глубоких подземных источников. Воздействие этой воды превращало людей в новый вид, придавая им способность оборачиваться древними ящерами и иные полезные качества. Таким образом Татарстан, а за ним вся Россия в перспективе становились пионерами новой эры — в буквальном смысле Эры Водолея.

Содержание новой книги Ш. Идиатуллина «СССР™» вкратце таково.

При поддержке президента и правительства в сибирской глуши компания с несколько вызывающим названием «СССР™» («™» — торговая марка) решает организовать комплекс добывающих и промышленных предприятий, производящих ряд высокотехнологичных продуктов, которые не имеют аналогов в мире. Однако это не просто попытка целенаправленного вложения средств в прорывные технологии. Организаторы предприятия мечтают построить что-то вроде «Города Солнца». Для этого они привлекают не чуждых высоких помыслов молодых людей, которым хочется чего-то большего, чем растрачивать жизнь на банальное достижение личного благополучия и не хочется строить отношения с другими по принципу «человек человеку — волк». Этим людям хочется жить «не так, как все», а «по-человечески». Жить «по-человечески» означает для них жить по-советски в идеализированном варианте — с великой целью, работая не только ради денег, творя, относясь к ближним не как к средствам для своего собственного процветания. В течение пяти лет этот проект реализуется, у него (благодаря широкому использованию новейших информационных технологий) появляется множество сторонников за пределами поселка. В радужной перспективе организаторы проекта рассчитывают, что культивируемый ими образ жизни постепенно станет доминирующим в стране и окажет благотворное воздействие на весь мир. К несчастью, враги «СССР™» слишком сильны, а руководители проекта не очень склонны к компромиссам. В итоге эксперимент прекращается, хотя остаются новейшие производства, информационная сеть «Союза» и сообщество его сторонников.

Чего греха таить, минувшее десятилетие, которое вначале воспринималось как передышка с умеренным процветанием, стало годами банкротства практически всех признанных смыслов существования для страны и отдельных людей. Это были смыслы, которые оказались для подавляющей части людей единственно доступными, когда они в массовом порядке отказались от всяческого идеализма и утопизма в пользу потребительского прагматизма и «реализма». Когда большинство волей или неволей согласилось с тем, что человек существует, чтобы наесться от пуза и развлечься, а страна — просто ради того, чтобы выживать, подобно крокодилу или медведю, в окружении потенциально опасной флоры и фауны. После этого существование российских граждан

стало напоминать жизнь в каком-то дырявом ведре, которое казалось полным и осмысленным, когда в него тек поток нефтедолларов, и которое не кажется таким, когда этот поток иссяк. Поток снова может наполнить ведро, но он никогда больше не вернет даже иллюзии осмысленности, которая была раньше. Ведь все уже убедились, что стенки дырявые. (Тут вспоминается первая реакция многих представителей нашего «среднего класса» на кризис: они признавались, что кризис дал им возможность вырваться из круговорота дел, которые их убивали и, по большому счету, оказались бессмысленными с человеческой точки зрения.)

После этого в людях стало потихоньку просыпаться желание чего-то иного, большого и светлого. Жить не так, как раньше жили. Жить, наконец, в обществе, а не в террариуме. Начать строить новые отношения, пусть не в масштабах страны, но хотя бы с теми, с кем хочешь сам. Оказалась поколеблена воспрянувшая было в течение путинского десятилетия вера в возможность и желание государства решить за нас все проблемы; до все большей части граждан начинает доходить, что новую жизнь, причем именно такую, какой хочется, можно создать только своими собственными руками.

На этой постепенно поднимающейся волне наших новых желаний и появилась книга Идиатуллина «СССР™». Говорят, критики уже назвали ее «производственным романом» и, наверное, они в чем-то правы. Тем не менее сказать, что «СССР™» — «производственный роман», это значит не сказать почти ничего. Потому что, конечно, не стремление написать такого рода роман двигало автором, а желание написать утопию. И он ее написал. То, что такая утопия появилась именно сейчас, в ретроспективе не представляется удивительным. Следовало бы удивляться и огорчаться, если бы реальность так и не побудила бы никого писать книг утопического характера, если бы это тупиковое, упущенное, тупо проеденное десятилетие не вызвало бы ни у кого крика отвращения.

Неприятие действительности и желание жить *не так, как все вокруг* неоднократно прорывается в репликах героев:

«— ...Ты помнишь, как мы договаривались? Все по-честному, по совести, чтобы Союз был не тем, что вокруг. Правильно или я свищу тут? А крысятничать — это совесть?».

«— ...Если мы не по-человечески, то что от Союза остается — капвложения и гаджеты разные. И получается, что мы не Союз ни фига, а очередной чеболь, в котором все пашут за страх и который жив, только покуда папики бабло кидают. А как кидать перестают, так страх уходит и наступает полный террариум. Тебя такой подход устраивает? Меня нет».

Из этого нежелания у Шамяля Идиатуллина выросло то, что Ежи Шацкий называл «утопией ордена»:

«Упор делается здесь на противостояние окружающему злу самим собой, всем своим существом. Критика дурного общества становится отказом участвовать в этом обществе. Противопоставление идеала и действительности принимает здесь форму противопоставления людей, осуществляющих идеал в своей жизни, всему остальному обществу, которое не хочет или не может принять этот идеал»\*.

Об участии ордена-«Союза» в политике упоминаний мало, да и участие это вынужденное, без особых расчетов на успех. Это неудивительно: «утопия ордена... не является программой, соперничающей с актуальными политическими программами... это сотворение общественного мира заново. Это отвлечение от текущей политики и политики вообще»\*\*.

Ставка, скорее, делается на создание государства в государстве с перспективой вытеснения старого государства новым общественным устройством. Правда, представления об этом устройстве довольно смутные. Понятно одно — энтузиасты проекта хотели бы уйти из мира торгашества, мира настоящего и начать строить мир будущего. Провозвестниками этого будущего для широких масс является доступ к образованию, рекламой будущего — плоды новейших технологий. Новейшие средства коммуникации (помесь мобильного телефона и компьютера — «Союзник»), передвижения (электромобиль «кипчак»), энергетики (экодвигатели). Несмотря на то что некоторые герои проявляют скеп-

\* Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 116.

\*\* Там же. С. 122.

тицизм в связи с неясностью идеологии проекта, аргументы его сторонников также не лишены основания. Для них «Союзники», «кипчаки» и сверхбыстрые экодвигатели — это «идеология на выходе». Светлый мир будущего с необходимостью будет миром высоких технологий, потому что социализм и коммунизм — это прежде всего постоянный рост человеческих возможностей для всех. Одной техники тут, конечно, недостаточно, ибо обеспечить рост возможностей именно для всех можно только в условиях новых отношений между людьми. А это отношения дружбы, уважения и любви. Недаром одной из присказок «Союза» является «совет да любовь».

Разумеется, в условиях реальной жизни строительство утопии проходит не так гладко, как хотелось бы. Тем не менее и само строительство делает людей счастливыми; а может быть, это происходит потому, что привлечены к нему в основном люди, которые умеют работать, творить, жить и любить.

Шамиль Идиатуллин — реалист в том смысле, что он отчетливо представляет, как будет выглядеть его утопия с точки зрения даже изначально благожелательно настроенных к ней людей. Она будет выглядеть как сообщество людей «каких-то не таких», как почти религиозная секта. Как говорит организатору «Союза» президент: «уж никак не ждал, что у вас все в секту выродится, и ты во главе. Здравсьте пожалуйста, вот он я, с серпом, молотом и нимбом».

Казалось бы — ну чего бояться секты? Секта, по определению, — нечто такое, что многих людей не привлечет. Можно было бы терпеть ее и пользоваться плодами ее деятельности. Но нет. Слишком уж опасно, с точки зрения государства, если люди начнут отдавать свою лояльность не ему, а другому сообществу, которое может дать человеку больше, чем государство. В этом страхе и заключается главная причина остановки эксперимента.

Уже неоднократно было замечено, что автор «СССР™», начавший писать свою книгу четыре года назад, невольно предсказал сегодняшний официальный поворот к политике модернизации, и даже конкретно — строительство «Иннограда» в Сколково. Пожалуй, это верно только с формальной точки зрения. Сегодняшние руководители России вовсе не хотят построить утопию под Москвой. Это можно понять хотя бы по высказыванию Суркова относительно характера инновационной зоны:

«Лучшим людям будут даны самые лучшие условия. И они будут знать, что они — самые лучшие. Они будут знать, что они находятся в самом лучшем месте в России и в одном из лучших мест в мире. Молодой ученый должен посмотреть вокруг себя и сказать: да, это лучшее место. Самое модное место, самое комфортное место. То, что вокруг человека, должно его вдохновлять»\*.

В сурковско-медведевской зоне, как видно, человек должен вдохновляться тем, что сам он лучший, живет в лучшем и самом модном и комфортном месте в мире. Трудно представить себе что-то более противоположное духу проекта Идиатуллина, чем этот террариум честолюбивых индивидов, страдающих элитистским самодовольством и озабоченных соображениями гедонистического и гламурного плана. Гораздо больше это похоже на то, чего изначально не принимают, от чего сознательно отталкиваются создатели «Союза» — на уже упомянутый «очередной чеболь, в котором все пашут за страх, и который жив, только покуда папки бабло кидают».

Если Шамиль Идиатуллин что-то и предсказал, то вовсе не медведевско-сурковскую карманную утопию. Возможно, он предсказал ситуацию, которая возникнет в относительно недалеком будущем: люди в массовом порядке перестанут связывать свои надежды с государством и политикой. Просто уйдут от них и организуют жизнь по-своему. Причем необязательно для этого уходить куда-то на север. Потому что, как говорится в финале, «Государство — это он, а Союз — это мы. Он прекрасен и вечен — пока мы вместе и пока мы верим. И горе человеку, когда он один». Но чтобы быть не одному, не обязательны ни государство, ни комфорт, ни бабло.

Леонид Фишман

\* «Сурков: инженер станет главным человеком в стране». — <http://news.softodrom.ru/ap/b6871.shtml>

## Ток-шоу про ад

**Мария Ватутина.** *На той территории.* — М.: Арт Хаус Медиа, 2010.

Люди, как известно, делятся на тех, кто сидит на трубах, и на тех, кому нужны деньги. Природа этого антагонизма вообще-то не очень очевидна, классификация скорее интуитивно верная, но это как раз главное. Руководствуясь похожим принципом, современную литературу тоже можно разделить на две категории: в одну войдут постмодернисты, а в другую — те, кому они себя противопоставляют (глагол на самом деле следует употреблять в прошедшем времени). В стране идеологий да не воспримется это *деление на два* легкомысленным упрощением — каждый, кто предан литературе, рано или поздно совершит неизбежный выбор, напрямую регулирующий его шансы на попадание в рай.

Поэзия, лежащая в русле классической традиции, ниточка, протянутая от Пушкина через Ахматову Бог знает куда — в рай, наверное, — к концу XX века существует одним методом самовоспроизведения: твердит о кухнях, коммуналках, евреях и электричке Москва—Переделкино. Искусство, то есть чудо, уходит, остаются документы на чудо, которые непонятно кому предьявлять: живая жизнь, превращенная в систему позывных, набитая символами веры, как (сравнение в угоду) антресоли лыжами.

Основная претензия, которую можно предьявить к стихам Марии Ватутиной, — что они тоже тянут эту ляжку. До застольных манифестаций дело доходит редко, темы-истуканы маячат где-то на периферии зрения, но стоят надежно, как вкопанные.

На переднем плане — то, что зовется прозой жизни. Жизнь, вернее, женская жизнь, пронизанная пульсацией греха и страха, простреленная маточной болью, сбита в мясной ком из старух и младенцев, в трактовке Ватутиной — нехороший циничный обряд, проводящийся над теми, кто вообще-то далек от религии. Документированию этого обряда автор, на правах жертвы, предается с мстительным упоением — неспособность освободиться (особенно, переходя на язык персонажей, — в этой стране) от травматического опыта настолько очевидна, что метафизическое обещание в названии книги оборачивается грустной шуткой.

Палата женская. Грибок на потолке,  
Старуху привезли из хирургии.  
Старуха спит с катетером в руке,  
И спят, еще не полые, другие.

Беда тут не в том, что «он пугает, а нам не страшно». Задачи напугать вообще не стоит: приметы ада, описанные Марией Ватутиной, давно зафиксированы в местном художественном сознании; бесконечное повторение внутреннего пароля получает одобрительный отклик системы, переходящей в режим самоконстатации, — тут, в общем, волнующего мало. Грубо говоря, кошмар с погоней и лестницами снился более-менее всем, кому вообще снятся сны, и именно по этой причине — всем снился — его нет смысла пересказывать.

В худших своих моментах эти стихи больше всего напоминают энергичный монолог в телефонной трубке, невыносимо награвшей ухо, — умственный, целенаправленный, заряженный какой-то свирепой логикой высказывания текст, очевидно стремящийся к прозе и периодически прозой становящийся. Этому стремлению многое приносится в жертву — рифмы, например, встречаются пугающие; в очередной раз ловишь себя на мысли, что поэзией снова названо самолюбование интеллекта. Увлеченно нанизывая друг на друга бойкие локальные истины и *меткие замечания*, многие современные поэты не понимают простого факта: публичная демонстрация гибкости ума одновременно выявляет предел этой гибкости публично.

Избыточность языка — в прямом смысле много слов — ощущается как вызов, словно тебе дали подержать гирику и предлагают угадать, какой у нее вес. Много имен, фамилий, действующих лиц — вот-вот все рухнет в гипертекст или пародию, но в последний момент поезд вырывается из тоннеля, в окно залетает сквозняк, разгоняя запахи пота, мочи и всего остального, не надо сидеть с такими серьезными лицами. Серьезность, пожалуй,

ключевое качество ватутинского текста: в какой-то момент от него просто просыпается, и первая мысль — «Боже, как все серьезно!». Честно говоря, редкий эффект для литературы. С другой стороны, Ватутина тем и занимается, что фиксирует серьезные моменты жизни — которая, очевидно, именно в серьезные моменты и бывает особенно неприглядна; так фотограф, желающий сбить с красавицы спесь, намеренно отбирает неудачные снимки.

Ватутина изучает прошлое — пристально и подробно, как место катастрофы. Катастрофа, собственно, не в том, что прошлое прошло, а в том, что, пройдя, оно окончательно *состоялось*. И вместе с ним состоялось необратимое, физическое прирастание к моменту, отсекающее любые возможности для побега.

Болит пространство опустелое,  
откуда ты изъят, как тот  
сосуд из горки, чашка белая,  
что с детства в памяти живет.

Если до конца играть в психоаналитика, можно предположить, что роль черного ящика в этой катастрофе играет детство. Но черного ящика здесь не существует изначально — об этом, по-моему, книга. Она, правда, постоянно искрит и перегорает, и хочется это мигающее электричество как-то починить, чтобы горело если не вечно, то хотя бы ясно и по-настоящему, пока не погаснет. Чтобы высказывание стало посланием, что ли. Тихий риторический ужас, заключенный в стихотворении про Пеппи («Пеппи Длинный чулок сидит в морщинистом ветхом саду...»), легко перевешивает всех этих инсулиновых старух с венозными ногами, и чего стоит восклицание «сколько у них ума! Неужели им раздавали в школе?» — вот, как говорится, человек *нащупал интонацию*.

Кстати, вот еще какой момент. Вместо принятой по этикету «тоски по детству» у Ватутиной (у лирической героини, I mean) — опустошенность детством, как неприятной болезнью, которая не прошла, а перетекла в хроническую форму. В стихотворении про бассейн толстая девочка попадает в общество красивых, тонких сверстниц — и жизнь загублена. И дело даже не во внешности, а в том, что «не возлелеяли, не согрели, не счистили скорлупу до белка, до любви» — попытки вычислить истину с помощью правильной аргументации невероятно легко провоцируют дискурс, далекий от литературного, но и подводят к главному. «Правда искусства — в страдании, заложенном в нем» — оксюморонность этого высказывания (искусство — игра, веселье; грустное веселье?) очень кстати пугает его от патетики, а понятия «искусство» и «страдание» — от преувеличенных трактовок. Так вот, страдание, в отличие от истерики, действительно стыдливо (извините за нагромождение цитат). Ведь оно не столько реакция, ответ, сколько страшно неуместный вопрос — такой, как если бы в передаче «Жди меня» кто-нибудь спросил, где здесь выход. Выхода, может, и нет, но это, воспользуемся метким замечанием, «истина не вся».

Наталья Явлюхина

## Беспамятство?..

**Леонид Костюков.** Великая страна. Мэгги. Романы. — М.: ОГИ, 2009.

«Мне интересно — что расскажет о себе и своей стране человек, который не помнит толком ни того, ни другого. Который не в состоянии отделить иллюзию от факта и воспоминание от мечты», — так в романе Леонида Костюкова «Великая страна» редактор окружной газеты «Айлэнд ревью» объясняет главному врачу провинциального госпиталя на Багамах свой интерес к одной из его пациенток — молодой женщине, пострадавшей в аварии и с трудом приходящей в сознание.

Выдавший виды американский газетчик уверен, что в рекламный стакан кока-колы на шестнадцатой миле хайвея врезалась на автомобиле вовсе не высветленная хирургическим путем мулатка — одна из тех, что пропали в течение последнего года в штатах Айова, Огайо или Айдахо. («Английский у нее не заторможенный, а просто неродной... И костюм из русского магазина возле аэропорта... По словам старшей сестры, она пытается заначить одноразовую посуду») «Мне, — втолковывает он окружающим, — нужна эта девчонка не для интимного секса. Я хочу сделать с ней несколько больших интервью».

Мэгги (так зовут героиню обоих вошедших в книгу романов) рассказывает пришедшим к ней в палату о стране такой большой, «... что никто еще не проехал ее из конца в конец, а те, кто проехал, уже одним этим вошли в ее историю и дали окраинам свои имена... В середине ее нет ничего, одни мили. По ее великим рекам идет лес, а навстречу ему, против течения, прется на нерест лосось. Он продирается прямо сквозь лес, застревая в дуплах, напарываясь на острые сучья, обдирая чешую о шершавую кору. И тогда даже с берега видно, какая розовая вода». Хотя глава почему-то названа «Мэгги вспоминает Россию», героиня не в силах ответить, о какой именно стране ведет речь. Вполне может быть — об Америке, возможно — о чем-то еще, далеко от нас...

О самой себе Мэгги не может ничего вспомнить. После безрезультатных попыток еще сильнее напрячь память она пускается в бег. Редактор, главврач и хирург частной клиники (той, где незадолго до аварии ей — ради статистики для диссертации — оперативным путем изменили пол) с трудом и при помощи полиции настаивают на беглянку. «Вы хотите сказать, — отвечает она им, — что я Давид Гуренко из России..., которого вы подравняли тут и тут, как лиса медвежат. Я благодарна вам за эти сведения, они возбуждают мою память. Дело в том, однако, что я сама в этом не уверена».

Выпутаться из цепких полицейских лап не так-то просто, и ей предстоит сотрудничество с американской разведкой по расшифровке загадочной русской души. Работа над отчетом «Русский менталитет» начинается с исследования, почему фермеры Хромов и Хабибулин, выравнившие и собравшие хороший урожай редиса, все сгноили и выкинули. И еще с выяснения, почему выражение «по кайфу» вовсе не означает приглашения в Хайфу, а словосочетание «попробуй, блин» никак не связано с Масленицей...

Пересечь Америку с востока на запад как можно медленнее, месяца за два или четыре, — таково еще одно поручение ФБР. В пригороде Нью-Йорка Мэгги встречает пожилую супружескую пару, возвращающуюся из поездки в Грецию, Румынию и Россию. И женщину средних лет Беллу Самойловну, мать Давида Гуренко и, следовательно, свою собственную... Которая проверяет шрамы на теле Мэгги, называет ее дочерью, но не может вспомнить, сколько у нее детей и была ли среди них дочь.

«Учитывая, что вы хвораете, скорее всего, это вам привиделось», — говорит Мэгги служащий отеля, которому она рассказала о появлении матери.

«А что, если и ты мне привиделся?» — вопрошает она и слышит в ответ: «Я получаю восемь долларов в час, следовательно, я существую».

Пережив множество приключений, Мэгги попадает в Новый Гренобль и оттуда в Москву, где вновь обращается в Давида Гуренко, чтобы не без коварной «помощи» двойного агента Кузнецова (в России он одновременно еще и Ковалев, в США — Смит) во втором романе опять сделать Мэгги. И пройти через каскад новых испытаний — теперь уже специфически российских.

В Москве и захолустном Староуральске Мэгги обретается в теле Давида Гуренко. И не может отказать в помощи подруге его бывшей жены, измученной нищетой и отсутствием перспектив, — отдает несчастной все имеющиеся деньги. Та в ответ принимает расстегивать блузку, и Мэгги-Давид останавливает ее сухо и неодобрительно: «Что же это вы, Валентина, надо же как-то все же... Гордость, что ли...».

«Уволенный в запас» Давид на том свете пребывает в женском облике. И шлет Мэгги электронные письма, обвиняя в жестокости, жалуясь на невозможность выпить кружку пива и заявляя, что ему все еще очень хочется жить...

Специфика российской жизни — и милицейской, и гостиничной, и вокзальной, и охотничьей — показана Л. Костюковым ярко и подробно, с несомненным знанием деталей. Отечественная действительность в романе «Мэгги» выглядит несрав-

ненно более жесткой, чем заокеанская в «Великой стране». Чего стоят одни только наши полковники, майоры, старшины!..

Книга от первой до последней строки читается взмахом. Входящие в нее «метафизические хроники» выглядят остроумной пародией на шпионский детектив или фантастический триллер. Есть основания признать оба романа еще и едкой сатирой на американский образ жизни и пытающийся подражать ему современный российский.

Но главное напряжение романам придает озабоченность автора человеческой потерей памяти. Она делает их беспредельно трагедийными, хотя Леонид Костюков вовсе не стремится ошеломить нас сенсацией (этим на первых страницах романа «Великая страна», как мы помним, занят редактор «Айлэнд ревью»). Книга в этой связи читается как «горячий» документ сегодняшнего дня. Читатель осознает, что не только подопытные Мэгги или Давид Гуренко, но и все вокруг далеко не всегда «...в состоянии отделить иллюзию от факта и воспоминание от мечты». И его начинает волновать, как непростительно мало знаем мы и помним о себе, своих близких и родной стране.

Если в этом сверхзадача книги, то автор с ней вполне справился.

Виктор Кузнецов

### **Текст повышенного внимания**

**Борис Останин.** *На бреющем полете.* — СПб.: Амфора, 2009.

Независимого человека трудно определить, так как он независим и относительно своих дел, своего положения. Борис Останин — одна из наиболее значимых фигур петербургской независимой литературы. Соредатор самиздатского журнала «Часы» — и редактор ряда издательств. Оператор котельной, сторож, переводчик, один из учредителей премии Андрея Белого. Петербургская культура всегда отличалась сильной рефлексивной составляющей. И в книге эссе, статей, афоризмов Останина имеются два очень содержательных предисловия филолога Л. Зубовой и поэта А. Скидана, к которым трудно что-то добавить. Но тем и хорошо многообразии, что в него можно вглядываться далее и далее, пусть это порой нелегко.

Действительно, Останину присуще стремление не декларировать, но спрашивать, причем вопросы задаются с нескольких точек одновременно. Он может предложить двадцать два толкования псевдонима Набокова (В. Сирий) — а в следующей работе напомнить, что такой метод ведет к лавинообразному умножению значений (в хаосе которых уже невозможно что-либо различить) и что «ветвящаяся мысль» полностью не способна «руководить практическим действием и проводить ответственную политику». Доля правды и в том, и в другом. Более того, видимо, только одновременное рассмотрение события с нескольких сторон и может нести какую-то долю правды, а любая односторонность ее лишается. Человек, умеющий пародировать филологию и философию, может сказать, что пришло время для новой серьезности. Такую серьезность есть смысл искать, она будет иной, чем та, в которую тянет унылая неповоротливость. И об иронии тоже лучше бы не говорить тому, кто не способен ни на что другое, кроме иронии. Упрекать мир в банальности — не менее банально. «На наш взгляд, критическое описание мира... давно уже утратило свою актуальность, и не потому, что оно неверно, а потому, что оно *нереально*, т.е. либо не предлагает способа преодоления банальности и цинизма, либо прячет его в долгий ящик утопии, либо проваливается из банальности мещанства в банальность терроризма, хотя задача, казалось бы, более чем проста: изгони банальность из себя».

Работа о Кушнере ветвится в десятки примечаний. Она написана в 1979 году, но выглядит как современный гипертекст со ссылками, ведущими чуть ли не от половины слов. И в то же время разговор не распадается, но через привлечение новых и новых мотивов выходит к единому образу статичного мира, где Одиссей решил стать Пенелопой, а предметы блестя только отраженным светом. А в других текстах Останин пользуется сосредоточенностью афоризма. «Дрожит, как осиновый кол».

Если стих (да, собственно, и любое важное и интересное событие) — это многозначность, многоголосье, то разговор о нем тоже можно разложить на голоса. Многие тексты написаны Останиным в соавторстве (с А. Драгомощенко, Б. Мартыновым, А. Кобаком, К. Козыревым и другими). Смысл возникает из диалога. Причем важно не только «что говорится», но и «кто говорит», «где говорит». Действительно, у каждого утверждения свой контекст, свои оговорки, и формально одинаковые фразы могут приобрести весьма различные значения. Разговор о стихотворении Ахматовой — это и странствие по культуре, и очередь за пивом. Предметность поддерживает мысль у многих авторов художественной литературы, от Мандельштама до Бланшо, Останин переносит это и в эссеистику.

Статья «Молния и радуга» о культуре 60—80-х годов имеет подзаголовок «опыт эмблемного анализа». Эмблемы-предметы помогают свернуть рассуждения в яркий образ — но не остановиться, а вновь разворачивать разговор, пользуясь также и ассоциациями, от этого образа идущими. «Эмблемы — своеобразные нити, на которые в ходе предварительного анализа мы нанизываем разрозненные культурные явления, с тем что-бы впоследствии расположить их в мозаичном пространстве синтеза».

Небольшие события могут быть знаками гораздо более общих. Так, в конце 70-х годов в СССР существенно увеличилось количество и качество издаваемых энциклопедий. Можно предполагать, что это было началом «времени собирать камни», знаком того, что культура хотя бы в какой-то степени пришла в себя после удара, и за отдельными прорывами началось спокойное освоение территорий. «Вот те особенности, которые мы считаем для 80-х существенными: энциклопедизм, историзм, интеллектуализм, цитатность, профессионализм, имперсональность, эклектика, деидеологизация, игровая ориентация, прикладные формы, теория «малых дел», эстетизм, гедонизм...». Путь от простого к сложному, от воли и чувства к памяти. Изменение ситуации прослеживается и по распространенным экспрессивным словам. Романтические «гениально» и «ситуация» 60-х годов сменило «как бы» 80-х. Способ высказать свою позицию, не навязывая ее собеседнику. Сигнал о бесконечности, сложности мира, о непреодолимости зазора между миром и словом — и одновременно о попытке эти бесконечность и зазор преодолеть.

Останин обращает внимание на то, что именно в 80-е вырос интерес к европейской интеллектуальной поэзии, такая поэзия появилась и в России (Драгомощенко, Жданов, Паршиков, Седакова). Разумеется, и в свободной культуре поворот произошел не у всех и в различной степени. Останин говорит о критике, «которой Д. Волчек подверг в «Митинном журнале» творчество В. Кривулина и Е. Шварц за чрезмерную социологичность и психологичность». (Показательно, впрочем, что Останин, отзываясь об этой критике, несомненно, одобрительно, одновременно посвятил анализу стихотворений Е. Шварц несколько глубоких работ. Почему бы любви не быть с оговорками? Может быть, перестав быть слепой, она становится только прочнее?)

Но важно, что изменилось само понимание возможностей литературы. «С 70-х годов постепенно выкристаллизовалось мнение, что поэзия (и шире — литература) не спасет мир, как не спасет его и красота, но это еще не повод от литературы и красоты отвернуться». Чрезмерные надежды ведут только к такому же пустому разочарованию. А ясное понимание пути позволяет надеяться на то, что на нем может открыться — и знать, в каких случаях необходимы иные пути.

Отказ от демонстрации собственной персоны — это и есть уважение к личности, потому что иначе не открывается доступ к личностям других. Быть серьезным — и одновременно уметь не принимать слишком всерьез собственные и чужие дела.

Останин представляет ту часть независимой культуры, которая стремилась не к совревнованию с официозом (откуда ирония и пародия), а — к независимости, этот официоз игнорируя. Полезный опыт в ситуации нового застоя. Скромность и точность. Постороннее, промежуточное существование. Принципиальная ориентация на незавершенность. Как и в советские времена, основная часть публикуемой литературы — стилистически усредненная, облегченная. Раньше — диктат идеологии, теперь — также и рынка, но результат один: знакомство с современной интеллектуальной литературой осуществляется усилиями одиночек. Таких, как Останин. Эрудированный редактор, не любящий

пустословия. Он старался и в самиздате поддерживать рефлексию, отклик, писал рецензии не только на художественные произведения, но и на критику. И, возможно, во многом именно благодаря независимости Останина, его нежеланию вписываться в какие-либо структуры премия Андрея Белого (при всех могущих быть заданными вопросах) остается одним из ориентиров для инновативной литературы.

Не молчать безмысленно и не шуметь по пустякам, слушать. «Шум является не абсолютной, а относительной характеристикой». Для того, кто настраивается на музыку, шумом является радиопередача, в которую мы вслушиваемся. Шум — то, что мы еще не поняли (или то, что уже поняли и в чем не нуждаемся). Так что — вслушиваться и в голос пятилетнего ребенка. Истина, конечно, не глаголет устами младенца — но какая-то часть ее может быть и там, а полностью ее нигде нет. «Максим, почитай о бароне Мюнхгаузене. Нет, я лучше почитаю «Скандинавские сказания», а то барон Митхаузен все обманывает, неправду говорит. А в сказаниях — одна правда: о богах, о том, как мир возник...». Тут и различие литературы и мифа, и влияние книжной среды на развитие человека, и этика, и улыбка, и еще много что. Или неочевидность выделения предметов и счета в «один воробей, другой воробей, трети два воробья...».

Конечно, далеко не все прогнозы 1986 года подтвердились. «Можно ожидать, что могучий консерватизм Православия укрепит социальную и психологическую устойчивость, ослабит значение личных прав в пользу личных обязанностей, усилит соборное начало с его принципом уместности каждого на своем месте». Консерватизм, в данном случае, оказался иного типа, работающий на унификацию, а не на разнообразие. Но песни Розенбаума в начале 80-х действительно предвещали нечто, напоминающее НЭП.

«Допустимо ли бытовую честность принимать за художественную правду?» — это тоже было сказано в 1991-м, до того, как «новая искренность» заполонила пространство от Москвы до Одессы.

А прежде чем упрекать кого-либо в бегстве от действительности, Останин предлагает упрекающему задуматься: такая ли уж действительность — государство, город, работа? Нет ли более значимого и реального для человека?

«Текст повышенного внимания» — так Останин определил интересную ему поэзию в предисловии к не вышедшей в свет антологии. Но так можно сказать и о его книге. Имея в виду и внимание автора к окружающему, и внимание читателя к тому, что удалось увидеть автору.

*Александр Уланов*

## **Ничего личного. Ничего лишнего**

**Лариса Щиголь.** *Вариант сюжета.* — СПб.: Алетейя, 2009.

В название вынесена цитата из послесловия Юрия Малецкого к книге стихов Ларисы Щиголь. Думаю, что это очень меткое определение поэтики этой книги, несмотря на то, что все стихи в ней — не только очень личные, но и написаны очень сильной личностью. Чтобы развязать это противоречие, закончу цитату: «Все мы тут были — и все там будем. Если уже не там. Где нас нет. Соблюдайте очередность».

Мы имеем дело с довольно необычной фигурой в нашей поэзии, и это тем важнее, что таких людей на свете должно быть немало, и если голоса их еще не стали хором, то только потому, что «такие» обычно молчат. Обломок, осколок — вот образ, который первым приходит мне на ум, когда я пытаюсь обобщить впечатление от книги. Родом с Украины — фрагмента рассыпавшейся головоломки, — пережившая разлуку с бросившим возлюбленным, сочиняющая даже не на обочине «большой» литературы, а на некоем оторвавшемся от нее метеорите, Щиголь вполне современница своих собратьев по веку — и тех, кто «здесь», и тех, кто «там», жителей —

Той страны, где нам удалось родиться,  
Но никто не сможет похвастать, что там и помер.

Чувство меры и человеческая порядочность не позволяют интеллигенту и умнице жаловаться в стихах. В случае же с Ларисой Щиголь можно говорить об удаче: в этой книге высокая доля поэтически безупречных высказываний о такой судьбе. Попытаюсь провести ревизию средств обороны, которые применяет и совершенствует «человек, оперевшись ладонью в висок».

Первое оружие — это юмор — по отношению к себе и своей ситуации. Вот так, например, поэт смотрит на свое пребывание в Германии:

Тоже, знаете, чуден Рейн при тихой погоде,  
И редкая палка долетит до его середины,  
Потому что их туда не бросают.

Это первое стихотворение книги, и оно начинается простым и ироничным стихом: «Я теперь живу — или что-то вроде». Констатация факта (ничего лишнего!) переходит в быстрое уточнение: не следует думать, что это и есть «жизнь», но и никакой обиды на мироздание в этом снижении тоже нет (ничего личного!). Во-первых, жизнь прекрасна (чуден Рейн), тем более здесь, в эмиграции («Я теперь *европейка нежная*»), а лучше всего то, что здесь у нас чисто и уютно, не то что на днепровских берегах. Поэт смеется не столько над пейзажем, сколько над тем, как сами просятся на уста сравнения с другим, родным пейзажем: смешно не жить, а сравнивать. Способность передоверить внутреннему оппоненту свой поэтический голос, не доводя его до истерики, сродни поэтике Георгия Иванова и Ходасевича. Это, пожалуй, та тональность русской поэзии, которую она обрела лишь с опытом поэтов-эмигрантов и которая оказалась чрезвычайно жизненной даже для тех из читателей, кому никогда не доводилось тосковать по родине.

Не удивляет поэтому такое же веселое и сухое, как костер, отношение и к своей житейской и женской неустроенности:

...А еще я, сударь, кормлю синицу  
Да мараю компьютерную страницу, —  
Ну а что мне, сударь, ночами снится,  
То наутро в памяти не хранится.

А с утра я чешу волоса густые  
Да украдкой гляжу в небеса пустые:  
Журавля не видать, а синица тоже  
Окончательно в руки нейдет, похоже.

Жалок и тот, кто ждет журавля, и тот, кто довольствуется синицей. Человек же «украдкой глядящий в небеса пустые», не предъявляя претензий и не отчаиваясь, вообще уходит от этой птичьей альтернативы. И здесь перед нами второй способ противостояния не только житейской ситуации, но и внутренней от нее зависимости. Это спокойное принятие ее как долга, тем более непререкаемого, чем необъяснимее его происхождение:

Так что же, выходит — вернуться? Едва ли —  
Пора уже жить по уму.  
Присягу мы, что ли, на верность давали,  
И если давали — кому?!

Тема возвращения в процитированных выше стихах связывается с довольно драматичным осознанием некоей волонтаристской выходки судьбы, забросившей куда-то, куда Макар телят не гонял, и не оставляющей человеку шансов на понимание причин. А значит, о какой присяге может идти речь, если изначально и не давалось никаких подписок о невыезде. Кто может обязать говорить правду, если ты не на суде и не давал присягу? И

вот тут выясняется, что «только правда и ничего кроме правды» означает: возвращения не будет, потому что отъезда и не было, никто никуда сам не уезжал. Если первой строкой в книге было «Здесь я живу — или что-то вроде», то последнее стихотворение книги кончается: «И обратно вернется вряд ли». Вся книга, таким образом, представляет собой повесть от «здесь и вроде» до «там и вряд ли». Повесть эта, при всех витиеватых и неожиданных отступлениях, радующих богатством форм и сюжетных ходов, основана не просто на приятии разных, часто очень грустных поворотов судьбы. В это приятие входит и *согласие* с Богом — негромкое, но твердое «да» (см., например, стихотворение «Вот, я смирилась с гладью да тишью»), позволяющее с тем же юмором и спокойствием ожидать и смерть. Приведу целиком следующее стихотворение:

Мне достался не худший клочок земли,  
 Чтоб смотреть на него в окно.  
 Тот, кто ангелу смерти прикажет: «Пли!»,  
 Сам любит им давно,  
 Кто рисует теперь для него кружок,  
 Выбирал цвета и цветы,  
 Может, Он ему скажет: «Постой, дружок,  
 Полюбуйся чуть-чуть и ты».

Это замечательно простое и ясное стихотворение, в котором малое (клочок, кружок, сама форма восьмистишия) обнимает огромное (Бог, ангел, смерть) и тем самым дает ему новую возможность заговорить с человеком на человеческом языке.

И, пожалуй, третий способ самосохранения — это отказ ото всего, что скверно пахнет: пошлости («Вы с ограды Летнего, что ли, сада / Кому надо поете, кому не надо»), лжи («А не кури. А не сори. / А не живи по лжи»), «выбора пепси» («А я, покуда хватает спеси, / Вбираю еще минеральную воду»), «видимости» любви взамен любви настоящей —

Я оплачу о тебе, отрыдаю,  
 Брошу вещи в чемодан как попало:  
 Я не то чтоб от любви пропадаю —  
 Но давно уже, наверно, пропала.

Жить кривя душой и подлаживаясь под обстоятельства, смягчающие действие совести, так же тяжело, как любить не любящего тебя: рано или поздно страдание разрушает самое способность воспринимать себя отдельной от причиняющего страдание.

И уеду от тебя на край света,  
 Ни звонка не удостоив, ни взгляда:  
 Раз не будет нам любви да совета,  
 То и видимости тоже не надо.

В стихах Щиголь не только напрочь отсутствует кликушество и жалость к себе, но автору хватает души и на прощение, и на нежность к друзьям (свидетельством тому множество посвящений). И еще мне представляется замечательным то обстоятельство, что в арсенале средств для спасения души в ситуации кораблекрушения Щиголь не берет в расчет поэзию. Ведь за «таким, с позволенья сказать стишком // Всю вселенную надо пройти пешком». В этом-то я и вижу серьезное отношение к стихам: они являются, перефразируя Бродского, «частью речи вообще», а не самоцелью. Поэтому можно предположить, что и в жизни Л.Щ. так же нелукава, иронична и добра, как и ее лирическая героиня: ценное и редкое соединение хороших качеств. Я рада тому, что имею возможность читать эти мужественные стихи. И вступить за такой достойный вариант обращения с сюжетом.

Мария Игнатьева

## Для людей о людях

**Михаил Гиголашвили.** *Чертово колесо.* — М.: Ад Маргинем, 2009.

Ломки, проколы, дозы, мацанки, наркоши, менты, барыги, партийные чиновники, насильники, проститутки, воры, грабители, лохи — вот круг вращения «Чертова колеса» Михаила Гиголашвили, в который затягивает автор своих героев, а вслед за ними и читателя. Раннеперестроечные годы в еще советской Грузии предстают перед нашим взором во всем ужасе реального содержания жизни. Но датировать события, происходящие в романе, на самом деле следует годами предыдущими, когда сформировался соответствующий уклад жизни, из которого вытекает все последующее.

Роман о коррумпированной советской Грузии? Несомненно. Роман о распаде Советского Союза? И об этом тоже. И в этом смысле Грузия оказывается увеличительным стеклом, призмой, сквозь которую вся страна в целом предстает перед читателем. Но не только об этом роман, и не только в этом дело. О чем же — будет сказано ниже.

Следует сразу же отметить одну характерную для романа Гиголашвили деталь: в этой книге среди ее многочисленных героев нет главных и второстепенных действующих лиц — каждая фигура на огромном полотне романа имеет свое важное место. Но перед нами — не холст, а вращающаяся диорама (чертово колесо), где каждая из фигур поочередно выходит на главный план, чтобы потом уступить место на авансцене следующей, а через некоторое время опять возникнуть перед читательским взором в ярком свете романного повествования. Эпизод сменяет эпизод, история перетекает в историю, сюжетные линии расходятся, чтобы вновь переплестись, и бесконечная вереница событий предстает перед нами непрерывной картиной жизни.

Что же при этом удивляет? Постоянная повторяемость описываемых коллизий должна бы создавать некую монотонность в читательском восприятии. На сотнях страниц объемного романа, казалось бы, происходит одно и то же: наркоманы ждут очередного гонца, отправившегося за дозой, страдают от ломки, в условиях ужасающей антисанитарии с постоянным риском для жизни варят траву, колются, впадают в эйфорию, чтобы вскоре опять пережить очередную ломку. Кажется — пройди читатель два-три круга (два-три поворота чертова колеса) повествования, он вполне пресытится этой историей, у которой, похоже, нет ни начала, ни конца, и заскучает. Но именно этого не происходит. Тут не до скуки.

Гиголашвили написал книгу, в которой психологический анализ происходит на пространстве остро закрученного, непрерывно разворачивающегося детектива, но отнести это произведение к детективному жанру можно ровно в той степени, в какой к жанру детектива относится «Преступление и наказание» (сказав это, тут же и вспомнил, что в свое время неординарная диссертационная работа Михаила Гиголашвили была посвящена некоторым аспектам творчества Достоевского).

Герои романа стремительно перемещаются из одного городского района Тбилиси в другой, мечутся в пространстве между Черным и Каспийским морями, преодолевают расстояния от узбекского кишлака до Амстердама, попадают из элитной квартиры в подвалы и на чердаки, их бросают в ментовские застенки и неожиданно легко оттуда выпускают, им грозят убийством, а они убивают своих потенциальных убийц, они верны дружбе и родственным связям, но их предают, и они предают других тоже, они любят и коверкают судьбы любимых — так они живут! Трагические ситуации оборачиваются смешным фарсом, комические внезапно перерастают в трагедию. Выясняется, что с каждым поворотом чертова колеса знакомые лица видятся в новом свете, что внешний ход повторяющихся событий обретает иную внутреннюю основу, что круги эти вытягиваются в линию человеческой жизни — страшной, подчас уродливой, но единственной и потому неповторимой жизни!

Создавая картину этой жизни, творя масштабное полотно, автор не берет на себя права судить своих героев. За что и как судить их, живущих по законам окружающего мира? Автор не дает и своих оценок героям и их поступкам, оставляя и это право читателю. Впрочем, есть ли у читателя время судить и оценивать? Его, читателя, ни на чью сторону не пригласают — пусть только поспевают за течением романного времени, те-

чением жизни. А потом уже оценивает и судит. Если возьмет на себя такое право. У Гиголашвили нет отрицательных или положительных героев. Это живые люди, поставленные в определенные житейские условия в ситуации, когда кажется, что других условий жизнь им и не предлагает. Или предлагает?

Действительно, неужели все мужчины — молодые и старые — подвержены наркотическому недугу и скатываются к уголовщине или обречены стать ее жертвами? Все женщины — наркоманки и проститутки? Все менты — те же уголовники, насильники, обладающие властью подонки? А все Большие Чины — покровители и тех, и других, и третьих, на них же, на сломе их судеб создающие свое благосостояние, за их счет укрепляющие свою власть, которая в этом замкнутом круге чертова колеса завершается той же гибелью? На первый взгляд ответ очевидный — далеко не все. Но это лишь на первый взгляд.

Дело в том, что, если Грузия и ее реалии, как уже было сказано, призма, сквозь которую — большое сквозь малое — просматривается образ всей огромной страны, то метафора криминально-наркотического образа жизни в романе Гиголашвили — образ окружающей жизни вообще, жизни во всех ее проявлениях.

Распад наркотического сознания индивидуума. Вдумайся, читатель! Ведь следовало сказать: «распад сознания индивидуума под воздействием наркотика». Да нет! Никакой смысловой ошибки. Это сознание уже было наркотическим. Недуг, который поразил всю страну, все общество. Недуг безволия, обреченности, убежденность в детерминированности хода событий. Невозможность сопротивления, невозможность влияния на житейскую реальность. Взгляд рядового маленького человека? Но разве Большой Чин не втянут в этот круговорот событий? Разве он волен что-то изменить? Когда наркоман ворует опий у ментов, когда менты гоняются за наркоманами, чтобы ограбить их и пустить тот же опий в новый, обогащающий ментов оборот, чтобы не только самим откусить от дозы, но и отстегнуть положенное Большим Чинам, которые, чтобы занимать свои должности, должны отстегивать Еще Большим Чинам... Все, все втянуты в этот порочный круг, из которого нет никому выхода. И единственное, что устраивает всех, — это четко сформулированные правила жизни-игры, где каждый знает свой ход и свое место. Будь он рядовой работяга, которому «пудрит мозги» телевизионная картинка, внушающая убежденность, что жизнь его замечательна. Будь он мент, смысл работы которого, как видим, не борьба с уголовщиной, а контроль над ней, ведущий к незаконному обогащению бюрократов закона. Будь он партийно-комсомольский чиновник, следящий за тем, чтобы менты охраняли благосостояние, обеспеченное его властью, и понимающий, что система определенным образом ограничивает это благосостояние, поэтому с долей положенного риска он может укрепить его, вступая в сложные отношения с криминальным миром, находящимся под ментовским контролем... Это и есть круг наркотической зависимости, плен наркотического сознания. Это и есть Советская власть — идеально работающая, хорошо структурированная мафиозная система!

Не по молодости ностальгирует бывший советский человек. Он тоскует по ровному течению дней, по предсказуемому ходу вещей, по отсутствию необходимости думать, решать, действовать, потому что все равно все решат за нас, так зачем же выходить из этого мерцающего состояния иллюзорной жизни?! Только бы дефицита поменьше, колбасы побольше, тряпок... Вот и наркоманы в романе тоскуют, один по поводу проблемы добычи наркотиков в советской стране (ему, видимо, мерещится абстрактная западная свобода с разлитым морем наркоты), другой вспоминает, что были времена, когда морфий в аптеках продавался (читай: путевки в пионерлагерь, в дом отдыха, концерт в Доме культуры). Вот и менты тоскуют о Сталине, когда печь дела было легче и проще. А теперь, мол, все сломано. Сломано ли? Но ломку-то приходится переносить всем, и не все ее способны перенести, оттого и нуждаются в привычной дозе. Так надо ли было ломать наркотическое сознание страны, ломать страну, подвергать ее распаду?

Неужели роман Гиголашвили об этом — о ненужности перемен? Да нет, конечно же! Ведь не о перестройке роман, а о том безвоздушном пространстве, в которое превратилась советская жизнь и которое перестройка окончательно обнажила. Не перестройка привела к распаду советского образа жизни, а сам этот образ жизни давно уже распался внутри себя. Но роман Гиголашвили в гораздо меньшей степени написан и об этом загнивании прежней системы и прежней страны.

В романе прочитывается то, о чем я пообещал сообщить читателю ранее. О мечте хозяев прежней жизни стать настоящими хозяевами жизни иной. Они ведь тоже устали от прежних мафиозных отношений, ограничивающих их возможности. Большой Чин отличен от другого Большого Чина — умом, образованностью, жизненной силой, способностью к принятию решений, прочими разнообразными — как положительными, так и отрицательными — человеческими качествами (еще и не всегда поймешь, какие из них к каким же отнести), — но уравниловка среди Больших Чинов — обязательное идеологическое условие системы, и — вынужден повториться — обязательное ограничение возможностей — тоже.

И менты, а с ними и все иные носители форменного обмундирования тоже устали от взаимного контроля, от необходимости обогатиться тайно, необходимости таить свое обогащение, при этом принципиальной разницы между майором-дураком и майором-умником никакой не обнаруживается, ибо в рамках системы они равны.

А что, вор не отличается от вора? Один более дерзок, умен, другой — артистичней, изворотливей, третий и не вор вовсе, а бандит — жестокий и примитивный, и все должны быть равны в рамках системы?

Конечно, должны. На то и система. А главное — Большие Чины, менты и прочие носители мундиров, воры тоже равны между собой, потому что все они — воры, все они шестеренки единого механизма, и все заняты одним — обворовыванием прочего быдла, которое и существует для того, чтобы его обкрадывать. Но проблема в том, что его, это быдло, нужно с одной стороны подкармливать, чтоб оно дило свое существование, и нужно заставлять работать без особых стимулов. Проблема и в том, что, будь ты мелкий урка, завмаг, директор фабрики, участковый, будь вор в законе, министр, партийный босс, твое благосостояние держится на перманентном обворовывании прочего населения страны, то есть ты — нарушитель идеологических формул системы, тебя же кормящей. То еще чертово колесо! Замкнутый чертов круг!

Разорвать его можно только одним способом: стать настоящими хозяевами жизни. Приватизировать страну, ее ресурсы, сырьевые, производственные, в каком-то смысле — человеческие. Украсть сразу и много! Хапнуть!

Пусть либеральный интеллигент рыдает о не туда зашедших реформах. Те, кто их задумал и осуществил, успеха достигли. Были ли варианты, иные пути, были ли вообще иные осмысленные цели? Роман Гиголашвили их увидеть не дает. И в этом страшный смысл будто бы бессмысленного в своем круговороте романного сюжета. Униженные и оскорбленные, как и прежде, одни болеют, другие тянут сроки, третьи доживают в нищете, четвертые гибнут. Другие, достигшие своей цели, уже не стыдятся того, что владеют награбленным, охотно демонстрируют это. Впрочем, и у них нет гарантий — от тюрьмы, сумы и пули киллера не зарекайся! Система себя успешно видоизменила, но никуда не делась!

Выхода из этого круга не предвидится. Чертово колесо крутится!

Михаил Гиголашвили написал свой роман не вдруг, прежние его книги были подступами к нынешней. Мы получили портрет времени, выходящий за временные рамки романа, потому что романские коллизии сложились задолго до описываемого перестроенного периода, а перспектива развития этих коллизий достигла нашего времени. От семидесятых до десятых — реальный путь отобразенной в «Чертовом колесе» жизни. Если же додуматься до страшного — роман стоит вне времени, в нем — содержание времен.

У книги Гиголашвили — особое место еще и потому, что при несомненном исполнительском мастерстве, с которым воплощен авторский замысел, роман обладает достоинством, которое так редко встречается нынче в серьезной литературе, — он не является труднодоступным для восприятия широким кругом читателей. Впрочем, это писательское кредо Михаила Гиголашвили — писать хорошо, писать о людях и для людей. Интересно, оценят ли это жюри, скажем, Большой книги или Русского Букера?

*Даниил Чкония*

### «...Незаменимое и непокупное для моей души...»

**«И только правда ко двору».** Материалы Четвертых Твардовских чтений. — Смоленск: Маджента, 2009.

Пять лет назад в Смоленске начались общественно-научные Твардовские чтения, которые ежегодно проводятся в декабре, в дни памяти поэта. По их материалам выпускаются сборники, рецензируемый — уже четвертый\*.

Главным материалом этого выпуска, безусловно, стала публикация пятнадцати писем, написанных Твардовским в 1956 и 1959 годах из Сибири, Дальнего Востока и Приморья жене и младшей дочери.

Каждое новое свидетельство о жизни и творчестве великого писателя драгоценно, будь то воспоминания современников или неизвестные документы. Событиями были публикации в предыдущих сборниках писем жены Александра Трифоновича, Марии Илларионовны, писем Василя Быкова к поэту и полный текст стенограммы выступления Твардовского на втором съезде писателей Белоруссии 22 июня 1949 года.

Появление же неопубликованного слова самого Твардовского — событие вдвойне. Эти письма, подготовленные к публикации дочерьми Александра Трифоновича, Валентиной Александровной и Ольгой Александровной, действительно, как отмечается в предисловии, стали на время поездок по стране его дневником, и так же, как дневник или рабочие тетради, они емки, объемны, многоаспектны, наполнены как непосредственными впечатлениями, так и размышлениями о проблемах, волновавших поэта многие годы.

Интерес Твардовского к масштабному строительству был интересом государственно-го человека. Ощущая всю значимость совершающегося на его глазах индустриального переворота, он был под впечатлением, которое, как он пишет, «просто гремит во мне»: перекрытие Ангары, работа Иркутской ГЭС... «Впечатление очень сильное», — записывает он и сокрушается, что «записать трудно, т.к. очень много специального, едва схватываешь понятием эти роторы, генераторы, турбинный вал, потери, — грандиозно, внушительно». Однако прежде всего он думает о людях, «уже два года живущих в палатках (зимой и летом)», и восхищается ими: «И люди, которых видел, — такие славные в своей спокойной и горделивой усталости и как бы неторопливом напряжении». И сравнивает их с солдатами: «Очень напомнили мне солдат переднего края», — что в его устах всегда было признанием героизма и высокого служения. (Вспомним его известное сравнение полета Юрия Гагарина с подвигами солдат на войне.) Образ-сравнение стройки с войной развивается и усиливается благодаря наполнению текста звуками, характерными для военных действий. Он «потрясен» «работой экскаваторов, плюхающих своими ковшами в воду (это подобно разрыву бомбы или снаряда в воде) и загребующих оттуда галечник с песком и глиной и выносящих его далеко в сторону со скрежетом, рокотом, лязгом, чохом и вздохом». В письме из Иркутска 8 июля 1956 года, сразу же после наблюдения за снятием перемычки на Ангаре, Твардовский как бы примеривается: «картина настолько внушительная и новая для меня, что еще и не представляю себе, куда и где это ляжет у меня». Впечатление от перекрытия Ангары легло в строчки главы «На Ангаре» поэмы «За далью — даль». А поездка из Иркутска в Братск по дороге, где ставили линию электропередачи, стала основой для создания стихотворения «От Иркутска до Братска», в котором вновь появляется сравнение работы с войной: «От Иркутска до Братска / Фронт держался на них...». (Во время войны во многих произведениях он в свою очередь сравнивал войну с работой.)

В двух письмах 1956 года Твардовский, стараясь передать потрясение увиденным, дважды использует столь нехарактерный для него прием, как оксюморон: «Вчера был очень потрясен видом ночной стройки, *жуткой этой и красивой реки*». И далее: «Оттуда — вид на все это чудесное безобразия, с отчетливыми уже его краями и центрами, передать поис-

\* «По праву памяти живой...»: Материалы Первых Твардовских чтений. — Смоленск: Маджента, 2006; «Все на русском языке...»: Материалы Вторых Твардовских чтений. — Смоленск: Маджента, 2007; «Тем крепче память о семье»: Материалы Третьих Твардовских чтений. — Смоленск: Маджента, 2008.

тине не могу» (выделено мною. — С.Т.). И будто вздохнул, не переводя дыхания, описывает: «Чтобы только сказать — все это — вода, черные тени огромных журавлей экскаваторов, порталных кранов, огни в линию, и вразброс, и гнездами; и шум, и блеск воды, и неторопливое как бы движение всего внизу, — что-то торжественное, тревожное и вместе спокойное, буднично-рабочее грохотанье, повороты и развороты, — ну, хватит».

Перед поездкой в Братск поэт предвкушает: «дорога, говорят трудная», «но зато интересная»; а после подтверждает: «Поездка в Братск была трудной, но бесконечно интересной». И не только интерес, но и гораздо более сильное чувство душевной наполненности звучит в его признании: «Нет, несмотря на все трудности, неприятности (мелкие) и издержки моей поездки, я очень верно поступил, что поехал. Так ли, сяк ли, а уж это все незаменимое и непокупное для моей души, — она вообще не может без прикосновения к самой низовой жизни как-нибудь трепыхаться».

Поэт — не сторонний наблюдатель, не заезжий гость. Он вникает в подробности строительства Иркутской ГЭС. Его волнует необходимость заимствования добавочной воды у Байкала: «Что-то тут не так — с проект. мощностями ангарских станций, со всем хозяйством». Твардовский всерьез задумывается об этой проблеме: «На Байкал еду потому, что решил разобраться в проблеме обмеления и загрязнения его как следует. Может быть, вмажусь в это дело». Он даже заранее хочет договориться о выступлении в газете «Правда», хотя не встречает там энтузиазма. И успокаивается только тогда, когда узнает, что строительство «не принесет существенного ущерба флоре и фауне Байкала». Твардовский пишет стихотворение «Байкал» (неслучайно оно передельвалось несколько раз), которое тогда же было опубликовано в «Правде» и в котором он высказывает и свое восхищение «могучей сказочной красотой», и уверенность, что «дела индустрии великой — твой день сегодняшний, Сибирь». Однако характерно, что в окончательном варианте, при публикации, он дописал еще одну строфу, в которой выразил надежду:

Но эти царственные воды,  
Но горы в сизой полумгле, —  
Байкал — бесценный дар природы —  
Да будет вечно на земле.

Видимо, осталось в душе поэта недоверие к людям, от которых зависело будущее Байкала. (Надо заметить, что его опасения были оправданы, как показали и события: строительство целлюлозно-бумажного комбината на озере — известный кинофильм «У озера», вышедший в 1969 году, стал выражением мнения общественности на этот счет; дальнейшее обмеление Байкала и закрытие комбината.) Проблемы экологии, которые в 1959 году еще не имели названия, тем не менее уже заботили Твардовского.

Поездка в том же году во Владивосток пробудила новый интерес Твардовского и к «необычайной красоте» края, и к людям «самоотверженной, подвижнической жизни в нелегких условиях отдаленных мест (подлинного края земли)», отношение которых к поэту, как он замечает, было «до трогательности хорошее». И сам он не мог не ответить на это душевным теплом, хотя и упоминает об усталости от «обзорных» поездок и раздражении на тех, кто ему мешал: «Вторая мука поездки — это многочисленность всяческих корреспондентов, литераторов и операторов, — буквально... Какой это в большинстве наглый и беззастенчивый люд». Но эти трудности, как он сам пишет, — «мелкие».

Как и в «Рабочих тетрадах» разных лет, в письмах Твардовский много говорит о природе, плывет ли он по Ангаре и «наслаждается красотой ее берегов», или совершает по Байкалу «чудесную прогулку на катере вдоль западного берега в северном направлении»: «Красотищи насмотрелся великой, отдохнул, подышал чудесным байкальским воздухом». Но не только красота пейзажа волновала поэта. Глазами заинтересованного хозяина он смотрел вокруг: «Очень, очень все любопытно — даже при таком обзоре из окна вагона. Сейчас уже меняется тайга, больше лиственных пород, больше открытых полей, и вообще пейзаж становится как бы культурнее и ближе общерусскому». И далее: «Это — чудно, необыкновенно, как вдруг угрюмость и неприютство вост[очно]-сиб[ирск]ой тайги сменяется тайгой парковой, пейзажем прямо-таки иконописным, — этикие округлые купы в лучах, кудрявые горы и т.п.». И этот новый для него мир он хочет сделать своим,

постоянно находя аналогии с природой и бытом мира детства и более поздних впечатлений: «И жильё, поселки, садики, палисадники — все ближе к Украине и Европе, чем даже к нашей полосе». Владивосток — «город необычайной красоты» — он сравнивает и с Ялтой, и со Стокгольмом, а погода напоминает ему и «ленинградскую пасмурную» погоду, и «чудную, южную, мягкую пасмурную погоду».

Внимание к деталям, столь характерное для поэтики Твардовского, проявляется и в описаниях, наполняющих письма. Это и «пчелиная тайга (по преимущ. липовая, душная, пахучая, звенящая от пчел)», и Уссури — «быстрая, ледяная», в которую он, любитель купания (о чем свидетельствуют записи в «Рабочих тетрадах»), «разок окунулся», и уважительное упоминание о мужском монастыре, «где монахи создали до 30 различных производств», и явно восхищенное о нарзане: «я его попил в охоту, не даром нарзан — это по-тюркски — богатырь воды». При этом все время звучит озабоченность: «Жаль, что все это не в полной мере используется и охраняется».

В письмо, адресованное младшей дочери Ольге, которая в то время еще училась в школе, но уже готовилась стать художником, Твардовский вложил огромное желание доставить дочери удовольствие, подробно и ярко описывая «чудо-картины горной приморской тайги». Твардовский много думал о людях: и тех, кто его сопровождал, и тех, кто встречался в пути, и тех, кто жил в этих местах и составил их славу: В.К. Арсеньев, Дерсу Узала, Лазо. Постоянно с ним в путешествии были воспоминания об А. Фадееве, который жил в детстве и юности в Приморском крае.

Есть в письмах поэта и мотив, который звучит постоянно в «Рабочих тетрадах» и здесь не отпускает его. Это думы о возрасте и времени. Рассказывая, как поднимался на большой шагающий экскаватор, он полушутливо замечает: «300 ступенек дались моему стариковскому сердцу очень легко, потому что чудный свежий речной воздух, легкий наклон, и я не спешил». И — редкое замечание Твардовского, которому свойственны сетования на старость: «Чувствую себя здоровым и несмотря на рубеж, отчеркнутый 21 июня (день рождения поэта. — С.Т.) (об этом я сказал одному Фоменке В.Д., кот. был в Б[рат]ске), помолодевшим». Это свидетельство того душевного подъема, который он обычно испытывал во время поездок по стране. Несколько раз в письмах и 1956, и 1959 годов Твардовский повторяет: «Одно скажу, что я доволен, что, наконец, добрался сюда, и уже кажется невозможным и странным, что раньше здесь не побывал». Для контраста по настроению приведем его замечание в одном из писем о запланированной поездке в Америку, которую он долго откладывал: «В Америку, так и быть, я бы уж съездил смеху ради».

Родина, и большая, и малая — определение, счастливо найденное Твардовским и давно вошедшее в наш обиход, — были интересны и важны Твардовскому-поэту и Твардовскому-государственнику, он, как никто другой, болел за них всем сердцем и имел право сказать:

Я жил, я был — за все на свете  
Я отвечаю головой.

Письма Твардовского — как волшебный клубок: потянешь за ниточку, и раскручиваются узелки воспоминаний, вывязывается узор образов и мотивов его творчества...

Из других материалов сборника нужно отметить статью «Пусть не слышен наш голос, — вы должны его знать»: Александр Твардовский в памяти поколений» профессора Смоленского государственного университета В.В. Ильина, который проанализировал многолетнюю работу научных центров по изучению творчества поэта, обратив особое внимание на деятельность воронежского центра во главе с В.М. Акаткиным, которому в 2009 году была присуждена премия имени А.Т. Твардовского.

Несомненный интерес представляет и статья московского критика и литературоведа А.М. Туркова «Александр Твардовский. «Приусадебный участок» — это выступление человека, близкого Твардовскому по духу и образу мыслей.

И еще об одном человеке надо сказать в связи с Твардовскими чтениями — это журналист П.И. Привалов, главный организатор Твардовских чтений, чьи статьи в сборниках Чтений и журналах «Смоленск» и «Смоленская дорога» — эмоциональные, заинтересованные, порой очень острые высказывания о современном восприятии творчества Твардовского.

## **Ахматова, англичанин и сексотки**

**И. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова.** *И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин.* — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; ООО «Драйв», 2009.

«И это было так», а не так, как написал в своих широко известных воспоминаниях И. Берлин, которого его коллега Г. Харди в приложенном к рецензируемой книге эссе о нем назвал истинным ученым, но не отличающимся точностью. О чем-то он сознательно умалчивал, чтобы не навредить своей великой собеседнице, жившей в СССР.

Безусловно, встречи с Ахматовой в конце 1945 года британского дипломата российского происхождения, первого за многие годы человека «оттуда», наложили неизгладимый отпечаток на все ее творчество двух последних десятилетий. Он стал главным адресатом ахматовской лирики и как бы заместителем ряда прежних адресатов, важнейшим собирательным образом, а также основным прототипом «Гостя из будущего» в «Поэме без героя». Об этом — уже не только многочисленные труды наших и зарубежных литературоведов (или дилетантов), но и поэма Джона Столлворти «Гость из Будущего» (Манчестер, 1995), радиопьеса Жана Бинни «Ночной визит» (прозвучала на Би-Би-Си в 2000-м), опера «Гость из Будущего», с успехом прошедшая на сцене нью-йоркского Камерного театра «Девять кругов» в 2004 году. Но новонайденные документы проливают во многом другой свет на эту трогательную историю. Выяснилось, что «встреча, которая дала Ахматовой и Берлину чувство высокой свободы, в каком-то смысле обернулась для них ловушкой, потому что оказалась объектом наблюдения стукачей — тех, кто считался близкими друзьями Ахматовой, вызывал ее на откровенность и тем самым обеспечивал себе возможность выполнять тайное задание НКВД <...>». В книге рассказывается о двух незаурядных женщинах трудной судьбы, которым не дали себя реализовать, которые сломались, позволили себя завербовать в сексоты и доносили на Ахматову, хотя понимали масштаб и культурное значение этой творческой личности, — о переводчице Софье Казимировне Островской и библиотекарше из ученых-востоковедов (ученице второго мужа Ахматовой В.К. Шилейко и профессора А.А. Миллера) Антонине Михайловне Оранжевской. Одной из жертв доносов последней был Д. Хармс. «Дневник Островской дает основания утверждать, что она имела прямое отношение к аресту В.С. Срезневской, Т.Г. Гнедич...». Срезневская — самая близкая подруга Ахматовой с детства. В ахматовский цикл «Венок мертвым» входят как ее эпитафия, так и эпитафия «Памяти Анты», то есть А. Оранжевской. О секретной службе Островской Анна Андреевна постепенно стала догадываться. «Но, как вспоминал Иосиф Бродский, Ахматова всегда предпочитала общаться с осведомителем не дилетантом, а именно профессионалом, который «донесет все ему сообщенное в точности, ничего не искажая».

Она не прервала резко отношений с Островской — сила этого магнита ослабевала постепенно». Анту она не раскусила при всей своей пронизательности.

О визитах И. Берлина следователи спрашивали арестованных в 1949 году Н.Н. Пунина, Л.Н. Гумилева, директора ленинградской Книжной лавки писателей Г.М. Рохлина (в этой лавке, по традиционной версии, литературовед В.Н. Орлов предложил Берлину нанести визит Ахматовой), который был осужден за «шпионаж» на 25 лет. В 1950 году министр госбезопасности Абакумов делал Сталину представление на арест Ахматовой. Тот предпочел копить на нее материал, держа в заложниках вновь осужденного сына. Агентурные данные на Ахматову собирались еще пять лет после смерти диктатора.

Авторы книги вычислили, сколько раз посещал Ахматову Исайя Берлин в ноябре 1945 — начале января 1946 года, установили точные даты, расписали пребывание любопытного английского подданного в Ленинграде по часам. Они опровергают версии о том, что Берлин до этого ничего не знал об Ахматовой и попал к ней случайно, а также о том, что первый его визит к ней был прерван криками сына У. Черчилля Рандольфа, потерявшего в лице «Айзайи» переводчика, прямо под окнами Фонтанного Дома: наверняка и он хотел познакомиться с Ахматовой, но был задержан на вахте, не пропущен во двор, Берлина же вызвал из квартиры Пуниных и Ахматовой по телефону. В воспоминаниях Берлина авторами книги отмечены и фактические ошибки, а не только маловероятные объяснения событий.

Впервые ахматоведы сообщают ранее отмечавшийся лишь историками факт: хотя секретарь ЦК ВКП(б) Жданов еще в 1940 году предпринимал враждебные Ахматовой действия, не он был инициатором разнузданной кампании, развязанной в августе 1946-го против журналов «Звезда» и «Ленинград» и персонально против Зощенко и Ахматовой, но вместе с тем стал главной агрессивной фигурой в этой кампании. Она задумывалась соперниками Жданова в Политбюро ЦК Маленковым и Берия с целью дискредитировать его людей, оставленных им у власти в Ленинграде, а через них самого Жданова и вообще возможных преемников Сталина из числа ленинградцев. Жданов поспешил лично развить положения принятого постановления ЦК. «В своих докладах Жданову удалось перенести акцент с обвинения ленинградских партийных лидеров на обвинение ленинградских писателей, в первую очередь Зощенко и Ахматовой, в чьей (так. — С.К.) адрес он обрушил площадную ругань. <...> При подготовке докладов Жданов ознакомился со справками МГБ с грифом «Совершенно секретно» на Зощенко и Ахматову, составленными по агентурным данным». Видимо, опытный партаппаратчик понимал, что на этот раз они подвернулись под удар именно как ленинградцы. «Агентурные материалы Жданов в докладе использовал минимально <...>».

Авторы книги проследили всю историю заочного общения Ахматовой и Берлина, рассказали об их последней встрече в Лондоне в 1965 году.

В издании допущены досадные опечатки, не всегда правильна пунктуация. Повторена распространенная ошибка: Лев Гумилев назван «сыном дворянина». Его отец был объявлен дворянином лишь в газетном сообщении о расстреле участников «таганцевского заговора». Зато новыми фактами книжка богата и обильно иллюстрирована.

*С.И. Кормилов*

## н е з н а к о м ы й   ж у р н а л

### Журнал в библиотеке

**Сура:** журнал современной литературы, культуры и общественной мысли (Пенза). — 2009, №№ 1, 2.

**Ч**тение в современной России не то чтобы перестало быть привлекательным, но видоизменилось настолько, что российские библиотекари уже несколько лет находятся в недоумении: куда делись читатели самой читающей страны мира? А они никуда не делись. Количество людей, имеющих ежедневную привычку к чтению, осталось примерно на том же уровне, что и в советские времена. Просто большая часть читающей интеллигенции переместилась в Интернет, где информации намного больше, чем в любой районной или областной библиотеке, а ее доступность и оперативность не идет ни в какое сравнение даже с самым опытным и знающим специалистом. Чтение не стало менее интенсивным, оно просто поменяло формат. Все чаще в библиотеку приходят только тогда, когда нужный источник недоступен в электронном варианте. Поэтому в современных условиях библиотека не ограничивается только ролью книжного хранилища. Сейчас все чаще библиотеки вынуждены становиться комплексными культурными и досуговыми центрами, где посетитель может не только почитать книгу, но и послушать музыку, посмотреть фильм, выйти в Интернет, посетить выставку картин, скульптур, стать участником различных клубов по интересам. Да и привычный термин «читатель» теперь повсеместно оказался заменен на «пользователь». В этих условиях практически при каждой более-менее крупной библиотеке начинают образовываться читательские организации разнообразной направленности, от клубов пенсионеров до литературных студий. И довольно часто результатом работы таких объединений при библиотеках становится книжная продукция — сборники, альманахи, журналы.

Выходящий в Пензе с 1991 года журнал современной литературы, культуры и общественной мысли «Сура» (главный редактор Борис Шигин) по содержанию и оформлению выглядит толстым литературным журналом, в котором обычно публикуются члены

местного СП. Но есть у него одно существенное отличие от провинциальных собратьев. Дело в том, что этот журнал уже многие годы издается на базе Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Тон в журнале задают авторы, которых принято называть состоявшимися, многие из них являются членами Союза писателей России. Стихотворения и проза вполне добротные, написанные в традициях реализма. Много произведений о противоречиях современности, об историческом прошлом России, о противостоянии добра и зла, об утраченных моральных ценностях. О событиях 30-х годов в советской деревне, об истреблении крепкого крестьянского хозяйства, о вынужденном сопротивлении насилию со стороны властей пишет Евгений Мягкова в повести «Зарастет иван-чаем...» (2009, № 2), об изнанке и показухе комсомольских строек на 101-м километре от Ленинграда, куда выселяли уголовников, — Любовь Ковшова («На 101 километре», 2009, № 1).

Привлекают внимание полуфантастические, полусказочные рассказы Ларисы Рябушевой («Шляпка» и «Золотое яблоко», 2009, № 10). С одной стороны, совершенно невероятные по сюжету и детские по восприятию, а с другой — очень мудрые и добрые — о шляпке, ставшей женщиной; о золотом яблоке, которое нужно раскусить, чтобы стать богатым; в общем — о смысле прожитой жизни.

Молодые, которым в журнале выделено свое место в рубрике «Дебют», по большей части продолжают классические традиции старших товарищей, как тематически, так и стилистически. Вот, например, студент-социолог ПГПУ Евгений Шувалов, современный певец деревни, сегодняшний Есенин:

Утро в петушиной перекличке  
Алой тканью застилает землю,  
Зажигает солнечные спички,  
Освещая выцветший плетень

В журнале печатается довольно много краеведческих материалов. Олег Савин («Земля делится кладами...», 2009, № 1) информирует читателя об ископаемых предметах старины, найденных на территории Пензенской области с конца XIX века, о тайниках и кладах, обнаруженных случайно или в результате целенаправленных поисков «черных» кладоискателей. О пензенских страницах жизни героя-панфиловца Василия Ключкова, служившего до войны бухгалтером в Пензенской области, рассказывает Валерий Ганский (2009, № 1). Достаточно большое внимание в журнале уделяется культуре Пензенского края, здесь можно увидеть статьи о проблемах театральной и музыкальной жизни, рецензии на книги местных писателей, объявления о творческих конкурсах и фестивалях.

Но все же назвать его целиком и полностью ориентированным на местных авторов и местные события нельзя. Думаю, не ошибусь, предположив, что жители Пензы, как, впрочем, и жители Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, да и многих других провинциальных городов, не очень охотно читают произведения местных авторов и не очень хорошо знают писателей, живущих с ними в одном городе. Поэтому журнал «Сура» пытается представить писателей пензенского края в одном контексте с другими провинциальными культурами — самарской (Евгений Семичев, Лариса Рябушева), екатеринбургской (Майя Никулина), Кировской (Светлана Сырнева). Насколько удачен выбор авторов из других регионов, наверное, лучше судить читателям, но нужно отметить, что названные имена достаточно популярны в определенных литературных кругах этих регионов.

Из явных неудач журнала можно отметить произведения для детей из рубрики «Сура» — читаем всей семьей». Давно уже известно, что для детей пишут как для взрослых, только лучше. Наверное, хороших детских писателей в современной России вообще не так уж много, но то, что выдается за детское чтение в «Суре», вряд ли будет с восторгом прочитано детьми. Рассказы для детей Ларисы Яшиной к детскому чтению не имеют никакого отношения. Это обычные житейские наблюдения автора, довольно трогательные истории об отношениях людей и животных, но язык, которым эти наблюдения описаны, для детского восприятия будет слишком вязким и тяжелым. В целом довольно не-

плохие ироничные и легкие стихи Владимира Юракова («Веселое естествознание», 2009, № 1) зачем-то даны в обрамлении псевдонаучных разговоров об устройстве мира. У автора, конечно, был хороший замысел соединить развлекательное и познавательное чтение, но, боюсь, дошкольник не будет слушать (а тем более читать) скучные фразы из учебника о фотосинтезе или эволюционной теории, а стихи Владимира Юракова могут существовать совершенно отдельно, без подпорки в виде научных разъяснений:

С облачка на облачко...  
 Голова чуть кружится.  
 С облачка на облачко —  
 Я скачу по лужице!  
 Дяденьки и тетеньки,  
 Вы не стойте близко —  
 Облачком нечаянно  
 Вас могу забрызгать.

Однако эта попытка сделать журнал универсальным по читательскому назначению заслуживает всяческих похвал.

Совершенно отчетливо прослеживается и еще одна тенденция — журнал явно избегает авангардных явлений и тенденций, игнорируя ту молодежь, которая пишет в ином стиле, оценивает события с иных гражданских и эстетических позиций, чем это принято у старшего поколения. Очевидно, для подобной литературы в Пензе существовал журнал «Читатель», в котором публиковалось все неформальное, неоднозначное, словом, то, что является неформатом для журнала «Сура». Наверное, такая позиция оправдана, недаром же поэт сказал о коне и трепетной лани, которых нельзя впрягать в одну упряжку.

У журнала хорошая полиграфическая база (он входит в структуру редакционно-издательского комплекса Пензенской областной библиотеки), квалифицированный штат сотрудников и состав общественного совета. Может быть, именно поэтому журнал «Сура» — единственный из мне известных провинциальных литературных журналов имеет постоянную рубрику «Библиотека: Новая реальность», в которой можно прочесть статьи о современном состоянии библиотек Пензенской области, об исследованиях чтения. Например, статья библиотекаря Светланы Хейкинен «В поисках инжекторного двигателя, или Библиотека для мужчины», сумевшей, казалось бы, сухие и скучные статистические данные о чтении в гендерном отношении изложить увлекательно и живо.

Можно сказать, что журнал «Сура» востребован определенной частью литературной общественности города Пензы, у него статус официального издания, его поддерживают администрация города и библиотеки. Поэтому позитивная роль библиотек в организации литературного процесса в провинциальных городах России может быть довольно значимой. Очевидно, что многое зависит от общей направленности коллектива и руководства библиотек на развитие творческих способностей своих читателей.

Галина Ермошина

## Н И Д Н Я   Б Е З   К Н И Г И

**Ильдар Абузяров.** Курбан-роман: рассказы. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009.

**О**рнаментальная проза Ильдара Абузярова осторожно продолжает поиски 20-х годов XX века. Если Всеволод Иванов излагал экзотическим словом простые сюжеты («У Син Би была жена по фамилии Е, крепкая манза, красивый теплый ки, а за манзой — желтые поля гаолян и чимизы»), Абузяров оставляет поиск новых слов в пределах имен собственных, зато насыщает бытовые сюжеты фольклорными элементами в самых причудливых сочетаниях. Разные национальные мотивы сплетены у него в фан-

тасмагорический орнамент. Мордовскую невесту зовут армянским именем Карина («Корильные песни»), марийская девочка с литовским именем выдумывает себе финских родственников, чтобы нравиться писателю («Сокровенные желания»), польская молодежь справляет мусульманский праздник («Курбан-роман»).

**Александр Снегирев.** *Тщеславие: роман.* — М.: АСТ, Астрель, 2010.

Парня, которого бросила девушка, решили поддержать друзья: наваяли нехитрых рассказов, подписали псевдонимом Пушкер и отправили на конкурс молодых писателей. Пока герой пил, рассказы Пушкера прошли в лонг- и шорт-листы. Далее следуют зарисовки сборища шортлистеров в доме отдыха «Полянка», за которыми проступают контуры семинара молодых писателей в «Липках»... Пользуясь совписовской роскошью, словоохотливое юношество неумоимо подмечает признаки ее подержанности и, прежде чем влезть в подернутый ржавчиной бассейн, произносит: «Не Египет, но все же...».

**Марина Воронина.** *Наследство: Сборник рассказов.* — М.: Новый современник, 2009.

Марина Воронина — журналист из Городца (Нижегородская область), выступавшая с очерками в журнале «Знамя» («Живут такие люди», 2007, №7; «Хорошо там, где нас нет», 2008, №6), выпустила книгу рассказов. Частый мотив у нее — чувство вины, вдруг выбивающее человека из привычной колеи, ставя на совершенно иной путь.

**Галина Тихонова.** *Однажды в смутный день. Рассказы. Предисловие: Ю. Арабов.* — М.: Квадрига, 2010.

Представляя прозу своей однокурсницы, окончившей сценарное отделение ВГИКа и уехавшей на малую родину — в Ростов-на-Дону, Юрий Арабов относит ее к неонатуральной школе. Эти короткие рассказы запоминаются новым качеством жесткости, которого в женской прозе еще не было. Кошмар человеческого бытия здесь не укоренен в быту — когда героини живут в хороших бытовых условиях, «жесть» с ними. Она в том, например, что женские персонажи спокойно обходятся без привычного женского счастья или несчастья, спокойно довольствуясь сексуальными приключениями.

**Марина Голубицкая.** *Вот и вся любовь.* — М.: Анаграмма, 2010.

Представляя первую прозаическую книгу Марины Голубицкой, Николай Коляда не скупится на превосходные степени. На мой взгляд, эта проза неплохая для дебюта, не более того. Повесть «Вот и вся любовь», в которой учительница литературы, пробудившая в школьнице личность, под конец жизни оказалась в Израиле, но это не помешало им переписываться; а также рассказ «Любовь к Ленину», в котором уже дочери той школьницы вручают золотую медаль, — построены на автобиографических мотивах и больше похожи на очерки. Два других рассказа прочитать нельзя, поскольку после страницы 160 идет страница 177 и конец одного прилип к середине другого.

**Анастасия Ермакова.** *Точка радости.* — М.: Молодая гвардия, 2010.

Вторая, чисто прозаическая книга постоянного автора рецензионного отдела «Знамени» — в первой были объединены стихи и проза (см. «Ни дня без книги», 2007, №3). В книге — три повести: «Точка радости», «Техника безопасности» и «Из-за елки выйдет медведь» (первая и третья опубликованы в «Дружбе народов») и одиннадцать рассказов, также по большей части опубликованных в ДН и «Октябре». Как поэт Анастасия Ермакова публикуется в «Арионе».

**Елена Латарцева.** Знаки препинания. Стихи. Проза. — Воронеж, 2009.

Большой сборник стихотворений и немного автобиографической прозы — о том, как организованное автором общество подводников занималось поиском расстрельных ям сталинского времени, и об учебе — в школе, Ростовском университете и Литературном институте. Феномену Учителя, в беседе помогающего личностному становлению ученика, мемуарная проза о позднесоветской эпохе сложила памятник. Вот куда шли тогда талантливые, внутренне свободные люди — в учителя литературы.

**Анна Гайкалова.** День девятый. Роман. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

История женщины, ставшей целительницей, начинается как семейная сага, которая за чем-то прерывается назидательным текстом, стилизованным под священный и озаглавленным буквами еврейского алфавита. Разумеется, эти вставки просто пролистываешь... Личная история перерастает в повесть о целительстве наложением рук после встречи с мусульманской ясновидящей, сказавшей героине, чтобы она это делала, причем начала с детей — и героиня устроилась на работу в только что открывшийся детский дом, а потом взяла к себе в семью троих детей оттуда... Интересное — там, где подключается личный опыт автора, действительно знающего, что такое детдом и какие там дети. А вот мистические навороты — метемпсихоз, сновидения и т.п. — кажутся лишней нагрузкой.

**Юрий Слоновский.** В аду на медленном огне. — М.: Локис, 2009.

Адвокат с почти полувековым стажем, «почетный адвокат России, доцент Международного государственного губернаторского университета Природы, общества и человека “Дубна”» (анн.) пишет в рифму и без просто так, для душевного здоровья. Без рифмы получается лучше. Юридические очерки, стилизованные под рассказы, обнажающие кухню, например, мошенничества с недвижимостью, интересны именно как очерки.

**Владимир Алейников.** Вызванное из боли. Избранные стихи. — М.: Вест-Консалтинг, 2009.

«В стихах Владимира Алейникова каждая строчка — гениальная», — высказался не скупившийся на подобные высказывания и рекомендации в СП Арсений Тарковский в 1965 году... Тем не менее — не он ли спровоцировал появление как раз альтернативного советскому СП «Самого Молодого Общества Гениев»?

Новая книга Владимира Алейникова — избранное с 1964 года, тексты расположены в хронологическом порядке, с анахроническими вставками вместо предисловия и послесловия.

Вызванное из боли «Так, незначай, случайней / Чередуванья света / С тенью, иных печальней» — это поэзия, которая для поэта достовернее жизни. XXI век представлен в книге всего двумя стихотворениями и поэмой «Хорал» — все о том же, о чуде творчества.

**Марк Шатуновский.** Сверхмотивация. Книга стихотворений. — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Читая стихи Марка Шатуновского, испытываешь удовольствие, как от вовремя пришедшего воспоминания о чем-то очень важном, на время забытом. Это важное — поэтика метареализма, в свою очередь заставлявшая в 90-х вспомнить о раннем Пастернаке. Все это не имеет живого продолжения в том, что сегодня делают молодые поэты, — слишком крупно, слишком неподъемно... Тем важнее это продолжать тем, кому такая работа удастся.

**Дмитрий Григорьев.** Другой фотограф: Некоторые стихотворения 2003—2008 годов. — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Петербургский поэт, лауреат премии имени Н. Заболоцкого, «...как будто остался на всю жизнь в году своего рождения, 1960-м, со свойственными раннему шестидесятичеству

естественностью, открытостью, простодушным бесстрашием поэтического дыхания, только без обаятельной безвкусицы тех лет», — пишет автор вступительной статьи «Тайна естественности» Валерий Шубинский. Книга состоит из двух частей: «Имена снега» и «Имена дождя», — предваряемых прозаическими предисловиями с одинаковым зачином: «У меня небольшой выбор: всего три времени — прошлое, настоящее и будущее, еще есть возможность использовать глаголы совершенного или несовершенного вида, плюс — инфинитив, сослагательное да повелительное наклонения. Вот, пожалуй, и все. Впрочем, и словарный запас неполон — несмотря на обилие слов, вещей, требующих себе имени, становится больше и больше. А то и наоборот: появляется новое слово — и тенью за ним предмет, действие или свойство. И я стал придумывать разные имена...».

**Наталья Черных.** *Похвала бессоннице. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Восьмой сборник стихотворений, чаще нерифмованных, всегда в той или иной степени герметичных, выражающих тот душевный настрой, в котором человеку ближе гармония сфер, чем звуки окружающего мира.

**Сергей Надеев.** [30\99 + 1\*]. — М.: Арт Хаус Медиа, 2010.

Избранные девяносто девять стихотворений и одна поэма за тридцать лет стихописания. Голос чрезвычайно тихий, напряжения между словами почти нет, основная интонация — примирительный вздох: «Безусловно, все мне давно известно: уж не раз, поди, довелось изведать, как глядят в лицо — как в пустое место, будто впрямь зануда и надоеда»... Поэтому запоминаются редкие эмоциональные всплески. Потребность в стихосложении здесь, видимо, чисто культурная — как сопротивление бытовой энтропии, как придание жизненному течению какой-то оформленности.

**Альбом для рисования Натальи Курапцевой:** *Стихи, акварели, рисунки.* — СПб.: Полигон, 2010.

Здесь писание стихов, как и графика, — от нереализованного богатства природы. Тридцать лет журналист из северной столицы писала стихи, никому их не показывая, и только теперь, к своему 60-летию, издала их. Версификация довольно ловкая, не хватает лишь осведомленности о современном состоянии поэзии, хоть какой-то включенности в ее проблематику — формальной ли, смысловой; все ограничивается рифмованной фиксацией эмоций и ситуативных размышлений.

**Ашот Сагратян.** *Сквозь призму памяти и боли: Под сенью раздумий.* — М.: Книгарь, 2010.

Писатель и переводчик, автор учебника «Введение в опыт перевода. Искусство, осязаемое пульсом», почти тридцать лет преподававший в Литературном институте теорию перевода и психологию творчества, действительный член Академии педагогических и социальных наук, ратующий за создание в России Международной академии перевода, собрал в сборник стихи о войне, написанные в разные годы. Завершают книгу фотопортрет и биография отца автора, почетного железнодорожника, полковника железнодорожных войск в отставке, в Великую Отечественную прокладывавшего важнейшие для армии пути, а в 1942-м предложившего новаторский метод разгрузки эшелонов за час, за что получил первый из трех орденов Красной Звезды.

**Лариса Миллер.** *Упоение заразительно. Эссе.* — М.: Аграф, 2010.

Юбилейное издание воспоминаний и размышлений поэта о других поэтах и самой поэзии. (Искусную прозу Лариса Миллер понимает как род поэзии, что выражается, например, в эссе о Бунине «Как достать читателя»). Для каждого поэта, о котором говорит, она находит краткое определение основного душевного сдвига, выбросившего его из мира

нормальных людей: «Георгий Иванов обладал редкой способностью заглядывать за край бытия. Для него это было так же естественно, как заглянуть за шкаф или за печку».

**Светлана Шишкова-Шипунова.** *Чужие романы: пристальное прочтение. Статьи, эссе.* — Краснодар: Зайцев, 2009.

Светлана Шишкова-Шипунова, постоянный автор и лауреат «Знамени», занимает в сегодняшней критике нишу очень толкового критика-любителя, иначе называемого квалифицированным читателем, поскольку обходится без обязательной для профессионала теоретической начитанности. Она показывает, что развитый ум и культурный багаж интеллигентного человека — инструментарий, с которым вполне можно браться за самые сложные произведения современной литературы, такие как «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой или «Учебник рисования» Максима Кантора.

**Alma mater.** *Литературная студия Игоря Волгина «Луч». Поэты МГУ.* — М.: Фонд Достоевского; Зебра Е, 2010.

В 1968 году волей случая Игорь Волгин организовал в МГУ литературную студию «Луч», в 70-е она расцвела, а в 90-е слилась с литинститутским семинаром. Из этой студии вышли многие известные литераторы и издатели, достаточно вспомнить духовный костяк ее первого состава — группу «Московское время». Книга, вышедшая в честь сорокалетия студии, представляет собой сборник стихов и воспоминаний студийцев, структурированный по трем разделам: «1968—1970-е», «1980-е», «1991—2000-е».

Культуртрегерство сейчас выражает себя в разных жанрах, Волгин же продолжает традицию — его семинары в Литинституте, на которые доводилось попадать мне, отличала студийная атмосфера, чтение по кругу практиковалось и там...

**Лидия Чуковская.** *Из дневника. Воспоминания. Составление: Елена Чуковская.* — М.: Время, 2010.

Книга дневниковых свидетельств и воспоминаний о дорогих автору умерших людях: подругах Тамаре Габбе и Фриде Вигдоровой, известных писателях, которых довелось близко знать: Б. Пастернаке, И. Бродском, А. Солженицыне, К. Симонове, а также М. Цветаевой, с которой Лидия Чуковская познакомилась в Чистополе за несколько дней до самоубийства. Завершается книга мемуарным очерком об А.Д. Сахарове, суммирующем мысли о нравственной гениальности лучшей части русской интеллигенции, проходящие и в тексте, и в подтексте всех записей Лидии Корнеевны. Свой «Некрополь» она начала составлять сама, выбрав из дневников, которые вела всю жизнь, записи о Т. Габбе и Б. Пастернаке. После смерти Лидии Корнеевны ее дочь Елена Цезаревна закончила эту работу.

**В.Вс. Иванов.** *Потом и опытом.* — М.: Центр Книги ВГБИЛ им.М.И. Рудомино, 2009.

Книга филолога и лингвиста Вячеслава Всеволодовича Иванова — разножанровый сборник самых разных работ: стихов и переводов, статей, воспоминаний и эссе. Интереснее всего читать статьи — одни темы чего стоят: «Гуманитарные науки и будущее современной цивилизации», «Русский космос», «Цели истории»... Рассказывая об удивительных людях, сделавших невероятное очевидным: Королеву и Келдыше, Циолковском, Вернадском, математике Кондратьеве, в докомпьютерную эпоху рассчитавшем периодичность экономических кризисов, — ученый тревожится о сегодняшней ситуации: «К сожалению, многие крупные чиновники, которые занимают министерские и другие видные посты, решили, что наука, вообще говоря, не нужна, а им, чиновникам, хорошо было бы распоряжаться всеми жилплощадями и территориями, которые принадлежат науке»... И далее: «Россия — действительно великая страна, в которой была сделана масса великих открытий. И позор России состоит в том, что эти открытия, как правило, не внедрялись и не осуществлялись, и те люди, которые и сейчас пытаются остановить развитие нашей науки, они опять идут по традиционному пути»...

**Алексей Симонов.** *Парень с Сивцева Вражка.* — М.: Новая газета, 2009.

Сын Константина Симонова и Евгении Ласкиной в первой части своих мемуаров «Отдаю долги» рассказывает о материнской и отцовской семьях, удивительных каждая по-своему, все его деды и бабушки прожили трудную, но очень длинную жизнь. Во второй части «Круги по воде» он рассказывает о том, как рос в арбатском переулке, который никогда не переименовывался, как вырос и опробовал несколько вариантов судьбы: был полярником, потом редактором, а потом стал тем, чем мечтал: кинематографистом. Автобиография естественно переходит в литературные портреты друзей и коллег по кино.

**Леонид Воронин.** *Ищу человека: Книга воспоминаний и литературных заметок.* — М.: Волшебный фонарь, 2009.

Книга написана в шестидесятичной манере свободного исповедального повествования, в котором воспоминания по ассоциации притягивают литературные впечатления, а разговор о литературе вызывает из памяти жизненные события. Посвящена она категории узнавания — как аристотелевской, драматургической, так и психологической, жизненной.

**Павел Ефремов.** *Стоп дуть! Легкомысленные воспоминания.* — М.: Квадрига, 2009.

Военный моряк, служивший на ракетном подводном крейсере, в конце 90-х стал менеджером в IT-компании и продолжает заниматься высокими информационными технологиями, но флотской жизни не забыл. Мемуары он перемежает с матросскими байками, оформленными как вставные новеллы под грифом «Мимолетное», но тем не менее просит отнестись к мимолетному серьезно: «...не воспринимайте эти страницы как подборку флотских баек и анекдотов. Это реальная жизнь. Жизнь людей, рискующих, не осознавая глубины риска, людей, просто выполняющих свои обязанности», — говорится в предисловии.

**Ася Пекуровская.** *Герметический мир Иммануила Канта: По ту сторону зрения и слуха.* — СПб.: Алетейя (Тела мысли), 2010.

Несмотря на вполне академическое название этих «без малого пятисот страниц сомнительного текста», как характеризует это сочинение гипотетический издатель в артистичном авторском предисловии, перед нами — «мой Кант», субъективное сочинение чело- века весьма начитанного, особенно в мемуарах, дневниках и письмах, а также медицинской и психоаналитической литературе, и находящего ясные связи философии и жизни вроде той, что движение мысли философа находится в неразрывной связи с движениями фекалий по его кишечнику. Читатель приглашается вместе с автором «заглянуть в путаные тексты, столетиями выдававшиеся за ясные, и создать ясный текст, который столетиями будет выдаваться за путаный». Я же в свою очередь советую читателю самостоятельно прочитать три критики Канта — более простых и ясных текстов, дающих действительно прививку против негигиеничного мышления, я не знаю.

**Вячеслав Недошивин.** *Прогулки по Серебряному веку: Санкт-Петербург.* — М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2010.

«По сути, мы открываем сегодня неизвестных, хотя и давно знакомых нам поэтов», — автор считает, что после всего, что опубликовано в постсоветское время, поэтов Серебряного века нужно изучать заново. Проштудировав три сотни человеческих документов: воспоминаний, писем, дневников; сопоставив множество разных свидетельств с целью развеять мифы и установить факты, он излагает малоизвестные детали биографий Ахматовой, Блока, Мандельштама, Волошина, Сологуба, Есенина, Гумилева, Ходасевича, Кузмина, Хлебникова, Северянина и Маяковского. Поскольку это книга-экскурсия — жанр, кажется, становится модным, — кроме списка использованной литературы и именованного указателя, она имеет указатель петербургских адресов, связанных с именами героев.

**С.В. Белов.** *Ф.М. Достоевский. Энциклопедия.* — М.: Просвещение, 2010.

Энциклопедия открывается статьей С.В. Белова «Великий христианский писатель», в которой дан очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Затем, после списка условных сокращений и хронологии Достоевского, идет основной текст книги: алфавитный указатель «Личность, окружение, произведения, историко-литературный контекст». Завершают том список литературы о Достоевском и указатель произведений Достоевского.

**В.М. Хевролина.** *Николай Павлович Игнатъев. Российский дипломат.* — М.: Квадрига (Биография), 2009.

Дипломату и военному (сочетание, характерное для середины XIX века, когда Россия углубилась в Азию и на Дальний Восток, где признавали только силу) Н.П. Игнатъеву, в 1864 году назначенному посланником в Константинополе, Болгария обязана освобождением от османского ига, поэтому там есть село Игнатъево, его именем названа одна из центральных улиц столицы, а в Софии и Варне ему поставлены памятники. В России же им почти никто не занимается: уйдя в преждевременную отставку из-за неудач в восточном вопросе, он был назначен Александром III на пост министра внутренних дел для установления порядка в стране, но оказался слишком либеральным, в пятьдесят лет был полностью отставлен от государственных дел и практически забыт. Сделав обзор немногочисленных работ об Игнатъеве, автор ограничивает свое исследование временем его службы на дипломатическом посту, стараясь доказать, что он не был агрессивным панславистом, как это принято было считать до недавних времен.

**Лев Бердников.** *Евреи в ливреях: Литературные портреты.* — М.: Человек, 2009.

Автор, с 1990 года живущий в Лос-Анджелесе, более десяти лет проработал в Отделе редких книг (Музее книги) РГБ, с 1987 года он возглавлял там научную группу, занимающуюся исследованием русских старопечатных изданий. «Евреи в ливреях» — галерея портретов российских государственных деятелей еврейского происхождения, служивших русским царям XV—XIX веков на самых разных должностях, от шута, как Ян Лакуста, которому Петр I пожаловал титул короля самоедов (здесь автор проводит остроумную параллель с губернатором Чукотки Абрамовичем), до министра — в очерке о Егоре Канкрине, министре финансов при Александре I и Николае I, автор замечает, что Канкрин «не осознавал свою принадлежность к народу Израиля», и задается вопросом: «Но означает ли это, что ему не была свойственна еврейская ментальность?». «Еврейской ментальностью» оказывается живой и острый ум. Может, стоило у Ломоносова в родословной покопаться получше?

**На русских просторах:** *Историко-литературный альманах. Выпуск 4.* — М.: Человек, 2009.

«Приложение к журналу “Невский альманах”» — значит на шмуцтитуле, разницы между журналом и альманахом здесь, видно, не знают. Открывается издание с березками на обложке графоманскими виршами главного редактора Т.М. Лестевой, полными веры в возрождение советской державы и версификационных ошибок. Там Чернышевский «смотрит вниз, как будто бы стыдясь / Того, что сделали с Россией демократы», а маршал Жуков — «тот стоит, гордясь / Величьем подвига советского солдата». Нестихотворные материалы активно пишущей Т.М. Лестевой — такого же уровня: смесь невежественной наивности и ностальгического пафоса. Не отстают от нее в невежестве и другие авторы альманаха, всех ляпов здесь не перечислить, остановимся на одном материале.

В новой рубрике «Критика» Г.Г. Муриков «к 75-летию образования Союза писателей России» взялся за идеологический анализ «толстых» журналов. Начал со «Звезды» и сразу выдал замечательное предположение: «“Звезда” была одним из первых советских «толстых» журналов и, видимо, остается единственным, который сохранился до сих пор». Далее, процитировав стихотворение, которым открывается один из номеров «Звезды»,

Г.Г. Муриков выдал новый перл: «Подписано: Елагина Елена Васильевна, лауреат премии журнала «Звезда». Но реальное это лицо или псевдоним — мы сказать не решаемся...». Объявив стихотворение одного из самых известных петербургских поэтов анонимным изложением «концепции о малом народе», критик разбирает книгу И. Шафаревича «Русофобия», чем и заканчивает разговор о журнале «Звезда». Вторая часть его исследования посвящена «Знамени», причем начата со старательно списанного у кого-то изложения истории «толстых» журналов — на этот раз верного, но зачин первой части автор забыл уничтожить... В «Знамени» он почитал не стихи, а публицистику. Анализ ее сводится к тому же тезису о «русофобии малого народа».

Справедливости ради надо сказать, что в альманахе есть интересные материалы, в основном воспоминания. И отметить симптом времени: замечательно безыдейное издательство «Человек» издает и сионистские («Евреи в ливреях»), и антисемитские материалы с философским спокойствием — лишь бы дело делать.

*Дни и книги Анны Кузнецовой*

*Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru)*

**Сергей ЧУПРИНИН**

главный редактор  
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

**Наталья ИВАНОВА**

первый заместитель главного редактора  
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

**Елена ХОЛМОГОРОВА**

ответственный секретарь  
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

**Евгения ВЕЖЛЯН**

отдел прозы  
699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

**Ольга ЕРМОЛАЕВА**

отдел поэзии  
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

**Анна КУЗНЕЦОВА**

отдел библиографии  
отдел публицистики  
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

**Карен СТЕПАНЯН**

отдел критики  
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

**Ольга ТРУНОВА**

отдел прозы  
699 47 84, trunova@znamlit.ru

**Елизавета ПОЛУКЕЕВА**

корректор

**Евгения БИРЮКОВА**

допечатная подготовка, производство,  
распространение  
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

**Валерий КАЛНЫНЬШ**

художник

**Людмила БАЛОВА**

исполнительный директор  
699-48-98

**Марина ГАСЬ**

бухгалтер  
699-48-98

**Наталья РОГОЖИНА**

компьютерный набор  
699-48-71

**Марина СОТНИКОВА**

заведующая редакцией  
info@znamlit.ru  
699-52-83

*Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций*

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

**адрес редакции:**

123001, Москва,  
ул. Большая Садовая, 2/46  
(вход с улицы Малая Бронная).  
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,  
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.  
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»  
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.04.2009.  
Подписано к печати 17.05.2010.  
Формат 70x108 1/16.  
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.  
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.  
Заказ № 1547

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом «Красная звезда».  
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.  
<http://www.redstarph.ru>

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Также представлены журналы «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Если», «Звезда», «Иностранная литература», «Континент», «Мир Паустовского», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», альманах «Достоевский и мировая культура».

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

*Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.*

*Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.*

Евгений АЛЕХИН. Первый покойник  
Белла АХМАДУЛИНА. За весь род  
воробьиный  
Александр БАСМАНОВ. Возраст любви  
Вадим БАЕВСКИЙ. Стихотворение  
Пастернака «В больнице»  
Владимир БЕРЕЗИН. Сто слов  
Марина БУВАЙЛО. Отдам в хорошие руки  
Анатолий ГАВРИЛОВ. Рассказы  
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные  
книжки  
Георгий ДАВЫДОВ. Алхимик  
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин и  
тинейджер

Елена ДОЛГОПЯТ. Работа  
Вячеслав КАБАНОВ. В большой политике  
Анатолий КУРЧАТКИН. Полет шмеля  
Владимир МАКАНИН. Новая повесть  
Анна НЕМЗЕР. Плен  
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть  
Артем СКВОРЦОВ. Максим Амелин:  
знакомый незнакомец  
Ольга СЛАВНИКОВА. Легкая голова  
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма  
Ревекка ФРУМКИНА. Наедине с экраном  
Татьяна ЩЕРБИНА. Бессмертный XX век  
Юлия ЩЕРБИНИНА. Одержимость  
погибелью

### новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,  
Юрия БУЙДЫ,  
Фазиля ИСКАНДЕРА,  
Юлии КОКОШКО,  
Анатолия КОРОЛЕВА,  
Ильи КОЧЕРГИНА,  
Эдуарда КОЧЕРСКОЙ,  
Майи КУЧЕРСКОЙ,  
Юрия ПЕТКЕВИЧА,  
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,  
Валерия ПОПОВА,

Евгения ПОПОВА,  
Дины РУБИНОЙ,  
Марии РЫБАКОВОЙ,  
Романа СЕНЧИНА,  
Алексея СЛАПОВСКОГО,  
Александра СНЕГИРЕВА,  
Александра ТЕРЕХОВА,  
Маргариты ХЕМЛИН,  
Сергея ШАРГУНОВА,  
Сергея ЮРСКОГО

### НОВЫЕ СТИХИ

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,  
Константина ГАДАЕВА,  
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,  
Олега ДОЗМОРОВА,  
Вадима ЖУКА,  
Алексея ЗАРАХОВИЧА,  
Михаила КВАДРАТОВА,  
Бахыта КЕНЖЕЕВА,  
Тимура КИБИРОВА,  
Виктора КОВАЛЯ,

Алексея КУБРИКА,  
Ирины МАШИНСКОЙ,  
Юлианы НОВИКОВОЙ,  
Татьяны ПОЛЕТАЕВОЙ,  
Александра РАДАШКЕВИЧА,  
Константина РУПАСОВА,  
Виктора СОСНОРЫ,  
Алексея ЦВЕТКОВА,  
Олега ЧУХОНЦЕВА

**адрес редакции:**

**123001, Москва**

**ул. Большая Садовая, 2/46**

**телефон/факс: 699 52 83**

**e-mail: [info@znamlit.ru](mailto:info@znamlit.ru)**